

Сергей
Борзенко

 На

ГОРЯЧИХ

ТОЧКАХ

ПЛАНЕТЫ





Сергей Александрович
БОРЗЕНКО

Сергей Борзенко

*НА ГОРЯЧИХ
ТОЧКАХ
ПЛАНЕТЫ*

Очерки. Рассказы. Повесть

*Ордена Трудового Красного Знамени
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Министерства обороны СССР
Москва — 1982*

Р2
Б82

Составитель *И. Г. Падерин*

Б $\frac{70302-146}{068(02)-82}$ 122.82.4702010200.

© Воениздат, 1982

Страницы
ИСТОРИИ

Горные орлы

Мы вылетели из Белграда в числе гостей, приглашенных в Цетинье на празднование пятой годовщины восстановления черногорского народа против итальянских и немецких оккупантов.

Через час с высоты четырех тысяч метров мы увидели острый пик горы Ком, а еще дальше, слева, у самого горизонта, на албанской земле — хребет Проклетых планина (Проклятых гор). Динарские горы, лишенные растительности, проплывали внизу. Один из наших спутников, черногорский генерал, рассказывал древнюю легенду, в которой народ пытался объяснить происхождение суровой природы страны.

Генерал был типичным черногорцем — выше среднего роста, крепкого телосложения, стройный и, очевидно, выносливый. Военская доблесть — исконное свойство черногорцев. Она высоко ценится в народе.

Вспомнились слова Пушкина:

«Черногорцы? Что такое? —
Бонапарте спросил. —
Правда ль: это племя злое
Не боится наших сил?»

Это не вымысел поэта. Здесь, за цепями гор, Петр, владыка Черногории, с горстью своих героев, вместе с русскими моряками эскадры адмирала Сенявина, вошедшей в Адриатическое море, брал Далматинские крепости у Наполеона, не знавшего до того поражений, а 21 мая 1806 года возле крепости Цовтава черногорцы в союзе с русскими моряками разбили наполеоновские войска.

Словно залив моря, мелькнуло жемчужное, покрытое миллионами белых цветущих лилий Скадарское озеро; самолет приземлился на аэродроме возле города Подгорица. Окруженная горами равнина. Подгорица — самое плодородное место в стране, самый большой населенный пункт Черногории. Но вместо города мы увидели груды печальных развалин...

— Город пострадал от итальянцев и четников, но дотла разрушила его английская авиация, когда в этом уже не было никакой военной необходимости, — сказал нам житель Подгорицы Джока Джурович.

Он произнес это с горечью. Три сына его погибли в боях с оккупантами, один из погибших — Народный Герой Югославии, командир партизанской бригады.

Когда-то Подгорицей владели турки. Они построили здесь сильную крепость. Город лежит у слияния рек Рыбницы и Морачи. Протекая по глубоким, обрывистым оврагам, они окружают Подгорицу с северной и западной стороны как бы огромным рвом.

Мы увидели город празднично оживленным. Повсюду были красно-бело-синие флаги, с балконов свисали ковры. Все население в ярких национальных костюмах высыпало на дорогу, ведущую из Колашина.

Но было еще рано, и Джурович предложил нам осмотреть развалины древней римской Диоклеи. Они находятся в четырех километрах от города, в углу, образуемом слиянием рек Зеты и Морачи.

Среди огромных камней мы нашли остатки стен, которым минуло две тысячи лет. Когда-то здесь был цветущий, многолюдный город. Об этом напоминают надписи на камнях и остатки колонн, а также развалины подземного водопровода.

Вернулись мы вовремя. Все отправились на площадь. Шли среди развалин, над которыми возвышаются строительные леса. Никогда не утихающий здесь ветер крутил в воздухе цементную пыль.

После митинга состоялось народное гулянье. В национальных плясках приняли участие даже старики — участники партизанских походов в горы.

После праздника мы поехали в Цетинье — столицу Черногорской республики.

Дорога петляла кверху, делая крутые зигзаги над бездной. Пропасти открывались то справа, то слева, одна страшнее другой. А вокруг — камни, камни, камни. Хаотическое нагромождение камней, и ничего больше. Нигде ни одного дерева, только изредка жидкие кусты держидерева. Казалось, мы попали в гигантскую каменоломню.

Вскоре на пути встретилась деревушка — несколько разбросанных каменных домиков, прилепившихся на скале. Тут же были крохотные посеы — в несколько квадратных метров. Пшеница, кукуруза, картофель, ка-

пуста. Поля, огражденные каменными заборами, похожие на цветочные горшки. Каждый такой лоскут темно-коричневой мягкой земли требует много человеческого труда. Его надо очистить от камней, уберечь от засухи и от потоков вод, которые рушатся с гор во время ливней.

Не так давно эти клочки земли принадлежали помещикам и королевскому дому. Но сейчас, в результате земельной реформы, проведенной в Югославии, земля перешла в руки тех, кто ее обрабатывает.

Мы вошли в один домик напиться. Вода в этих местах ценится чуть ли не дороже вина. Блага не может удержаться среди голых известковых утесов, проваливается в подземные пещеры. Воды нет, и жители пользуются снегом, лежащим круглый год в ущельях. И все же для нас нашлась кружка холодной воды, кусок сыра и вяленой баранины.

Дом из грубо отесанных камней сложен в два этажа. В нижнем этаже помещаются ослы и козы, в верхнем живут люди. Напротив дома, через пропасть, на другой скале лепилось гнездо орла; две царственные птицы парили над пропастью.

Черногорцы живут на одной высоте с орлами.

Внутренность дома предстала такой же суровой, как и окружающая природа. Посредине — очаг, в нем поддерживается постоянный огонь. На железной цепи — закопченный котел. В углу — ручная мельница, у стен — несколько невысоких деревянных скамеек. В доме мы видели много книг и среди них «Горный венец», написанный владыкой и поэтом Черногории Петром Негошем II о героической борьбе черногорцев против турецких завоевателей.

Хозяин дома Мирко Радович, узнав, что мы из Советского Союза, обнял нас и расцеловал.

С нескрываемой горечью поведал он нам, что Черногория не может пока прокормиться собственным хлебом и вынуждена возить его из соседних республик. Но уже готов проект осушки Скадарского озера. Когда озеро будет осушено, страна получит несколько десятков тысяч гектаров великолепных пахотных земель — и хлеба тогда будет вдоволь.

Пришли женщины с тяжелыми вязанками хвороста. Это топливо собирать приходится далеко в горах.

Не заходя в дом, женщины отправились доить коз.

Попрощавшись с гостеприимным хозяином, мы поехали дальше. Дорога спустилась круто и вывела в маленький городок Риека Церновица. На крутой скале Обод прилепилась старинная типография. Здесь была напечатана первая книга, изданная в Черногории, — «Осмогласник», или «Октоих».

Во время итальянской оккупации в типографии печаталось воззвание. В этих листовках, написанных ярким поэтическим языком, с цитатами из Негоша, черногорцам ставился в пример героизм русского народа. Когда вышли все боеприпасы, партизаны перелили старинные свинцовые литеры в пули. Правдивое слово и меткая пуля одинаково поражали врага.

В Риеке Церновице живут предания, сохранившие память о пребывании в этих краях полковника Михаила Милорадовича, посла Петра I. Он подписал договор о совместной борьбе против турок. С этого времени на протяжении своей истории Черногория всегда выступала на стороне России. Герои борьбы против турок воспеты в песнях, в неувыдаемых легендах, где каждое слово как бы вковано в другое, как звенья одной цепи. Поэтические венки устного творчества несет народ светлой памяти героев освободительной войны против оккупантов. Под аккомпанемент гуслей слушали мы балладу о рабочем-коммунисте, храбрейшем командире дивизии партизанской армии. Он погиб на границе Черногории и Боснии, но баллада утверждает, что воин жив, незримо учит юношей мужеству и правде.

Ночами на скалах вспыхивают желтые огни. Может быть, их зажигают пастухи, но черногорцы уверяли нас, что там горит кровь погибших партизан и указывает дорогу путникам, заблудившимся в горах.

...Машина мчалась по шоссе, вдоль отвесной скалы. Внизу, наподобие зеленой реки, извивалась долина. В старые времена черногорцы здесь громили турецкие полчища. Нам показали долину и горы, где владыка Петр Негош с двенадцатитысячным отрядом разбил сотысячную армию турецкого визиря.

Мы поднялись выше облаков и увидели черепичные крыши Цетинье.

Цетинье был празднично оживлен: ожидали приезда главы югославского правительства. Город был украшен портретами, коврами и флагами. Все жители стояли вдоль тротуаров, в тени немногочисленных шелковиц. Мужчи-

ны — в широких штанах из синей раши и еликах (куртках без рукавов) из красного сукна, расшитых золотом и широко распахнутых спереди; за поясами у них торчали старинные револьверы с серебряной насечкой, на груди позванивали ордена, кресты и медали всех войн; женщины — в длинных голубых и белых зубунах и малиновых коретах, щедро расшитых позументами.

Студенты пели старинную черногорскую песню с новым припевом:

Нам не страшны немцев легионы,
Нас и русских — двести миллионов!..

Мы были на торжественном обеде. Сердечные тосты произносились сербами, хорватами, македонцами в честь черногорцев. Новая Югославия стала крепким союзом равноправных народов, добровольно соединившихся в едином федеративном государстве. Это стало возможным благодаря освободительной борьбе, когда все югославы вместе сражались за демократические права.

Женщины сидели, как равные, рядом с мужчинами. В этом одно из крупнейших завоеваний новой Черногории, ибо раньше под влиянием турок здесь царило полное пренебрежение к женщине. Жена была рабой мужа и выполняла всю черную работу.

Неожиданно подкрался вечер, а с ним и желанная прохлада. В горах зажгли костры. Со всех сторон города долетали песни. Героический народ праздновал победу, завоеванную кровью лучших своих сынов.

Гнев народа

Впервые я попал в Югославию с войсками Советской Армии в 1944 году. Я помню, в колонне военнопленных меня поразила группа бородатых, с длинными волосами, людей, одетых в немецкую форму. То были четники — солдаты генерала Драже Михайловича. Четники дали клятву не стричь волос до возвращения короля на престол. Тогда же я увидел села, дотла сожженные четниками, увидел убитых ими крестьян, услышал песенку, сочиненную народом о Михайловиче:

За конзерву и за прою
Продао е землю свою,
Кад му даше мало злата
Продао е он и брата.

Я стал расспрашивать о Михайловиче, но скудные на слова бородачи сказали очень мало. Он был командиром пехотного полка, король Петр II назначил его министром армии и флота. Он очень набожен и суеверен. Вот и вся характеристика.

Известие об аресте Драже Михайловича облетело всю Югославию. Предстоящий процесс над ним оказался самым большим событием в стране. В адрес министра внутренних дел Федеративной Народной Республики Югославии генерал-лейтенанта Александра Ранковича полетели сотни телеграмм из Далмации и Герцеговины; ежедневно почта доставляла ему в кабинет тюки писем из Боснии и Хорватии. И телеграммы, и письма, написанные рабочими, крестьянами, интеллигентами, требуют одного — смертной казни проклятому Драже и его подручным катам.

Эти письма, написанные слезами и кровью сердца, преисполнены народного гнева. Они требуют справедливости, напоминают о том, что освобожденный народ ничего не забывает. 120 матерей и жен из Семберия, у которых четники убили сыновей и мужей, пишут: «Если бы Михайлович, ставленник Петра II, надежда югославской и международной реакции, имел тысячу жизней, то и тогда он не смог бы ими искупить своих злодейств».

Крестьяне деревни Банье напоминают, что у них на площади бородачи замучили 31 человека. Они зверски убили священника Еремию Исаковича и сына его Драгомира. Женщине Косора Дукич перерезали горло, а ее грудному ребенку размозжили камнем голову. Новку Радонич избили палками, и она умерла после восьмичасовых мучений.

— Горы Югославии стали выше. Их увеличили бесчисленные могилы партизанских героев, убитых четниками, — говорят старики.

Я встретил Дукича — высокого старика черногорца с загорелым лицом цвета мореного дуба. Старик пришел босой и полураздетый. Четники забрали у него одежду и обувь. Он впервые попал в Белград. Гневно посасывая изогнутую трубку, он рассказал, что, изредка подсаживаясь на проезжие телеги, прошел пешком пятьсот километров по раскаленным жарой дорогам, чтобы посмотреть злодея на скамье подсудимых. Старик, как и весь югославский народ, верит, что военный суд вынесет справедливый приговор, и тут же добавляет:

— Вряд ли жалкая жизнь Драже и его приспешников искупит хоть тысячную часть зла, содеянного ими.

Четники с итальянцами вырезали большую семью старика — весь его род. Он остался один на всю деревню. Разбойники Михайловича убили двух его женатых сыновей, а младшего, еще мальчика, сбросили в бездонную пропасть. Беременной невестке Дукича четник, сын кулака из Лики, воткнул в живот нож и дважды повернул его. Старик все помнит, ничего не забывает. Слезы наворачиваются у него на глаза, и, чтобы скрыть их, он пускает густые клубы табачного дыма, пытаясь спрятать в них страдальческое лицо.

В Югославии почти нет семей, которым четники не сделали зла. От них наплакались хорваты и мусульманское население Боснии, Герцеговины и Санджака. Не менее пострадали сербы. Четники безжалостно убивали лучших людей народа. Они зверски замучили профессора медицинского факультета Милошевича, убили писателей Савковича, Новачича, доктора Квачевича.

Народы Югославии помнят массовую резню женщин и детей на мосту в городе Фоса, в Вышеграде, Проворе, Восточной Боснии. Они не забыли, как Михайлович при помощи итальянской артиллерии и немецких самолетов разрушил Подгорицу — самый крупный черногорский город. Жители села Рошцы, близ Чачака, помнят, как Михайлович у них в селе встретился с начальником штаба германского командующего в Сербии Нойбахером и там, распивая награбленное вино, договаривался с оккупантами о совместной борьбе против партизан.

10 июня в пригороде Белграда — Топчедар в пехотном училище начался судебный процесс над Михайловичем. Вместе с ним судят 23 предателей, врагов югославского народа. Часть из них поймана и сидит на скамье подсудимых; другие, такие, как Константин Фотич, находятся за границей под крылышком иностранных разведок.

Ни для кого не было секретом, что Драже Михайлович и его подручные открыто сотрудничали с немецко-фашистскими оккупантами в борьбе против освобождения народов Югославии. Только в боях с партизанами на реке Неретва немцам и итальянцам помогали 18 тысяч четников, а год спустя вооруженные отряды Михайловича влились в германскую армию.

Обвинительное заключение приподняло завесу над

истинными причинами шумной пропаганды некоторых англо-американских газет, берущих под защиту Михайловича и его банду. В обвинительном заключении названы фамилии английского майора Хадсона, английского полковника Бели, неоднократно требовавших от Михайловича «поскорее покончить с коммунистами», то есть с Народно-освободительной армией.

Обвинительное заключение называет фамилию начальника американской военной миссии при штабе Михайловича — полковника Мак Даула. При встрече с Михайловичем Мак Даул заявил, что американцев не интересует борьба четников с немцами, ибо в конечном счете победят союзники; он советовал Михайловичу «удержаться в народе», то есть захватить власть.

Полагаясь на поддержку названных господ, Михайлович надеялся после отступления немцев инсценировать взятие Белграда, захватить в свои руки власть, призвать короля, а потом организовать оборону Белграда против Народно-освободительной армии.

Но, как известно, Белград был освобожден Советской Армией вместе с армией маршала Тито, а в ноябре 1945 года обе палаты Учредительного собрания Югославии провозгласили Югославию Федеративной Народной Республикой и лишили короля и династию Карагеоргиевичей всех прав.

Судебный процесс привлек внимание международной печати. В Белград съехались многочисленные корреспонденты из многих стран мира, большинство из них — американцы и англичане. Когда они заводят разговор о двух десятках американских летчиков, спасенных войсками Михайловича, я вспоминаю выступление 70-летнего учителя Филиппа Стояновича, который в городе Новипазар заявил:

— Михайлович убивал воинов Англии наравне с югославскими патриотами. Он убил четырех английских военнослужащих, сражавшихся с немцами в рядах Народно-освободительной армии. Он убил их на горе Голия возле Студеницы. Это были австралийцы Сид и Борч, новозеландец Слем и один майор, имя которого я не знаю...

В столице Югославии невыносимая жара. Солнце расплавил асфальт, накалило мостовую, каменные сте-

ны домов. В тени термометр показывает 35 градусов по Цельсию. Обычно в такую погоду белградцы стараются не показываться на улицу, но сейчас на площадях, у радиосрепродукторов весь день толпится народ. Люди часами стоят под палящими лучами солнца и слушают показания Михайловича Верховному суду. Каждое слово Михайловича транслируется по радио, вызывая гнев народа.

Находясь в подполье до своего ареста, Драже имел время познакомиться с материалами Нюрнбергского процесса. В кармане у него нашли газету с судебным отчетом из Нюрнберга, на полях которой он сделал свои пометки. Верный пес гитлеровцев, он избрал для защиты то же оружие, которым защищаются его хозяева.

Михайлович изворачивается и лжет, дает противоречивые показания, отрицает то, с чем уже согласился, всячески старается запутать дело, выиграть несколько часов жизни. Он ведет себя так, словно надеется на чью-то помощь, хотя помощи ждать ему неоткуда.

Прокурор — полковник Милош Минич — сражался в рядах Народно-освободительной армии. Прокурор еще молод, и неистощимый темперамент молодости звучит в каждом его слове. Тысячью неопровержимых документов прокурор уличает подсудимого.

Драже, мастер величайших преступлений и мелких плутней, подолгу обдумывает каждый свой ответ. Он защищается с отчаянием ядовитой змеи. Кто-то из местных карикатуристов сравнил его с очковой змеей. Сходство схвачено точно. Драже не имеет лица. Лицо его — взлохмаченная борода, крупные круглые очки и жесткие, торчащие во все стороны волосы, напоминающие иглы дикобраза. Когда этот пойманный зверь злится, что с ним случается все чаще и чаще, волосы его шевелятся, словно хотят уколоть. В черной шерсти бороды поблескивают клыкастые зубы.

Если бы Михайловичу задали вопрос, кто же был его истинный хозяин, он вряд ли ответил бы, так как хозяев у него было слишком много. Он продавался охотно. Вся международная реакция делала на него ставку, прочила его в балканские диктаторы. Он был агентом Гитлера и Хорти. Кроме того, у него были шулерские связи с болгарскими фашистами, с ориентировавшимися на Гитлера турками, с реакционным польским генералом Андерсом.

Со складов сербского квислинга Недича четники брали все, в чем нуждались их банды, в основном — провиант, одежду, обувь. Из так называемого «Народного банка» атаман взял 1 миллиард 100 миллионов динаров. Эти деньги пошли на премии главарям отдельных банд, которые любили пороскошествовать.

Давая показания, Михайлович теперь то и дело поглядывает на места корреспондентов, где в первом ряду сидят американцы и англичане. Когда-то они сочиняли о нем много сказок. Одна из западных журналисток — Рут Митчел писала перед высадкой союзных войск в Италии о том, что Михайлович — ключ к Европе. Многие из тех, кому на Западе не нравился избранный югославским народом путь, надеялись, что этим ключом можно будет открыть двери Югославии и войти в нее, как в свой дом.

Михайлович не стеснялся в выборе средств. У него был черный список личных врагов, фамилии которых были помечены буквой «З». Он убивал их точь-в-точь, как это практиковалось в гитлеровской Германии.

Подобно старой сводне, в сентябре 1944 года Драже устраивает тайное свидание своему приятелю — представителю немецкого командования Штеркеру с американским полковником Мак Даулом. Он присутствует при этом щекотливом свидании.

Недаром югославские реакционеры всех мастей решили: в случае победы Германии во главе Югославии останется Недич, в случае победы союзников он заменяется Михайловичем.

Под давлением неопровержимых улик признание следует за признанием. Они произносятся еле слышным голосом.

— Являлись ли вы главнокомандующим отрядами четников в четвертом наступлении немцев на партизан? — спрашивает прокурор.

Михайлович снимает очки, долго, очень долго молчит, потом сознается:

— У меня была такая должность.

Наступает момент, когда Михайлович пытается свалить все свои преступления на подчиненных ему командиров отрядов:

— Каждый из них делал все, что хотел, и по собственному желанию заключал соглашения с оккупантами.

Прокурор показывает подсудимому приказы о сот-

рудничестве с гитлеровцами, подписанные рукой Михайловича. Зачитывая очередной разоблачающий документ, прокурор спрашивает:

— Это ваш почерк?

— Почерк мой, но я этого не писал, — под дружный хохот публики отвечает Михайлович.

Он закрывает ладонями уши, голова его уходит в узкие плечи, кажется, ему хочется провалиться сквозь землю. Смех хлещет его, как град.

Председатель суда просит назвать фамилию хотя бы одного командира четников, который не сотрудничал бы с оккупантами, но Михайлович не может ее назвать. Все сотрудничали, все нападали на партизан по его приказу, все грабили и убивали, разоряли страну.

Защитник подсудимого огласил телеграмму, полученную из Америки, в которой группа американцев просила разрешить ей прибыть в Белград, чтобы засвидетельствовать, что Драже не сотрудничал с оккупантами. Как видно, авторы этой телеграммы хотели бы опровергнуть показания самого Михайловича.

Вместительный актовый зал пехотного училища, в котором происходит суд над Драже Михайловичем и его сообщниками, переполнен. Среди публики выделяется высокая старая женщина в грубом крестьянском платье, с золотым медальоном на красной муаровой ленте. Этот медальон — знак Народного Героя Югославии — высшая награда в стране.

Женщина одна из первых приходит в зал, садится на свое место и внимательно слушает, приставив правую ладонь к уху.

Ее знают здесь все. Имя ее Джука Лукич, она мать Народного Героя Югославии — командира партизанской бригады Велько Лукича. Сына ее убили четники.

В Югославии существует обычай: мать героя после его смерти обязана носить ленту и медальон сына, чтобы все уважали женщину, подарившую Родине героя.

Морщины на лице ее глубоки, как шрамы, но черные глаза еще молоды и полны жизни. Женщина не отрывает глаз от жалкой фигуры Михайловича, и кажется, что она хочет пронзить его своим взглядом. Когда Михайлович полупшепотом начинает бормотать о том, как он отдавал приказы об убийстве сотен людей, женщина за-

крывает лицо рукой, она не хочет, чтобы видели ее слезы.

Мне рассказали о ней ее односельчане. Она и муж ее Ристо — жители села Дольня Буковца в Восточной Боснии. У них большая семья — три дочери и три сына. До войны отец и дети работали у кулаков, получали за это гроши.

Грянула война. Генералы предали армию, король бежал. Пришли ненавистные гитлеровцы, принялись убивать, грабить, насиловать.

Тогда мать, старая Джука, позвала трех своих сыновей — Велька, Милана и Александра — и сказала:

— Вы — мужчины, вы родились солдатами. Кроме меня, есть у вас еще одна мать — Родина. Она надеется на вас...

В ту же ночь сыновья, прихватив с собой косы, покинули дом. Вместе с ними ушли три их младшие сестры: Елена, Загорка и Душанка. Утром на дороге у моста были найдены два труп оккупантов.

Велько Лукич с братьями первый у себя в уезде восстал против захватчиков. Вскоре вокруг него стало собираться все больше и больше патриотов, жаждущих освободить родную страну. Отряд влился в Народно-освободительную армию. Вскоре Велько назначили командиром бригады, товарищи стали называть его «генерал Курьяк». Может быть, он и дослужился бы до генеральского чина, если бы на реке Неретва не сразила его пуля четника.

И вот я рядом с Джукой Лукич. В руках у нее цветок бессмертника. Она сорвала его на могиле сына и привезла с собой. Где бы мать ни была, она всегда думает о погибшем сыне. Из-за пазухи достает платок, разворачивает его и показывает фото молодого красавца.

— Он не успел жениться и не оставил мне внука, — с тоской говорит старуха.

Звонок призывает занять места. Мы входим в зал и садимся рядом. Впереди нас, в первом ряду, группа югославских генералов в новой форме, которую только что здесь ввели. Джука глядит на военных людей с нескрываемой радостью:

— Все они вышли из народа... Это они, крестьяне, кузнецы и учителя, выгнали из страны гитлеровцев, разбили банды изменника Михайловича.

Председатель суда допрашивает подсудимого Стевана Молевича.

— Я его знаю, — говорит Джука Лукич, — это главный поп у Михайловича, наставник и духовный вдохновитель его политики. Это он составлял прокламации, назначал цены за головы партизанских командиров. Он не жалел на это ни марок, ни стерлингов. Благо расплачиваться приходилось не из своего кармана.

Характеристика, данная неграмотной крестьянкой, оказалась верной. Старый, облезлый волк — член национального комитета при верховном командовании Драже Михайловича оказался автором «трактата» «Об устройстве общества и государства». Этот «трактат» вполне достоин преступника Молевича, превратившего предательство и измену в свою профессию. «Трактат» Молевича читал и одобрил Михайлович. На заглавном листе есть его пометки — мол, читал и получил удовольствие.

— Кто определял политическую линию организации Драже Михайловича? — спрашивает Молевича судья Янкович.

— Я, — отвечает Молевич. — Я был самый близкий Михайловичу человек...

Суд допрашивает одного за другим Виловича, Радича, Вранешевича, Глишича.

Спокойно, как о самых обыденных вещах, рассказывают они о том, что их подчиненные сдирали кожу с живых католических священников, выкалывали детям глаза, отрезали женщинам груди.

В штаб к Михайловичу приехал британский майор Ферренс Аттертон. Командир четников Докич убил и ограбил Аттертона. Немедленно после убийства Константин Фотич заявил в США, что убийство совершили... партизаны. Эту пагубную ложь поддерживали некоторые английские газеты.

Прокурор часто ссылается на записную книжку Михайловича. Вот образцы поистине чудовищных записей в ней. «В определенный момент все мусульмане должны быть выгнаны из своих домов и выселены в Турцию или куда-нибудь...» «Вчера наши войска под командой майора Остоича после короткой и ожесточенной борьбы заняли Фочу. Наши потери — 4 убитых, а неприятельские около тысячи, из которых 300 женщин и детей...»

Председатель читает выдержку из телеграммы, адресованной Драже: «Мы взяли в плен 16 раненых партизан и зарезали их без суда...»

Джука Лукич, старая мать, не выдерживает и спрашивает:

— Неужели у этих зверей есть матери, жены, дети?

Она поднимается и громко, так, что слышат подсудимые, говорит:

— Их надо убить, проклятых, всех до одного, чтобы они не позорили звание человека!

Это требование сотен тысяч матерей, вдов, сирот во всех концах страны.

Все изложенное в обвинительном заключении на процессе Михайловича и его сообщников полностью подтвердилось. После невнятных слов подсудимых суд удалился на совещание.

Процесс, длившийся свыше месяца, подошел к концу. Публика хлынула из душного зала на воздух.

В тени деревьев Топчедерского парка собралась группа возбужденно разговаривавших людей. Я подошел к ним.

Говорил высокий красивый серб с головой, перевязанной снежно-белой повязкой. Несколько дней назад он приехал из Триеста, где его жестоко избили итальянские фашисты, и сейчас рассказывал о своих впечатлениях. Говорил он с юношеским азартом, и слушали его молча, не задавая вопросов.

Он говорил, и все мы — слушатели его — видели прекрасную пустынную бухту с затопленными, торчавшими из воды пароходами, полицейских в белых колониальных шлемах, расчищающих улицу от плотной толпы манифестантов. То здесь, то там мелькают резиновые дубинки. Под покровительством полиции, при молчаливом созерцании союзной администрации итальянские фашисты врываются в здания демократических организаций, поджигают книжные магазины, избивают продавцов демократических газет.

— Бесчинства фашистов в Триесте и злодеяния Михайловича — звенья одной цепи, — закончил молодой серб свой рассказ.

Мы познакомились. Молодой человек назвал свое имя: сельский учитель Игнат Попович. В рядах Народно-освободительной армии он изгонял оккупантов из сел Юлийской Краины и Триеста.

У Поповича в руках была книга. Называлась она

«Документы о предательстве Драже Михайловича». Издали ее в прошлом году в Белграде. В ней 735 страниц, содержащих 760 изобличающих документов. Перелистывая ее, среди телеграмм, писем, приказов встретил я несколько десятков фотографий, от которых стало не по себе и холодок пробежал по коже.

Четники в остроконечных бараньих шапках с лицами, обрамленными в траурные рамы бород, перепиливают ножами горло юноши. На втором, третьем снимках — другие жертвы. Мы быстро листаем страницы. Вот тоже перерезают горло, но уже не четники, а итальянские фашисты; видно, много горя причинили они Югославии. Вот командиры отрядов Михайловича сидят за одним столом с немецкими офицерами и пьют вино. Через плечи у них — пулеметные ленты, за поясами — английские пистолеты. Но не как равные с равными сидят четники за столом с гитлеровцами. Это слуги, которым господа разрешили сесть рядом с собой.

В книге дано клише первого листа газеты «Ловчен», изданной в городе Цетинье 11 октября 1944 года. Крупным шрифтом здесь напечатана статья «Высокое награждение подполковника П. Джуришича». В ней сказано: «Четнический комендант г. Павел Джуришич, которому генерал Недич недавно присвоил чин подполковника и назначил на должность помощника коменданта добровольческого корпуса, получил от верховного командования немецких вооруженных сил особое признание его военных заслуг и награжден фюрером орденом Железного креста».

В свидетельских показаниях на суде очень часто упоминался кровавый Джуришич.

Все документы, собранные в этой объемистой книге, были зачитаны на суде, но они явились лишь частью опубликованных материалов. Из одного документа мы узнали, что лондонское эмигрантское правительство не пожелало отстать от фюрера и в свою очередь наградило Джуришича звездой Карагеоргиевичей. Немецкий Железный крест и Королевская звезда рядом на груди одного разбойника — более чем веское доказательство того, что эмигрантское правительство знало о связи Михайловича с оккупантами.

Имя английского офицера Хадсона очень часто проносилось на суде. Если бы Михайлович не получал огромную материальную помощь от западных союзни-

ков, если бы он не пользовался советами Хадсона, Бейли, Мак Даула, народы Югославии со значительно меньшими потерями и в меньшие сроки изгнали бы из своей страны оккупантов. Хадсона нет на суде, но тень его присутствует среди подсудимых. Темная, мрачная тень.

Хадсон приехал на Бадканы в чине капитана, а сейчас носит полковничьи погоны. Очевидно, он неплохо сделал свое дело и получил положительную оценку начальства.

Привожу часть письма Хадсона к Михайловичу, которое было зачитано на суде.

«Многоуважаемый господин министр!

Считаю нужным еще раз известить Вас, что я передаю себя в Ваше распоряжение, если Вы считаете, что я могу быть полезен Вашей организации. Я хотел встретиться с капитаном Джуришичем и подполковником Станишичем и остальными командирами, которые столь успешно боролись против коммунистов и освободили все края от них.

Я думаю, что, может быть, было полезно, если бы я им лично сообщил, что Великобритания решила стопроцентно помогать Вам для объединения всех национальных сил в стране и чтобы Вы приготовились для совершения акции против оккупантов в тот день, когда у Вас будут шансы на успех. Я считаю, что то, что я получил повышение в чине, является еще одним лишним выражением стремлений британского правительства помочь Вашей национальной акции. Я хотел бы сообщить своему командованию, что лично виделся с командирами из этих краев и был на территории, которую они очистили от коммунистов, чтобы подкрепить их национальную точку зрения и сказать им, чтобы они действовали только по Вашему приказанию...

С глубоким уважением — ХАДСОН.

11 июня 1942 года.

Действующая армия».

Это письмо как нельзя лучше разъясняет подлинную роль некоторых союзнических офицеров в Югославии.

В ожидании приговора преступникам я долго ходил с Поповичем по аллеям Топчедерского парка. Иногда мы заходили в зал и видели подсудимых.

— Так будет со всеми, кто попытается еще раз погрузить мир в океан крови, — сказал Попович.

А рядом с парком тысячи юношей и девушек с рюкзаками за плечами под ритм партизанской песни солдатским шагом шли по мостовой. Это белградские студенты направлялись на строительство железной дороги, которую строит югославская молодежь. Это шли на работу хозяева своей страны

1946 г.

Корея в огне

Первое мое знакомство с Кореей произошло в Москве, в зале Чайковского, на концерте корейских артистов.

Публика горячо встретила актеров. Огромную сцену заставили корзинами с живыми цветами. Наибольшим успехом пользовались танцы. Выдающуюся корейскую балерину Цой Сын Хи, с блеском и темпераментно исполнившую такие разнохарактерные танцы, как сатиру на поджигателей войны «Пугало», этюд «Будда» и эпизод из героической борьбы народа «Сквозь бурю», долго не отпускали со сцены.

Через несколько дней в Корее американцы спровоцировали войну, и я, как корреспондент «Правды», вылетел к месту событий. Тогда я очень мало знал о Корее, и перед глазами моими все время вставал старик, каким показала его нам в тот вечер на концерте талантливая балерина Цой Сын Хи: сквозь свист ветра и хлесткие удары ливня, под грохот грозы вез он в лодке оружие партизанам. Тогда я еще не знал, что скоро увижу сотни таких мужественных стариков.

В ожидании, пока с корейской стороны подадут лодку, мы стоим на советском берегу широкой реки Тумень-Цзян. Мирная, прекрасная земля. Позади у нас высота Заозерная и холодный блеск озера Хасан, справа — синие сопки Маньчжурии, впереди — объятая пламенем борьба Корея.

Крестьяне в полотняных одеждах и широких соломенных шляпах перевозят нас через реку, то и дело поглядывая в ярко-синее небо. Недавно здесь пролетел американский самолет-разведчик.

Уже в первой деревне повеяло знобящим холодком войны. Крыши покрыты ветвями, у легких фанерных

домиков вырыты щели, на стеклах наклеены полоски бумаги. На специально устроенной вышке стоит дежурный, зорко всматривающийся в безоблачное, но коварное небо.

В поселковый Народный комитет крестьяне приносят продукты и одежду — подарки Народной армии. Вдоль сопки строится дорога. Женщины и дети подносят к ней на головах камни, мужчины заняты земляными работами. Все трудятся добровольно, бесплатно, круглые сутки. А поблизости, на полянке, молодые парни под руководством сержанта обучаются штыковому бою.

Люди еще не видели американских захватчиков, но ненависти их уже научили японские оккупанты.

Машина, вышедшая за нами из Пхеньяна, не пришла в назначенный срок, и мы отправляемся на юг поездом с новобранцами. На каждой станции в вагон входит все больше и больше пассажиров. Появляются военные с перевязками. Это легкораненые, побывавшие в госпиталях. Сейчас они возвращаются на фронт. У многих на груди поблескивают новенькие медали.

Корейцы презирают американских вояк, говорят, что американцы выставляют на первую линию обороны лисынмановцев, во вторую суют японцев, а сами отсиживаются в «третьем эшелоне». Но пушки Народной армии достают их всюду.

Побывавшие на фронте рассказывают о том, что они видели в деревнях, освобожденных от американских войск. Их рассказы потрясают: груды тел замученных и расстрелянных партизан и мирных жителей.

Поезд идет дальше, переполненный солдатами и офицерами до отказа. Люди стоят в тамбурах, висят на подножках, сидят на крышах. Слышна песня.

На станции Чхоньжинь нас встречает первая воздушная тревога: предупреждающие гудки сирен, гневные свистки паровозов. Женщины с детьми за спиной разбегаются по густым зарослям гаоляна. Мы видим сеятели смерти — американские «летающие крепости». Восемнадцать машин, проплывающих звеньями на высоте примерно трех тысяч метров. Поезд поспешно уходит в темный туннель, который сразу же заволакивает удушливый дым паровозной топки. Корея — горная страна; железная дорога вьется среди скал и изобилует туннелями различной длины. Поезд движется скачками от туннеля к туннелю, на бешеной скорости пролетая от

крытые отрезки дороги. В ярко-синем небе ни облачка, но доносятся как бы раскаты грома. Это американцы бомбят деревни.

От Чхоньчжиня поезд идет на юг ногами, простаивая днем в туннелях. В поезде ни огонька, только красные искры из паровой трубы, словно трассирующие пули, стремительно пролетают мимо раскрытых окон вагона. Мелькают города и села, но всюду темнота. В Корее — стране, изобилующей электрическими станциями, — американские агрессоры погасили свет.

От порта Сончжинь до Хамхына поезд движется вдоль живописного Японского моря. Свет луны и крупных южных звезд на мгновение освещает причудливо изрезанные скалы траншеи, выделяет силуэты пушек и часовых, на серебристой глади моря — черные паруса сторожевых лодок. Видны красные и синие угли догорающих фан в деревнях. Всю дорогу нас преследует душливый запах гари: горят прибрежные города и села. Американская авиация пытается разбить тыл корейской Народной армии. Но это не так легко сделать. То, что разрушается днем, трудолюбивый корейский народ самоотверженно восстанавливает ночью. Повсюду ногами кипит созидательная работа.

Днем южнее нас слышится продолжительная канонада. Поезд останавливается на станции Хонганзы, и там мы узнаем, что американская эскадра в составе восемнадцати кораблей обстреляла побережье. По вагонам проносится слово «десант». Но оно не вызывает ни паники, ни страха. Ничего, кроме ненависти.

Мимо поезда на полном ходу проносятся несколько грузовиков с солдатами. Бойцы занимают на скалах заранее вырытые траншеи. В руках у них кроме оружия свежие ветви, и вскоре там, где они расположились, не видно уже ни души, только зеленеет сразу вдруг выросший кустарник. Солдаты Народной армии умеют хорошо маскироваться.

Местные девушки подносят к морю десятки носилок, сплетенных из речных трав. Но тревога напрасна: у американских пиратов не хватает духу на высадку десанта.

Ночью проезжаем крупные города Хыннам и Хамхын. Здесь расположены крупнейший в стране химический комбинат, медеплавильный завод, первоклассная, хорошо оборудованная гавань. Около двухсот тысяч жителей насчитывали эти два города, экономически тесно связан-

ные между собой. Сколько сейчас там жителей, трудно сказать, ибо несколько дней подряд по пятьдесят «летающих крепостей» с утра и до вечера бомбят эти прекрасные города, бросая бомбы на заводы и жилые районы.

Вдоль полотна железной дороги по обе стороны зияют наполненные водой воронки, каждая диаметром не меньше пятнадцати метров. Как паутина, поблескивают сотни оборванных, спутанных телефонных и телеграфных проводов. На столбах силуэты связистов, приводящих в порядок всю эту невообразимую путаницу металла. Эти герои — корейские рабочие — самоотверженно, с мастерством хирургов ежедневно терпеливо восстанавливают связь. Над городами удушливое облако гари. И все же смерти не удается победить жизнь. Города продолжают жить, помогать фронту. Работают электростанции, городской транспорт, выпекается хлеб, производится торговля.

Мост через реку разбит. Солдаты, забрав вещевые мешки и оружие, идут километров пять, затем переходят реку вброд, грузятся в поезд, подошедший с той стороны. Они крепко сжимают винтовки и автоматы, на которых уже сделаны насечки — так отмечается здесь число убитых захватчиков.

«Поезда должны ходить с наименьшей потерей времени!» — таков лозунг корейских железнодорожников.

Многочисленная американская авиация бессильна парализовать железнодорожный транспорт, прекратить работу кровеносных сосудов страны. Десятки тысяч людей чинят дорогу: они понимают, что дело идет о независимости их родины. Все население страны — и женщины и старики — это уже обстрелянный народ, они тоже солдаты. Печать возмужалости и силы лежит на их добрых лицах. Против американских агрессоров и лисынмановцев поднялась вся страна.

Трогаемся в дальнейший путь. В поезде узнаем, что американские летчики совершили несколько варварских налетов на Вонсан со специальным заданием разбомбить госпитали и больницы, на крышах которых были нарисованы отчетливо видимые красные кресты. Я видел огромные кресты, выложенные из битого кирпича во дворах госпиталей, но они-то как раз и привлекают воздушных бандитов.

Мост у станции Эйко поврежден. Сотни крестьян под руководством саперов подкладывают под обвалившуюся ферму шпалы, медленно поднимают ее. Переходим вновь на другую сторону реки, к ожидающему там поезду. Солдаты хмурятся: они торопятся на фронт.

Мы попадаем под налет. Самолеты сбрасывают бомбы над нашими головами, но они пролетают вперед и с грохотом рвутся за холмами, надолго заволакивая окрестности дымом. Видно, как от самолетов отделяются по девять точек, а разрывов — два, три: остальные — бомбы замедленного действия и взорвутся позже. Забрасывая такими бомбами города и деревни, американцы стремятся запугать население, посеять страх, держать людей все время в нервном напряжении. Знакомая тактика, перенятая у фашистов. Но разве можно сломить дух народа, следующего примеру советских людей! На стенах корейских вокзалов наклеены портреты Гастелло, Матросова, Космодемьянской и Кошешова, напоминающие о величайших проявлениях человеческой воли, мужества и бесстрашия, рожденных любовью к Родине.

Народ с удовлетворением читает сводки с фронта: наступление Народной армии продолжается.

По полотну железной дороги доходим до реки. Перед нами — красавец железнодорожный мост. Четыре ажурные фермы его силой взрыва сброшены в воду. Вокруг моста на большой площади множество широких воронок, обуглившиеся деревья, разбитые фанзы, опаленные огнем поля гаоляна. Ежедневно в продолжение недели американские летчики бомбили этот мост, но лишь после того, как уничтожили все вокруг, попали в него.

С железнодорожной станции видно, как во все стороны по полям разбегаются женщины и дети, подальше от места бомбежки. Еще не рассеялся дым, а уже сотни крестьян, стоя в воде, с чисто корейской настойчивостью и упорством складывают клетки из шпал, чтобы восстановить разрушенный мост. Они уже привыкли жить рядом со смертью.

Когда-то я видел, с каким трудом строятся мосты. Подымать их из обломков еще труднее. Восстановление взорванных корейских мостов заслуживает описания в учебниках строительного искусства.

В перерыве между двумя воздушными налетами маленький пожилой крестьянин, пощипывая реденькую седую бородачку, сказал нам:

— Разрушают бетон и железо, а вот чтобы душу мою расколоть, нет у них такой бомбы.

Работать тяжело. Каждую минуту могут вновь нагнать «летающие крепости». Вокруг лежат десятки бомб замедленного действия, и никто не знает, когда они взорвутся, а взрываются они не все сразу, а по одной.

Мы видели эти бомбы, вытащенные из земли. На их свинообразных туловищах нежной небесной краской выведены опознавательные знаки Организации Объединенных Наций. Флагом ООН прикрываются здесь чудовищные преступления.

Но не все бомбы, падающие на корейскую землю, взрываются. Нескольким бомб, вскрытых в Вонсане, вместо взрывчатки оказались начиненными песком, а в одной лежала записка, написанная американскими рабочими. В записке сказано, что народ Соединенных Штатов не желает войны.

Страна подчинена военной дисциплине. Народ работает не покладая рук. Вся северная Корея сейчас — единый боевой лагерь. В Когене в наш поезд села большая группа молодежи. Это студенты медицинского института, добровольно отправившиеся в армию. Они рвутся в бой, чтобы отстоять свой дом, свою землю, свое право на учебу, свою жизнь. Один из них говорит, что за несколько дней войны народ политически вырос на целую голову. Американцы не бросают листовки, ибо знают, что корейцы не верят ни единому их слову. Агитация ведется бомбами.

Вечером подъезжаем к Пхеньяну — навстречу все приближающемуся грому. Это зенитчики корейской Народной армии ведут бой с американскими самолетами. Солдаты в поезде с любовью упоминают имя летчика Ким Ги Ока, сбившего десять самолетов врага.

Есть в центре Пхеньяна гора Моранбон. В переводе на русский язык ее название означает — холм хризантем. В течение сорока лет японской оккупации корейцам под страхом смерти запрещалось всходить на тенистую, поросшую садами гору, откуда открываются чудесные виды на город и живописные окрестности. Гора была местом отдыха японской знати.

Пять лет прошло со дня освобождения Кореи советскими войсками, и сегодня, в день всенародного праздни-

ка, благодарные корейцы с утра устремились на гору, чтобы возложить венки и букеты цветов у подножия огромного белого обелиска, называемого Хябантаб. Этот обелиск был сооружен здесь в честь победоносной Советской Армии. Постамент обелиска утопает в живых цветах, в лентах, а по асфальтовой дороге идут все новые и новые делегации с букетами цветов: женщины, рабочие, солдаты. Нет только детей: они вывезены в горы, подалее от американских бомб.

Ярко блестит Золотая Звезда Героя, изображенная на обелиске. Светлые лучи ее напоминают о мире, принесенном советскими солдатами в эту страну. Но американские агрессоры нарушили мир. «Летающие крепости» ежедневно бомбят Пхеньян.

Вчера они вновь сбросили десятки бомб на жилые районы Янхари и Мансонри. Обломки домов и глыбы камней засыпали улицы. Чтобы пройти там, приходилось осторожно перебираться через развалины, как в овраги, спускаться в воронки... Сегодня ничего этого уже нет. Город очищен от мусора разрушений, приведен в праздничный вид. Там, где вчера нельзя было пройти, сегодня можно проехать на автомобиле. Зияют только свежие воронки — следы сегодняшней бомбежки, но их не так много. Вчера, после того как «летающие крепости» отбомбились, прилетел самолет-разведчик, чтобы сфотографировать картину гибели города, но был сбит, а уцелевший экипаж его взят в плен.

На перекрестках улиц остроумные карикатуры на Трумэна, Макартура, Ли Сын Мана и его жену — американку Алису. На улицах толпы народа в праздничных одеждах.

Вечером в театре на Моранбэне состоялось торжественное заседание общественных организаций совместно с представителями трудящихся.

На богато убранной сцене — корейские и советские флаги и государственные гербы, знамена всех родов войск, обрамленный электрическими лампочками контур Кореи.

Сам факт проведения торжественного заседания в городе, который ежедневно подвергается варварским налетам американской авиации, еще более укрепил веру народа в окончательную победу.

Железное спокойствие столицы передается стране, народу, армии.

Стабилизировавшийся в первой половине августа фронт от Энгдона, на берегу Японского моря, шедший почти по прямой на запад до реки Нактонган, в двадцати километрах севернее города Тэгу, и далее по реке спускавшийся на юг до Ансейри, вновь прорван наступающими войсками возмужавшей Народной армии.

Что же представляет собой театр военных действий в Корее — этой горной стране? Горы занимают большую часть ее территории, где много быстрых рек и бурных потоков и мало дорог; они рассечены речными долинами, зажатыми в ущельях с голыми, обрывистыми склонами. Многочисленные суровые хребты, безлюдные и зачастую недоступные человеку, пересекаются друг с другом, образуя путаницу и неразбериху на картах, кстати, очень неточно составленных японцами. Узкие, с зазубренными гребнями, обрывистые горы и горные теснины определяют характер военных действий.

В Корее идет война в тяжелых горных условиях. И хотя горы не особенно высоки, до полутора тысяч метров, пехота часто дерется за облаками. Погода на юго-востоке коварна, изменчива. Влажные океанские муссоны неожиданно сменяются колючими северными ветрами, нагоняющими плотные туманы. Тропические ливни превращают высохшие русла рек в стремительно несущиеся водопады. Там, где вчера можно было пройти, не замочив сапоги, сегодня приходится наводить переправу.

Жестокая борьба шла в неравных условиях — выгодных для американцев и невыгодных для корейцев. Американские и лисынмановские войска занимали территорию на юго-востоке полуострова размером сто на сто километров. Мосты и дороги у них были целы. Их войска круглосуточно пользовались свободой маневра и подвоза боеприпасов.

Совершенно иное положение оказалось у Народной армии: коммуникации ее растянулись и подвергались непрерывным бомбежкам. Большинство станций, железнодорожных и шоссейных мостов было разрушено. По дороге на фронт автомашинам приходилось преодолевать несколько крутых перевалов, над которыми висели ночные самолеты врага. Движение по дорогам осуществлялось только ночью. К рассвету поезда загонялись в туннели, все автомашины искусно маскировались. Жизнь на

дорогах замирала до сумерек. Пленные американские офицеры высоко отзываются о маскировочной дисциплине Народной армии. Умелая маскировка боевой техники на марше и на позициях, скрытое продвижение стрелковых колонн уменьшают неоправданные потери войск.

В начале сентября Народная армия начала наступление с запада на американские дивизии, оборонявшиеся на левом берегу реки Нактонган, а через несколько дней нанесла мощный удар с севера по лисынмановским бандам. Затем она перешла в наступление по всему фронту.

Форсирование реки Нактонган, с ее крутыми берегами, представляющими тактически выгодный для обороны рубеж, изрезанными траншеями полного профиля с пулеметными гнездами, заслуживает внимания.

Командование корейской Народной армии проделало титаническую подготовительную работу, предшествовавшую переходу войск в наступление через эту могучую водную преграду, которую в сочетании с непроходимыми горами командующий 8-й американской армейской группой в Корее генерал Уокер считал непреодолимым барьером, более прочным, чем линии Маннергейма, Мажино и Зигфрида.

Местное население на десятки километров в окружности собрало подручные материалы: бревна, бочки, веревки, доски. Все это скрытно подносили поближе к правому берегу и там сколачивали легкие плоты. Туда же носильщики доставляли рыбацьи лодки, а также трофейное десантное имущество: надувные лодки и даже наплавные мосты системы Бэйли.

Офицеры подробно изучали реку, наносили на карту «мертвые пространства» оцетинившегося пулеметами противоположного берега, пригодные для причала плотов и лодок. Бродов нигде обнаружено не было. Ширина реки достигает семисот метров, глубина — до десяти метров, скорость течения огромная.

Командный состав подразделений, выделенных для атаки, тщательно изучил на местности инженерные сооружения и систему огня американцев, наметил направление и объекты атаки. Командиры рот выбирали ориентиры, определяли азимуты, ставили задачи сержантскому составу. Каждый солдат знал свой плот или лодку, знал, куда ему грести, место высадки и объект атаки. Молодая Народная армия прошла хорошую школу и за два с лишним месяца войны многому научилась.

Бой в корейских горах ведется за командные высоты вдоль дорог, хребтов, долин, за населенные пункты и перевалы. Сплошного фронта нет, и труднопроходимые участки остаются неприкрытыми. На них-то и нацеливались «летучие отряды».

Многие стремились попасть в эти отряды, но туда отбирали наиболее опытных, уже отличившихся в боях воинов.

Накануне наступления была проведена разведка боем, давшая возможность выявить силы врага и уточнить сведения о системе его огня. Американцы и здесь оказались в более выгодном положении. Горная местность позволяла им с меньшими силами противостоять наступающей Народной армии.

В сумерки разведывательные отряды с приданными им саперами и связистами бесшумно переправились через быструю реку. Столкнувшись с неприятелем на высотах, они открыли стрельбу, послужившую сигналом к артиллерийской подготовке. Десятки батарей разных калибров обрабатывали передний край американцев, а в это время через реку переправлялся первый эшелон.

Янки стали бросать сотни ракет, осветительные снаряды повисли над переправой. Прилетели «ночники». Стало светлее, чем днем. Крупнокалиберные пулеметы и скорострельные пушки повели огонь по зеркалу реки. В это время дымовая завеса, словно густой туман, поползла над рекой, ослепила американцев. Сквозь трескотню выстрелов слышались шелковый плеск волн и торопливые удары весел.

Как только роты первого эшелона причалили к берегу, пушки и минометы перенесли огонь в глубину. Стрелки с каменистой прибрежной кромки, стреляя на ходу, ринулись вверх, к первой линии траншей. Над их головами, указывая направления, протянулись нити трассирующих пуль, для каждой роты особого цвета. Когда оставалось метров тридцать до противника, в траншее полетели ручные гранаты. Еще несколько секунд — и корейцы ворвались в траншею. Последовали выстрелы в упор, удары штыком и прикладом. Как всегда, американцы не приняли рукопашного боя. Многие из них были убиты, многие подняли руки, большинство, бросив оружие, бежало.

После захвата первых траншей оказался совершенно огражденным от ружейно-пулеметного огня весь широкий фронт форсирования реки. А к утру был захвачен новый

рубеж, что обезопасило наводку мостов от огня артиллерии, управляемой с наземных наблюдательных пунктов.

В первую ночь наступления было захвачено несколько плацдармов, необходимых для переправы главных сил и ввода их в бой. Главное было сделано: корейцы прочно закрепились на противоположном берегу могучей реки.

Как и следовало ожидать, утром американцы бросили всю свою авиацию на наступающие полки. Тысячекилограммовые фугасные бомбы раскалывали скалы; осколки, ударяясь о камни, высекали бледные искры; стоголосое эхо, перекатываясь в горах, умножало грозные звуки боя. Воздух, насыщенный каменной пылью, сделался густым и горячим, затруднял дыхание.

Нестерпимо жгло солнце, казалось, все время стоявшее над головой.

На одно подразделение в течение дня было совершено свыше тысячи пятисот самолето-вылетов. Бомбометание и обстрел производились со стороны солнца, с бреющего полета на больших скоростях. Пикируя, американские летчики применяли воющие сирены, хотя это и мало им помогало, так как от беспрерывного грохота разрывов слух людей уже притупился.

В борьбе с самолетами солдаты Народной армии, кроме зенитных средств, широко использовали станковые и ручные пулеметы. Стреляли также из винтовок. Огонь велся залпами, по команде офицера, в момент, предшествующий выходу из пике, и во время самого пикирования, с различными упреждениями, перекрывающими возможные ошибки и увеличивающими вероятность попадания.

Для укрытия от воздушных атак делали в мягком грунте узкие щели, в качестве прикрытия использовались расщелины скал и валуны. Люди гибли только от прямых попаданий.

Помогала рассредоточению войск и строгая маскировочная дисциплина. На гимнастерках и фуражках солдат Народной армии нашиты шнурки, в которые вставляются свежие веточки. Человек, утыканный веточками, на расстоянии кажется кустом.

Некоторые роты во время налетов авиации стремительно бросались в атаку и, сблизившись с американцами, лишали летчиков возможности бомбежки и обстрела.

К вечеру на месте сражения не осталось ни кустов, ни деревьев: все выкорчевало огнем артиллерии.

На войне время летит необыкновенно быстро. День

прошел, наступила лунная ночь, ярко сверкали крупные звезды, жизнерадостный свет их торжествовал над мертвым огнем ракет. Авиация ушла на свои аэродромы, и наступление войск Народной армии возобновилось с прежней силой.

Вторая ночь наступления. Летучие отряды, просочившиеся в тыл, захватили командные высоты. Это дало возможность надежно закрепить достигнутый успех, создало предпосылки для дальнейшего наступления, лишило американцев преимуществ в обзоре и в обстреле.

Гаубичные дивизионы, горновьючные батареи и минометы двигались вслед за пехотой по тропинкам, проложенным саперами. Пушки, приданные пехоте, руками втаскивали на скалы, в ход пошли веревки. Все достигалось трудом и потом.

На третьи сутки американцы, совершенно не подготовленные для войны в ночных условиях, начали отступление, минирруя дороги, делая завалы, взрывая мосты. Они ввели в дело танки.

Уничтожив вражеские батальоны, прикрывающие отступление главных сил, войска Народной армии прорубили несколько широких брешей, в которые ввели свои танки, быстро вышедшие на пути отхода противника.

На севере был взят важный железнодорожный узел и узел шоссе дорог Ненчон, а также город Кинджю. Свобода маневра для агрессоров оказалась потерянной. Войска наступающие с запада, подошли к городу Милян. С выходом северокорейских войск на дорогу, параллельную течению реки Нактонган, американская армия оказалась под угрозой окружения.

В это время в Инчоне американцы высадили мощный морской десант. Операция эта, гонко разработанная специалистом-десантником адмиралом Альбертом Спрэйгом, угрожала войскам Народной армии, находившимся на юге. Командующий фронтом отдал этим войскам приказ отходить на север, к 38-й параллели.

1950 г.

Бессмертие Пхеньяна

Тревожные ночи переживают жители корейской столицы. С вечера и до рассвета над городом летают американские самолеты, сбрасывают мелкие осколочные бомбы, обстреливают жилые дома из крупнокалиберных пулеметов. С невозмутимым цинизмом американские воз-

душные бандиты швыряют пачки прокламаций, в которых уверяют жителей, будто они бомбят только военные объекты.

19 сентября в шесть часов утра, как всегда, прилетели штурмовики и обстреляли центр города из пушек и пулеметов. Через час появились сорок семь «летающих крепостей». Шесть часов без перерыва они сбрасывали фугасные и зажигательные бомбы. Город потонул в едком дыму пожаров. Стало темно, как во время затмения солнца.

Во всех концах города горели дома. Повреждена центральная гостиница, уничтожено несколько школ. Полностью погби в огне жилой район, населенный интеллигенцией. Дотла сгорели дома писателей и актеров. Из всех налетов на Пхеньян сегодняшний можно считать самым варварским. Сброшено несколько тысяч бомб. По предварительным подсчетам, убито и ранено около тысячи человек, среди них масса стариков, детей и женщин. По-видимому, этим невиданно кровавым налетом Маршалл отметил свое восшествие на пост военного министра США.

Одним из наиболее памятных дней этого года была для меня среда 20 сентября. Я жил тогда в пхеньянской гостинице «Интурист» и по плану, составленному накануне, собирался в этот день посетить родильный дом в районе Мансонри, побывать у зенитчиков на батарее, окопавшейся на холме у здания Народного собрания, и в семье рабочего Ким Бон Сена, жившего в районе Канбенри.

Ночь выдалась беспокойная. Никто не сомкнул глаз.

В девять часов я отправился в родильный дом. Улицы были пустынные, так как начавшаяся на рассвете воздушная тревога все еще не прекратилась. Где-то поблизости находились американские самолеты.

Завидев «летающие крепости», я прибавил шагу. Самолеты сбросили бомбы над городской больницей, там все заволкло дымом. Еще две девятки самолетов шли курсом, как мне показалось, на меня, и я побежал к бомбоубежищу, находившемуся рядом с родильным домом. Я мчался преследуемый свистом уже летящих бомб, чувствуя, что можно бежать еще пять — десять секунд, а потом надо падать, вжиматься в землю. Я добежал до убе-

жища и успел только подумать, что прямого попадания оно не выдержит, рванул деревянную дверь и перешагнул несколько ступенек. Взрывная волна ударила меня в спину, и я полетел вниз, в темноту, ударился головой о что-то мягкое тело. Маленькое убежище наполнилось мелкой каменной пылью и выедающим глаза дымом.

Через несколько минут зажгли карбидную лампу, и я увидел молодых матерей, прижимающих к груди детей, и еще увидел женщину, в муках рожавшую на земляном полу. Таинство рождения свершалось рядом со смертью. Это показалось мне пределом незащитности, ибо что может быть незащитнее только что родившегося человека, на которого сбрасываются тонные бомбы?

Взрывы следовали один за другим, и всякий раз женщины в испуге наклонялись, закрывая своими телами младенцев.

В убежище не оказалось мужчин. Женщина на полу, преодолевая боль, отвернулась, и я понял, что мне следует немедленно удалиться.

Я не успел отойти и ста метров, как новая серия бомб рванула землю, и на месте убежища за клубилось черное облако дыма и пыли. Я побежал обратно и увидел огромную воронку: в убежище угодила бомба.

Через несколько минут приехала пожарная команда, и бесстрашные люди в медных касках принялись откапывать матерей и новорожденных, погребенных под обломками.

Не помня себя, я шагал к зенитчикам. Они вели огонь по «летающим крепостям», которые волнами накатывались на город, потонувший в дыму пожаров. В этот день зенитчики Пхеньяна сбили девять «летающих крепостей».

Присев на ящик со снарядами, я стал считать самолеты. Когда счет дошел до тридцати, они все одновременно выпустили бомбы. Можно было определить, что бомбы брошены на батарею. Они приближались с ужасающей скоростью и с нарастающим свистом, но никто из зенитчиков не побежал и не бросился на землю. Они вели огонь до последней секунды, и в моем мозгу запечатлелись одновременно страшный взрыв бомб и вспышки орудийных стволов батареи. Все потонуло в черной мгле.

Когда кровавый туман, застилавший глаза, разошелся, я увидел убитых артиллеристов. Несколько человек погибли у своих пушек, до последней секунды продолжая стрелять.

С объятого пламенем падающего самолета двое летчиков спускались на парашютах. Когда я добежал до упавшего самолета, летчики уже были окружены плотно сгрудившейся гневной толпой. В глаза бросилась оторванная рука разбившегося стервятника. Эта хищная рука жаждала заграбастать весь мир, и вот она, безжизненная, лежит в пыли, поблескивая обручальным кольцом на безымянном пальце.

Я хотел пойти к товарищу Ким Бон Сену, но мне сказали, что район Канбенри весь уничтожен бомбежкой. Позже я узнал, что семья рабочего сгорела в этот день. От большой семьи уцелел один семилетний мальчик.

Все вокруг рушилось, гибло. Земля сотрясалась от взрывов, воздух свистел от осколков, камни, облитые горячей жидкостью, пылали.

Злодейский налет американских самолетов в этот день продолжался с утра до вечера. Было убито и ранено свыше трех тысяч человек.

Вернувшись в разбитую гостиницу, где не было ни одного целого окна и обвалились все потолки, где в вестибюле еще лежал убитый человек, я сел к столу писать о том, что видел.

Человечество должно знать о том, что было 20 сентября в Пхеньяне.

Впрочем, этот день был прелюдией для еще более варварских бомбардировок города.

* * *

Только что американские бомбардировщики с высоты, настолько большой, что еле был слышен шум моторов, сбросили на Пхеньян бомбы. Озверевшие асы швырнули свой адский груз не целясь, куда попадет. Им все равно, будет ли убит старец или только что появившийся на свет младенец, упадет ли бомба на землянку-убежище или в развалины храма.

Бомбардируя крупный город, трудно промахнуться, и бомбы накрыли цель. У свежей воронки, как на краю бездны, шатаясь от горя, стоит молодая женщина, прижимая к груди окровавленного ребенка. Женщина не может даже заплакать. Месяц тому назад земля, выхваченная фугасной бомбой, выбила ей глаза. Ребенок мертв, но мать

еще не верит в его смерть и, как безумная, все целует и целует бездыханное тельце и шевелит бескровными губами, не то произнося проклятия, не то повторяя дорогое детское имя.

Со стесненным сердцем я иду среди ледящих душу развалин, по кускам асфальта с остатками рельсов, напоминающими, что когда-то здесь были улицы большого города. Серая глыба обвалившейся стены преграждает путь. На ней сохранились яркие полосы — следы огромного, издалека видного красного креста. Здесь был госпиталь. Об этом напоминают скрученные прутья обгоревшего железа — остатки кроватей. Госпиталь уничтожен. А чуть дальше, на месте родильного дома, зияют огромные ямы. Здесь 29 августа, в день самой ожесточенной бомбежки, в одну и ту же воронку падало по несколько бомб.

В Пхеньяне не осталось ни одного целого здания, все превращено в груды кирпичей и каменной пыли.

На одном из холмов высится обгоревшая бетонная коробка университета. Кое-где на улицах торчат изодранные, как паруса, стены домов. Они выдержали такую бурю, какой не испытывал еще ни один корабль в мире. И повсюду — ямы, бесчисленное множество ям. Когда-то прекрасное, жизнерадостное лицо города словно побито черной оспой.

Вот уже третий год продолжается ожесточенная массовая бомбардировка города. Осатаневшие воздушные стервятники совершают налет за налетом на героическую столицу Коре́йской Народно-Демократической Республики. Были дни, когда они с холодной, циничной расчетливостью били по бомбоубежищам. В планшете одного сбитого летчика найдена карта города с довольно точно нанесенными на ней целями — укрытиями для населения.

В этот траурный день несколько бомбоубежищ, до отказа набитых женщинами и детьми, было завалено. Тот, кто не был убит, оказался заживо погребенным. Бомбежка длилась несколько мучительно длинных часов. Пламя, рванувшееся кверху, соединило небо и землю. Город, облитый напалмом, горел, и зарево пожара было видно за пятьдесят километров. Гибель Помпеи, наверно, была менее страшной. В Пхеньяне сбились с ног спасательные команды, не хватало врачей и пожарных, раненые заживо сгорали на медленном огне. Трудно представить себе, что

подобное садистское уничтожение людей происходит в XX веке.

Ежедневные бомбежки вынудили жителей покинуть родной город. За чертой Пхеньяна, у подножия холмов, лепятся тысячи крохотных землянок, по крышу врытых в крепкий каменистый грунт. Город разлился на десятки километров вокруг, как огромная живая река, в половодье вышедшая из берегов. Лишенные крова погорельцы ютятся в шалашах, шатрах, трубах для стока воды; как солдаты, они используют каждую складку местности, где можно укрыться от пулеметной очереди пикирующего «мустанга».

Но даже и эти многочисленные кочующие поселки американский военно-воздушный флот не оставляет в покое, каждую ночь бомбит и поливает напалмом.

До войны Пхеньян считался по праву одним из красивейших городов Восточной Азии. Многие дома его на берегу кристально прозрачного Тэдонгана напоминали легкие каравеллы Колумба. Глядя на обгорелые остовы этих домов, я вспоминаю слова десятилетнего пхеньянского гимназиста с забинтованной головой:

— Боже, и зачем только Колумб открыл проклятую Америку!

Честным американцам, которым дорога своя родина, следовало бы задуматься над этим. Сейчас Пхеньян похож на огромяную каменоломню. Здесь все разрушено, вырваны из земли деревья, сожжена трава. И только в замусоренном дворе, где когда-то находилось одно из посольств, возле фонтана с каменным мальчиком, сидящим в цветке лотоса, чудом уцелела по-весеннему зеленая плакучая ива. Воздушная волна от разорвавшейся невдалеке бомбы повернула фигуру мальчика так, что лицо его обратилось к небу, словно он, каменный, в тревоге ждет появления самолета. В городе все рушится, железо и камни превращаются в тлен и прах. Только человеческие сердца выдерживают кровавую бурю, разыгравшуюся над Пхеньяном.

Сожжено красивое здание балетной студии Цой Сын Хи, разбит театр, где с успехом исполнялась национальная опера «Чун Хян». Словно топором, расколот на две половины старинный католический костел.

Сколько ужасов пережило многострадальное население Пхеньяна! Но город оказался таким же крепким, как горы. Искалеченный, весь в ссадинах и воронках, он, как

герой, продолжает жить и бороться. Здесь мужественно работает правительство, ежедневно выходят газеты, продаются книги, продовольствие, отсюда можно послать телеграмму в любой город мира. Здесь не только гибнут, но и рождаются дети.

С каждым днем народ приобретает все новый опыт защиты против варварских бомбардировок.

Как только раздается пронзительный сигнал воздушной тревоги, женщины и дети поспешно бегут в убежища, пробуравленные в холмах. Тысячи людей, которые не хотят расставаться с родным городом, спят в освещенных электричеством извилистых проходах капитальных бомбоубежищ. В них холодно и неудобно, но зато голову надежно защищает каменный потолок толщиной в десятки метров.

Древний город Пхеньян расположен как бы в огромной изумрудной чаше — среди зелени холмов, окружающих его со всех сторон. Корейцы любовно, по камешку создавали его целое тысячелетие. Интервенты разрушили его до основания за два года.

Был день, когда авиация совершила налеты на исторические памятники столицы. Летчики получили тогда приказ — превратить в пыль все, что поддерживает воинственный дух корейцев.

В этот день «летающие крепости» разбомбили шестиярусную пагоду у храма Енменса, построенную в XI веке, снесли с лица земли ажурный павильон, построенный в 1612 году, — шедевр корейского зодчества. У дозорной башни Ильмилта, воздвигнутой в XVIII веке, упала фугасная бомба весом в тонну.

Не раз на землю Кореи вторгались полчища варваров. Но они не подымали меча на памятники древней культуры. И вот теперь то, перед чем в смущении останавливались древние варвары, уничтожила кичащаяся своей цивилизованностью американская военщина.

Мне рассказали, что архитектор О Сам Ен во время бомбежки старинных сооружений прибежал к знаменитым западным воротам Потхонмун и рыдал на их развалинах. Если бы можно было, он телом своим прикрыл бы эти дорогие каждому корейцу исторические ворота.

Я поехал в гости к О Сам Ену. Молодой архитектор жил в лесу за Пхеньяном. В землянке его на столе лежал приготовленный для премьер-министра, вычерченный на ватманской бумаге генеральный план восстановления

и развития Пхеньяна. Не зная сна и отдыха, он создавал этот план вместе с архитектором Но Сяком по указанию правительства Корейской Народно-Демократической Республики. Архитектор развернул чертежи, и я увидел Пхеньян таким, каким он станет в будущем.

Обрамленный буйной зеленью, центр города будет лежать на берегах голубой реки Тэдонган, окантованной гранитной набережной. Главный проспект станет во сто крат прекраснее, чем был прежде, гора Моранбон войдет своеобразным архитектурным элементом в общий ансамбль столицы. Здание правительства, новый вокзал, библиотеки, дворцы, клубы, больницы и школы, памятники, фонтаны и, наконец, кварталы новых домов для рабочих, как огромные сияющие кристаллы, отобразят черты новой эпохи в жизни корейского народа.

Пхеньян станет городом, где будет радостно жить, работать, учиться и отдыхать.

Таковы Пхеньян сегодняшний и Пхеньян завтрашнего дня. Город возродится из пепла, как возродились Сталинград и Новороссийск, Варшава и Лидице, и станет еще краше, чем был. Такова воля корейского народа.

Омони

— Омони¹, — послышался тоненький детский голосок, — омони, — и беспомощно растаял в морозном воздухе.

Новсюду лежали руины, и над ними всходила зловеющая кроваво-красная луна.

— Омони, — повторил голосок и заплакал; и я заметил на дороге крохотного мальчика в одной рубашонке и мужских резиновых туфлях, надетых на босые ножки.

Увидев незнакомого человека, мальчик проворно, как полевая мышь, шмыгнул за изрешеченную осколками стену, из-под которой, будто цветок, выглядывал слабенький огонек. Передо мной оказалась убогая хижина, наполовину врытая в землю. С трудом я отыскал вход и полез вниз. Неровное пламя очага освещало пол, застланный циновкой, на которой мал мала меньше сидело пятеро ребят. Они играли и шумели, но, увидев меня, сразу умолкли и прижались друг к другу. Я подобросил в очаг

¹ Омони — мама.

валявшиеся в углу куски дерева, отщепленные от двери разбитого дома. Желтое пламя выбросило несколько языков, осветило сложенные из разбитых кирпичей обледенелые стены, заклеенные газетами. На стенах виднелись две цветные литографии, вырезанные из «Огонька», плакат с изображением солдата Народной армии, выметающего из Кореи кучу американцев, нарисованных в виде опившихся кровью пауков. Из многочисленных щелей дул пронзительный ветер, а вода в чашках была покрыта толстой коркой льда.

Дети жались друг к другу и молчали.

Я уже собрался уходить, как со двора послышалась бодрая песенка и в землянку с вязанкой веток, без платка и пальто, вошла девочка лет десяти.

— Омони, — сказала девочка, — скоро придет с работы. Сегодня она задержалась: у них собрание.

Девочка вытерла самому маленькому мальчику нос. На ножке мальчика алел свежий шрам — рваный след от осколка.

— Я сейчас!

Девочка схватила два ведра и исчезла, но лишь через четверть часа вернулась с водой. Она налила воду в котел, поставила его на очаг, подбросила в огонь охапку приятно пахнущей хвои.

— Я с подружками рубила на сопке дрова, прилетели четыре американских самолета, выстрелили несколько раз. Одну девочку убило, а двух мальчиков ранило. Мальчики такие храбрые, что даже не заплакали, не то, что мы, девчонки, — всегда боимся, когда бомбят... а сейчас опять бомбят каждую ночь: обстреливают дороги и сопки.

Вода в котле быстро закипела, и девочка — ее звали Хон Сук, что значит «желтый цветок», — бросила в кипяток несколько пригоршней риса. Детишки жадно следили за ароматным паром, вырывающимся из-под крышки котла.

— Пока омони придет, паб (рисовая каша) будет готова. Омони работает на фабрике. Фабрика под землей, туда весь день не заглядывает солнце, все равно как в нашей землянке.

Вскоре пришла омони и принесла с собой паек: соленую скумбрию, жидкую сою и сушеный папоротник. Она была одета, как сейчас одеваются все рабочие Кореи, — в синюю ватную фуфайку и такие же брюки. На ногах ее были резиновые тапочки. Красивое, волевое лицо

женщины, как у солдата, побывавшего не в одном сражении, было перечеркнуто накрест двумя шрамами.

Хозяйка быстро нашла в потолке дыру, из которой дуло, заткнула ее тряпкой, зажгла крохотный светильник, и как-то сразу с ее приходом стало теплее, даже будто праздничнее в уютном, похожем на склеп жилище.

Вскоре ужин был готов; женщина накормила детей и уложила их спать рядышком, чтобы они согревали друг друга собственным теплом. Она накрыла сразу всех одним одеялом, положив сверху стеганку с орденской ленточкой над верхним карманом. Все, что было в ней милого и теплого, проявилось в этой материнской заботе.

— Ребята — наша надежда, — сказала женщина. — Докладчик на собрании говорил нам, что, несмотря на войну и бомбардировки, в Северной Корее ежегодно рождается людей больше, чем умирает. — Женщина улыбнулась и поправила: — Больше, чем убивают.

Ли Син Ай помолчала немного, освещенная неровным пламенем очага, и я заметил тонкие жилистые руки, тоже иссеченные шрамами, видимо, она закрывала ими прекрасное свое лицо, когда ее пытались зарубить саблей.

Женщина выговаривала слова мягче, чем говорят на Севере, и я спросил ее, откуда она родом.

— Всю жизнь прожила в деревне возле Рисена, по ту сторону тридцать восьмой параллели. Когда пришла Народная армия, наша семья получила несколько тенбо земли¹, отобранной у помещика. Мы не успели ее даже засеять, как каратели-американцы и лисынмановская полиция вернулись в село. Большинство мужчин отступило с войсками Ким Ир Сена, а те, кто не успел, подались в горы, к партизанам. Два старших сына моих ушли с Народной армией, я осталась одна с малышами-детьми и своей печалью. Американцы жгли партизанские деревни. Они подожгли мой дом, а когда у меня за спиной заплакал ребенок, американский капрал выхватил его из одеяла и бросил в огонь... Что я могла сделать, чем защититься, как отомстить? Я плюнула капралу в глаза, а он стал рубить меня саблей, изрезал лицо и руки. Я потеряла сознание и очнулась, когда все уже было кончено. От красивого нашего села осталась груда дотлевающей золы. Я не знаю, почему они не убили меня, ведь они закопали несколько человек живьем. На этой страшной могиле

¹ Тенбо — 0,992 гектара.

я встретила своего мужа: он сидел на земле и звал меня. Я упала рядом с ним. Он не видел меня, потому что ему выкололи глаза, я успокаивала его, но он не слышал меня, потому что от ударов совсем оглох. Я сидела рядом, а он все тише и тише звал меня: он хотел умереть со мною. К утру он истек кровью и скончался у меня на руках, потому что его всего искололи штыками...

Женщина внезапно умолкла, заправила под платок седые пряди волос, жадно выпила воды.

— В полночь я ушла по горной тропинке на север, туда, где шла стрельба. Утром встретила еще одну женщину из нашего села, у которой вырезали всю семью, а через неделю нас собралась целая толпа, и у каждой были свое горе и свой гнев. Все спешили на север — туда, куда подались наши взрослые дети. Но сколько мы ни шли, повсюду были американцы, они оставляли за собой пожары и кровь. Как мы ни прятались, нас все же обнаружили американцы, навьючили, как животных, ящиками со снарядами и заставили нести эти тяжести в горы. Тех, кто падал от непосильной ноши, они пристреливали на дороге...

В городе мы встретили солдат Народной армии, они преследовали противника. Это был самый радостный день в моей жизни. На другой день в разрушенный городок приехали инженеры, они откопали спрятанные среди сопок станки и принялись восстанавливать разрушенную фабрику. Это была очень тяжелая работа. Нас попросили помочь расчистить обломки, и с тех пор я осталась на фабрике. В рабочем коллективе я многое узнала, начала учиться и теперь даже сама читаю газеты.

— Тяжело вам upravляться с такой семьей? — спросил я.

— Почему тяжело? — удивилась она. — У корейцев всегда большие семьи. Недавно правительство наградило высшим орденом республики крестьянку Юн Ок Хи из провинции Северный Хамген. Старушка послала на фронт восемь сыновей и сейчас воспитывает восемнадцать внуков... Моя дочка Хон Сук, когда возвращается из школы, помогает мне: стирает белье, готовит обед. Ну а младшие дети — как и везде дети: я ухожу, и они целыми днями играют в войну.

Над головой раздался неприятный тягучий звук — летели самолеты-ночники. Прогрохотало несколько глухих

взрывов. Дети под одеялом зашевелились. Стены, сооруженные из кирпича, ржавого железа и расщепленных досок, угрожающе дрогнули, в крохотном оконце забила сухая оторванная бумага, заменяющая стекло.

— Бомбят? — спросила женщина, поворачиваясь в темный угол.

— Нет, омони, — раздался тоненький голосок. — Самолеты сейчас только фотографируют землянки, а бомбить они будут завтра ночью. — Из-под одеяла глядел на нас раненый мальчик, тот самый, который стоял на зимней дороге в одной рубахонке и звал мать.

— Тяжелое время: дети не спят по ночам, все прислушиваются, и уже все знают о налетах «летающих крепостей» — когда и как бомбят. Это понятно: из шести моих ребят трое были ранены.

Ли Син Ай ни разу не пожаловалась на трудности, а в ее хижине, наверное, часто не хватает самого необходимого.

Я собрался уходить. Женщина спросила, который час. Было без четверти одиннадцать.

— Пойду с вами, послушаю радио, может быть, услышу о своих сыновьях. Месяц назад соседка вот тоже так по радио узнала, что ее первенцу правительство присвоило звание Героя. А герои, какие они ни храбрые, — все-таки наши дети, и нам приходилось стирать их пеленки...

Она накинула на плечи стеганку, мы выбрались из землянки и побрели среди ям и развалин.

На перекрестке разрушенных улиц, на сращенном из двух кусков столбе, стоял раструб громкоговорителя. Передавали последние известия. Внизу, поеживаясь от лютого холода, слушала новости небольшая группа людей.

Через несколько минут прилетели самолеты и в километре от толпы сбросили бомбы, осветив руины багровым светом.

— Побегу домой, — сказала женщина, — малыши одни, боятся бомбежки.

Я представил себе, как она вернется в землянку, ляжет с детьми на ледяном полу, согревая их собственным телом, и они сразу успокоятся, ибо для детей в матери сосредоточены вся сила, вся мудрость и вся любовь.

...Через два дня я посетил фабрику, на которой работает Ли Син Ай, эта простая корейская женщина. Сотни работниц в холоде и полутьме стояли у станков. Они ра-

ботали молча, и у каждой, наверное, ныла своя рана в душе. В Северной Корее нет такой семьи, где бы кто-нибудь не был убит американцами.

От председателя профкома мы узнали, что Ли Син Ай — передовая работница, гордость коллектива, что она ежедневно перевыполняет нормы. И хотя ходить ей очень далеко, она ни разу не опоздала на работу, не совершила прогула и, когда надо, первая остается на сверхурочные задания.

Заговорили о детях. И тут только я узнал, что все шестеро ребят, называющих Ли Син Ай матерью, — чужие ей, потерявшие родителей и взятые ею на воспитание.

— Пятеро собственных ее ребят погибли от рук американских убийц, а ведь каждого она вскормила грудью, вырастила! Ей ли, матери-мученице, забыть своих детей! — сказала одна из работниц, гневно сжимая кулаки.

Мне вспомнился бессмертный образ горьковской Ниловны, вспомнились матери Олега Кошевого и Зои Космодемьянской, воспитавшие детей-героев. Как похожа энергичная Ли Син Ай на этих замечательных русских матерей! Миллионы женщин в Корее давно перестали умыться слезами. Они стойчески, наравне с мужчинами переживают ужасы войны, воспитывают детей в непримиримой ненависти к чужеземным захватчикам. А то, что всасывается с молоком матери, остается в человеке на всю жизнь.

1953 г.

Страница истории

Итак, перемирие в Корее подписано. Воюющие стороны прекратили огонь. Крупнейший в мире военный корабль — линкор «Миссури» — перестал упражняться в стрельбе из пушек главного калибра по глинобитным землянкам, наполненным женщинами и детьми. Вот уже несколько суток многочисленные эскадры «летающих крепостей» не появляются над своей любимой мишенью — мирными кварталами Пхеньяна.

Необычайная тишина стоит над Кореей. Она столь прозрачна, что кажется, слышно, как шевелит колосья тихий ветерок.

На этот раз тишина установилась надолго. Правда, еще будут рваться бомбы замедленного действия, в изобилии сброшенные за несколько часов до того, как генерал Кларк расписался под соглашением о перемирии. Но на головы

мирных людей уже не льются огненные потоки напалма, и крестьянин может спокойно работать на рисовом поле.

Американские генералы не могли не подписать перемирия. Они поняли: победы им не добиться. Их армия, воюющая в Корее, дважды полностью сменила свой состав.

Свыше двенадцати тысяч самолетов бросил Пентагон на маленькую страну. Эта армада разрушила десятки городов и тысячи сел Северной Кореи, заводы, гидростанции и водохранилища, но не смогла изменить свою линию фронта.

В прошлом году только на Пхеньян было сброшено пятьдесят две тысячи бомб. Но каждая бомба вызывала не только горе, но и справедливый гнев, порождающий мужество и героизм.

Что могли противопоставить этой великой силе нищие духом интервенты?

Взятая ими напрокат доктрина завоевания мира посредством авиации потерпела позорный крах в Корее. Я знаю пехотинцев Народной армии, у которых на боевом счету записано по дюжине сбитых самолетов.

Во всех уголках этой живописной, полной очарования страны, от Японских островов до реки Ялуцзян, можно видеть разбросанное по земле металлическое оперение сбитых «летающих крепостей», «мустангов», «сейбров» и «сандерджетов».

Займствованная американской военщиной у гитлеровского генерала Гудериана идея танковой «молниеносной войны» также потерпела в Корее провал. На многих дорогах бесславно ржавеют в кюветах танки: «генералы Гранты», «шерманы», «першинги» и тяжеловесные «центурионы».

Как-то в сельской кузнице мне повстречался весельчак старик, ловко отковавший из куска такого бронированного чудовища великолепный плуг. Работа кузнеца как бы олицетворяла первые шаги корейского народа к возвращающейся мирной жизни.

В начале войны, в августе 1950 года, я писал о танкисте Народной армии, в единоборстве подбившем восемь вражеских танков. Недавно я встретил его в майорских погонах. Танкист, хоть и исцарапан изрядно, продолжает служить в армии; цел и его танк — великолепная машина, тоже вся в ссадинах и вмятинах. Танкист и танк словно отлиты из стали, выплавленной одним мартеном.

Народ проявлял чудеса героизма в тылу и на фронте. Девушка Хван Чун Бан, нежная, как цветок, под бомбежкой водила поезда, груженные снарядами. Подразделение студенток под командованием Ли Мен Сук сбило восемь американских самолетов. Женщина Ким Нак Хи собрала самый высокий урожай риса в стране. Партия и правительство одинаково отмечали наградами героев тыла и фронта, ибо вся страна, превращенная в единый боевой лагерь, работала на победу.

Нетрудно понять американских генералов, жаловавшихся своему президенту, что невозможно воевать против людей, которых ничем не сломить. Этим генералам невдомек, что таких героев рождают только справедливые войны.

Что могут поставить себе в заслугу полчища интервентов, вторгшихся в Корею? Пепел Вонсана, развалины Хамхына, кладбище, в которое был ими обращен город Нампхо? Их дивизии погибали бесславной смертью, так и не породив ни одного героя.

Что движет их поступками в бою? Известно, что американские летчики, расстрелявшие 1 Мая детей, гулявших на горе Моранбон, были награждены медалями. Как-то мне показали обрывок письма американского летчика лейтенанта Чарльза Хилла, подобранный у разбившейся «летающей крепости». С потрясающим цинизмом Хилл писал своей невесте, что завидует славе полковника Роберта Льюиса, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму; что он хотел бы быть пилотом, который швырнет в человечество первую водородную бомбу, как только ее изобретут. Вот какие мечты созревают в червивых душах тех американских офицеров, которые свои военные поражения вымещали на мирном населении Кореи.

Негоже в первый день мира писать мартиролог — перечень страданий и смерти. Но я много ездил по Корее и собственными глазами видел в сеульской тюрьме «Сидемун» камеры пыток, оборудованные по последнему слову американской техники, где узников ослепляли электричеством. Я был в лагере уничтожения на Унчжинском полуострове, где тюремщики, по праздникам вывешивавшие голубой флаг ООН, умерщвляли детей жаждой и голодом. Я видел на освобожденной от интервентов территории железнодорожные туннели, доверху набитые трупами расстрелянных интервентами и лисынмановцами женщин и детей. На моих глазах летучие косяки «летающих крепо-

стей» превратили цветущий город Хамхын в груды дымящихся развалин. Мы узнали в Корее, что такое «ковровые бомбежки», мы слышали, как рвутся бомбы замедленного действия, под покровом ночной темноты, набросанные между жилыми землянками. Мы видели в действии напад — что перед ним адская кипящая смола, описанная бессмертным Данте!

Мы напоминаем обо всем этом, чтобы было понятно, какой кровавый кошмар три года давил маленькую Корею, чтобы стало ясно, с каким волнением и с какой надеждой прислушивался корейский народ к каждому слову, произносимому на земном шаре в его защиту. Он признателен стотысячному митингу рабочих Бомбея, требовавших прекращения огня в Корее, благодарен рабочим Сталинграда, признателен крестьянам Франции и честным американцам, под страхом жесточайших репрессий разоблачавших тех, кто начал войну против корейского народа. Затянувшаяся агрессия превратилась в столь бессмысленное, в столь позорное преступление, что даже многие выдавшие виды буржуазные политики и те требовали прекращения войны.

Военное командование США пыталось компенсировать отсутствие воинского духа у своей армии обилием военной техники. Сюда были брошены новейшие виды оружия, от усовершенствованных противотанковых ружей «базук» до мелких противопехотных бомб, рвущихся на тысячи осколков. Накануне подписания перемирия американцы использовали на восточном фронте орудия калибра 240 миллиметров.

Но корейский народ приспособился к войне, которая была для него войной за жизнь и свободу. Он очень быстро находил меры борьбы против любого оружия, с необыкновенной быстротой ликвидировал последствия самых сильных бомбардировок. За месяц до прекращения огня «летающие крепости» разрушили почти все водохранилища Северной Кореи, и мутные потоки хлынувшей на поля воды наделали много бед. В Сунанской долине вода смыла несколько километров железнодорожной насыпи, унесла шпалы, спутала, как пучок веревок, рельсы, уничтожила несколько мостов. Казалось, понадобится месяц на восстановительные работы, но первый поезд пересек долину через восемнадцать часов после катастрофы.

Американский воздушный флот не смог парализовать работу железных дорог и транспорта, работу электростан-

ций, водопровода, телеграфа, телефона и почты. На протяжении всей войны поезда ходили от границ Кореи до фронта. Из Пхеньяна можно было поговорить по телефону с любой столицей Европы.

Пентагон испробовал в Корее все рода своих войск и проверил все новейшие способы ведения войны. И все эти испытания завершились провалом для испытателей.

Я помню, как в октябре 1950 года, во время эвакуации правительства Корейской Народно-Демократической Республики из Пхеньяна, Макартур бросил в район между Сукчхонем и Сунчоном, в тыл отходящим войскам Народной армии, 187-й парашютно-десантный полк, равный по численности обычной пехотной дивизии. Этот полк вместе с доставленными по воздуху танками и пушками был уничтожен в течение суток.

Пентагон послал в Корею лучших генералов, какие только у него были. Дуглас Макартур, Риджуэй, Ван Флит, Уолтон Уокер, Уильям Кин, Лоуренс Кейзер, Марк Кларк, Максвелл Тэйлор — все это не новички в военном деле: их величают в США «столпами военной мысли». И что же? Одни из них, как Макартур, покрыли себя в корейской войне несмываемым позором, другие, как Уокер, нашли в Корее бесславную смерть...

И вот бои отгремели. В Корее лето. Отцветают искалеченные деревья, свежая зелень затягивает рваные раны земли. 27 июля, впервые за три долгих года, женщины Пхеньяна не уходили ночевать в бомбоубежища и спали спокойно в своих наспех слепленных хижинах — чибби. И хотя американские летчики еще накануне перемирия бомбили Сунхунскую гидроэлектростанцию, улицы Пхеньяна ночью были освещены и с крохотных окон землянок было снято затемнение.

Крестьяне безбоязненно работают на полях, и только вывернутая бомбами красноватая, словно пропитанная кровью, земля напоминает о недавнем урагане, бушевавшем над страной.

Последний день войны явился первым днем восстановления. Кое-что делалось уже во время войны. Высажено несколько миллионов саженцев декоративных и плодовых деревьев. Уже готов план восстановления и реконструкции Пхеньяна. На улицах города можно встретить нивелировщиков и геодезистов с теодолитами; они занимаются своим мирным делом. Тщательно отбираются целые кирпичи и черепица, которые можно будет употребить на

строительство. Сравнены с землей сотни тысяч уродливых воронок.

Мы уже видели солдат, заменивших отполированные в руках автоматы на чуть тронутые ржавчиной молотки. Начато восстановление плотин водохранилищ, дамб, ирригационных сооружений. Полузабытым за эти три года запахом цемента и пиленого дерева сменяется запах гари и копоти, сопутствующий войне...

1953 г.

Поездка в Сирию

Сирия расположена не так далеко от Советского Союза — ее отделяют от нашей страны Черное море да Турция. Но прямой связи нет, и путь из Москвы в Дамаск пролегает через Западную Европу.

В Сирию из Москвы ближе всего лететь через Рим или в крайнем случае через Париж, но итальянцы и французы не могли быстро выдать визы, и я отправился через Стокгольм. В Швеции действует авиалиния Стокгольм — Тегеран, проходящая через Дамаск.

Самолет шел на Хельсинки. Глядя вниз, я узнавал знакомые места Карельского перешейка. Проплыло озеро Красавица, показались Пенаты, где жил, работал и умер великий художник Репин. Почудилось даже, что я увидел знакомую могилу, засеянную красными цветами, — среди зелени и построек мелькнуло яркое пятно и исчезло.

Вскоре показалась Финляндия с ее лоскутными полями, уставленными аккуратными рядами крохотных золоченых скирд. Пассажиры напряженно всматривались в суровое лицо этой страны, покрытое каплями озер.

В финской столице я покинул советский самолет и пересел в шведский.

Дождь лил как из ведра, видимость становилась все хуже, я боялся, что полет отложат. Но в точно назначенное время самолет побежал по асфальту, тяжело оторвался от земли, под нами замелькали невысокие дома финской столицы, густо и косо заштрихованные дождем. Показалось море, но самолет подымался все выше и выше, уходя за хмурые тучи, занавесившие землю.

Через час сорок минут я увидел шхеры и знакомые очертания Стокгольма. Стюардесса в синем костюме принесла анкеты. Их следовало заполнить для шведской полиции.

В Стокгольме надо было пересесть на самолет, идущий до Копенгагена, но мы несколько опоздали. Самолет улетел, а следующего надо было ожидать восемнадцать часов. В паспорте у меня не было шведской визы, и мне предстояло провести ночь в зале аэропорта для транзитных пассажиров. Однако шведские полицейские помогли избавиться от этой скучной перспективы: оставили мой паспорт у себя в залог, выдав мне взамен временное удостоверение на право остановки в Стокгольме и пометив время отправки самолета, после чего истекал срок действия кратковременного документа.

Я поехал в город и снял номер в гостинице «Эден». В соседнем кино, куда я заглянул, крутили цветной голливудский фильм, сделанный по укоролившемуся стандарту. События разворачивались на островах Тихого океана. На экране было много стрельбы, герои сокрушали чьи-то челюсти, брыкались ногами, таскали друг друга за волосы.

Я не досидел до конца и, купив ворох газет, отправился в гостиницу. Я был в Стокгольме в июле; тогда цвели липы, светила полная луна, придавая городу сказочное очарование.

Я подошел к окну холла и увидел на улице огромные остановившиеся часы. Турист, оказавшийся рядом, проследив за моим взглядом, заметил:

— Швеция похожа на страну, где остановилось время. Это, конечно, не так!

В середине июля прошлого года Стокгольм посетил с визитом вежливости отряд советских военных кораблей. Несколько тысяч шведов побывали на крейсере и миноносцах. «В жизни Стокгольма посещение советских кораблей останется надолго как самое светлое воспоминание» — таков был лейтмотив большинства записей, оставленных в корабельных книгах для посетителей.

Советские моряки видели на аллеях Кунгстрэдгордена — королевского сада — старичков с газетами и цветными карандашами в руках, с волнением следивших за дипломатической битвой, развернувшейся в Женеве вокруг индо-китайского вопроса. В день принятия решения о прекращении огня в Индокитае у газетных киосков образовались длинные очереди.

В парке Скансен — этом своеобразном этнографическом музее под открытым небом, где показана шведская деревня с ее постройками, обычаями, бытом, — гуляла

группа советских моряков. Моряки присели на скамейку у деревянного колодца. Вокруг них собралась толпа.

— Что интересного произошло в Швеции за последнее время?— спросил советский матрос.

— В марте 1950 года в Стокгольме сессия Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира приняла историческое воззвание о безусловном запрещении атомного оружия, об объявлении военным преступником того правительства, которое первым применит это оружие... Это — самое знаменательное событие, свершившееся в нашей стране за последние сто лет,— с гордостью ответил пожилой врач.

— Здесь, в Скансене, в июле я слушал заключительный концерт советских артистов, гостивших в Швеции. Мне не приходилось видеть более прекрасного зрелища,— сказал молодой человек, по-видимому студент.

— Мы не слышали более спевшегося народного хора, чем хор имени Пятницкого,— заметил шведский артиллерист.

Эти ответы характерны для шведов, проявляющих все больший и больший интерес к советскому народу, к нашему искусству и культуре.

Преподаватель Стокгольмского университета, увидев в корабельной библиотеке на крейсере «Адмирал Ушаков» книгу «Сага о Фритьофе» шведского писателя Тегнера, переведенную на русский язык, посетовал, что в Королевской библиотеке мало произведений советских писателей.

Сто сорок лет шведы сохраняют нейтралитет. Но они представляют себе, что такое война. Преподаватель университета рассказал нам, с каким беспокойством следили шведы за кровавой драмой в Корее, а заключение перемирия в Паньмыньчжоне приветствовали как величайшую победу сил мира.

В Стокгольме много туристов со всех концов света. Особенно много американцев, прижающих без въездных виз. Их легко узнать по лейкам и военным биноклям, которые они таскают с собой повсюду.

Мы побывали в крупнейших магазинах Стокгольма, на острове Стаден. На прилавках лежат американские зажигалки, вытесняющие шведские спички, паркеровские ручки, американские консервы, нейлоновые чулки и сорочки и даже бритвенные лезвия, отштампованные в Детройте.

На многих магазинах висят красноречивые объявления: «Дешевая распродажа по случаю банкротства».

Бесспорно, что в невоевавшей Швеции народ живет лучше, чем в других странах Западной Европы, но и здесь есть свои теневые стороны. Мы разговаривали с рабочим-судостроителем из Гетеборга, прибывшим в воскресенье на собственной потрепанной автомашине в Стокгольм.

Жена его прихварывает, и рабочий жаловался, что в Швеции приходится дорого платить за вызов врача. Две дочери его работают на верфи, принадлежащей компании «Эриксберг», и за одинаковую работу получают почти вдвое меньшую, чем мужчины, плату. Квартиры в Швеции дороги, и треть заработка семьи уходит на оплату жилья.

Судостроитель рассказал нам о «диких» забастовках, возникающих стихийно, без разрешения руководителей профсоюзов, то на железных рудниках Кируна, то на сталелитейных заводах Берслагена, где очень тяжелые условия труда...

В полдень я вылетел в Копенгаген. Там предстояло пробыть три часа. Хотелось осмотреть университет, основанный в 1479 году, но выехать в город не разрешили: у меня не было датской визы. В книжном киоске я увидел несколько номеров вездесущего «Лайфа», французские журналы мод, целый набор американских комиксов в пестрых обложках с ужасающими рисунками и ни одной книги Мартина Андерсена Нексе — знаменитого датского писателя.

Продавец, к которому я обратился, сказал, что вчера газета «Ланг ог фюльк» устроила вечер памяти Мартина Андерсена Нексе. Доклад сделал главный редактор газеты Берге Хоумани. Были показаны два кинофильма о последних годах жизни писателя и его похоронах в Копенгагене.

Узнав, что я русский, ко мне подсел голландский купец и показал альбом с фотографиями, снятыми на международной ярмарке в Дамаске, куда я держал путь. Купец побывал уже на ярмарке и искренне восхищался богатством и красотой советского павильона.

Вскоре подали самолет, и мы покинули Копенгаген. Два часа полета, и самолет приземлился на мокром аэродроме. Сквозь потоки дождя светилась неоновая надпись «Франкфурт-на-Майне».

В центре зала аэропорта я увидел площадку, покрытую матрацами и обнесенную деревянной оградкой, за которой играли малые дети. Ребят было много, забавлялись они игрушечными саблями и пистолетами, некоторые ползали

по полу, запуская заводные танки и самолеты. Несколько мальчишек носилось по залу, опрокидывая стулья и стреляя из пугачей: они играли в войну.

Пассажиры с облегчением вздохнули, когда их пригласили в самолет.

Следующие посадки были в Женеве, затем на римском аэродроме Чампино. Здесь появились новые пассажиры. Среди них выделялся высокий американский бизнесмен в больших темных очках, закрывающих половину лица. По какой-то странной случайности с появлением этого человека запахло нефтью. Сойдя с автомобиля, он заходил по террасе, где сидели пассажиры, взад-вперед крупными шагами, присущими волевым людям. Вскоре приехал толстый священник, видимо знавший американца. Они поздоровались и принялись ходить вместе, громко беседуя, не обращая внимания на окружающих, словно, кроме их двоих, никого и не было на аэродроме.

— Будущая война по-прежнему остается войной моторов, и нефть будет цениться дороже крови, — сказал американец.

— Англичане... — произнес священник, но американец перебил его:

— В наше время силы вражеских сторон измеряются величиной капиталов... После войны удельный вес Соединенных Штатов в добыче нефти за пределами страны увеличился в полтора раза, тогда как доля англичан за это время упала больше, чем втрое.

— Не стану брать под сомнение вашу память и оспаривать ваши внушительные цифры, — ответил священник, — но известно, что два года назад самый большой оборот имела английская компания «Ройял Датч-Шелл». Помнится, она продала за год на четыре с половиной миллиарда долларов, тогда как «Стандарт ойл», самая удачливая из всех американских компаний, — на четыре миллиарда... Англичане — весьма сильные ваши соперники...

Нас пригласили в самолет.

Предстоял шестичасовой полет без посадки над Средиземным морем. Пассажирам раздали легкие одеяла. Верхний свет выключили, но я не мог уснуть, раздумывая над богатыми впечатлениями одного дня, когда хоть и мельком, но все же увидел несколько стран капиталистической Европы.

Высокий бизнесмен и священник сидели впереди меня. Священник несколько раз зевнул, откинул до предела спин-

ку кресла и захрапел. Американец позвонил, пришла стюардесса, он попросил дать ему последний номер журнала «Нэйшнл петролеум ньюс». Девушка принесла журнал, и американец при свете крохотной лампочки у кресла просидел над ним всю ночь, делая пометки и занося в записную книжку колонки цифр. Он не развлекался, а работал.

Самолет приближался к стране, лежащей на стыке трех материков: Европы, Азии и Африки. Что знал я о Сирии? Память подсказывала то певучие стихи корана в переводах Бунина, то песни, посвященные невольнице Джанине, сочиненные арабским Гейне — Абу-Нувасом, чьи любовные похождения запечатлены в новеллах «Тысячи и одной ночи». Арабы всегда славились поэтами и учеными, и я не мог не вспомнить имя астронома и математика Аль-Батани, который первым ввел в употребление тригонометрические функции.

Внизу простиралось необычайной голубизны Средиземное море, по которому гуляют корабли шестого американского флота. Неожиданно возник гористый остров Кипр. С высоты семи тысяч футов виднелись защищенная скалами внешняя гавань Фамагусты и дымящие на рейде английские крейсера и миноносцы.

Кипр — английская твердыня на Средиземном море, но ее значение уменьшилось с созданием американской базы в Искендеруне. На расстоянии часа полета от Кипра находится важнейшее звено мировых морских коммуникаций — Суэцкий канал.

Вскоре возник песчаный берег, окаймленный зеленым кружевом масличных и банановых рощ. Среди гор показались и исчез с кинематографической быстротой Бейрут — столица Ливана.

Правее самолета, как айсберги на волнах, засверкали на холмах огромные резервуары для нефти, окрашенные в серебристый цвет. Городок Сайда, древний Сидон, — конечный пункт нефтепровода американской компании «Пайп-лайн», берущего свое начало в Саудовской Аравии, в городе Дахране, на побережье Персидского залива, за тысячу шестьсот километров от Средиземного моря, и пересекающего Иорданию, Сирию и Ливан.

Нефтепровод, хотя и зарытый, все же угадывается с воздуха: видна взбухшая темная жила, по которой из арабских стран вытекает кровь земли.

Впервые за всю дорогу бизнесмен оживился, сбросил

темные очки, жадно припал к окну, сказал проснувшемуся священнику:

— Наш капитал... наш нефтепровод... наша земля...

Бизнесмена прервал молодой, высокий, красивый араб:

— Ошибаетесь, мистер, земля эта наша, и нефть тоже будет наша: к тому идет...

Исчезли Ливанские горы, и вот под крылом самолета лежит выжженная солнцем земля Сирии — огромное поле битвы за нефть между американскими и английскими монополиями. Желтые кубики сел и, наконец, быстро вырастающее зеленое пятно знаменитой дамасской Гуты — величайшего оазиса с его персиковыми, гранатовыми и миндальными садами, создававшегося тысячелетиями трудом людей.

Это уже был Ближний Восток — колыбель трех вселенских религий, страна, куда поочередно вторгались хетты, арамейцы, ассирийцы, египтяне, персы, римляне, крестоносцы, турки и, наконец, французы; провинция, завоеванная Александром Македонским, а значительно позже — Сулейманом Великолепным; земля, на которой возникали империи и исчезали навсегда, подобно редкой здесь влаге.

— Вот он, наш Дамаск! — хором воскликнули арабы.

Припав к окнам, мы увидели внизу опоясанный зелеными садами большой желтый город, всеми своими минаретами устремленный в безоблачное небо.

Самолет опустился на залитый солнцем аэродром, и сразу почувствовалось, что Дамаск — один из самых оживленных перекрестков международных путей.

Аэродромные власти встретили меня приветливо, как желанного гостя. Кто-то из арабов напомнил древнее изречение: «Когда бог хочет оказать кому-нибудь милость, то посылает его в Дамаск». Таможенные чиновники, придирчиво осматривавшие разукрашенный множеством разноязычных ярлыков сундук бизнесмена, возвратили мне мой саквояж, не заглянув в него.

Начальник паспортного контроля любезно позвонил в советскую миссию, и через полчаса на аэродром прибыла наша «Победа».

Я вытер вспотевший лоб.

— Жара в сорок градусов — обычное здесь явление, — сказал шофер.

В глаза бросилась ярко освещенная солнцем стена. Старинное предание рассказывает, что первой стеной, к которой пристал Ноев ковчег после всемирного потопа, была

стена Дамаска, у которой впоследствии неоднократно решалась судьба ислама. Сейчас в стране проходила кампания выборов в парламент, и стена снизу доверху была заклеена портретами кандидатов. Среди двух десятков портретов выделялось умное лицо человека с высоким лбом, живыми, пронизательными глазами и черными усами над белозубым ртом.

— Кто это?

— Генеральный секретарь компартии Сирии Халед Багдаш... Диктатор Шишекли, ныне изгнанный из страны, запретил компартию; новое правительство не отменило этот закон, но избиратели Дамаска выдвинули Халеда Багдаша своим кандидатом в парламент.

Дамаск — один из древнейших городов мира. Первые сведения о нем относятся к XVI веку до нашей эры, когда им владели египетские фараоны. Чем же особенно отличается Дамаск?

Пожалуй, своим вольнолюбивым духом. Арабы — смелые и гордые люди, они не терпят мистеров, набивающихся к ним в хозяева.

Продавцы газет кричали во всю глотку. С многочисленных минаретов через громкоговорители звучали призывы священнослужителей; крестьяне, ведя на поводу верблюдов как ишаков, навьюченных корзинами с овощами, расхваливали свой товар, и голоса их гремели громче иерихонских труб; ревели ослы, заглушая sireны автомашин; мчались автобусы, заклеенные плакатами, на которых восхвалялись кандидаты в парламент.

И хотя стройные кипарисы, как и в прошлые века, продолжали соперничать своей высотой с узорными минаретами, Дамаск не похож на город, знакомый по арабским сказкам из «Тысячи и одной ночи». Нежный аромат садов разбавляла терпкая горечь бензина, разноцветные автомобили сновали по тенистым улицам; вдоль набережной реки Барады, давшей жизнь городу, развевались национальные флаги участников международной выставки — Советского Союза, стран народной демократии, стран Ближнего Востока, Индии...

В книжных магазинах продавались книги русских писателей, переведенные на арабский язык. Находившиеся четыре века под игом Османской империи, униженные и оскорбленные, арабы десятилетиями искали утешения в

произведениях Федора Достоевского. Сейчас, по мнению арабского поэта Шауки Багдади, с которым мне пришлось разговаривать, самая популярная книга в стране «Мать» Горького. Ее можно найти во многих домах. Багдади добавил, что в обширной университетской библиотеке наибольшим успехом пользуются «Как закалялась сталь» Островского и «Молодая гвардия» Фадеева. Эти книги всегда на руках.

В Дамаске проходила неделя советских фильмов. В самом крупном кинотеатре города показывали «Мастеров русского балета». Когда на экране появилась Галина Уланова, зрители встали и зааплодировали.

Газеты писали: «Талантливо поставленные «Раймонда», «Лебединое озеро» и «Бахчисарайский фонтан» дали возможность арабам насладиться лучшим балетом мира».

В Сирии нет театров, и в духовной жизни сирийцев кино играет первостепенную роль. Голливуд засылает на Ближний Восток тонны коммерческих кинобоевиков, но американские фильмы здесь явно надоели. Они не пользуются успехом у арабов и демонстрируются при полупустых залах.

Зато на реалистические итальянские фильмы, созданные прогрессивными режиссерами, невозможно достать билеты. С большим успехом прошли в Дамаске цветной французский фильм «Лукреция Борджиа» и английский «Юная Бесс».

Видел я также несколько арабских кинокартин, полных восточного юмора, благородства и человечности. Арабское кино, отрешившись от голливудских штампов, начинает затрагивать жгучие проблемы современности и показывать жизнь без прикрас, такой, как она есть.

На второй день после приезда в Дамаск я отправился на Сук — один из крупнейших базаров мира. Это вереница магазинов, скрытых под металлической кровлей, защищающей от жгучего солнца и непогоды. Сук — не только рынок, он также и своеобразный многолюдный клуб, где сходятся жители столицы, чтобы обсудить политические новости.

Чего только не было в обувном ряду Сука: сапоги, туфли, сандалии — на коже, каучуке, на деревянных подошвах! Подмастерья тут же, в лавках, шили башмаки, хозяева связками бросали их на прилавки. Но этот товар привлекает мало покупателей, хотя когда-то слава о дамасском сафьяне проникала во все части света.

За обувными лавками расположились ряды, где продаются узорные ткани, сотканые ремесленниками. Еще недавно эти изумительные материи были в большом ходу на Востоке, за ними приезжали купцы из Европы. Сейчас кустарная промышленность Сирии не в силах выдержать конкуренции с фабричными товарами капиталистических стран.

Даже продавцы Сука одеты в платье, сшитое из более дешевых материй, привезенных из Европы, и на ногах у них ботинки, купленные в центре Дамаска, в магазине обувного экс-короля Бати.

На пороге одной лавчонки висела сабля, согнутая в кольцо. Торговец, взглянув на саблю, напомнил, что не так давно были убиты премьер Ирана, премьер Ливана, король Иордании, что все эти злодейские убийства совершены в целях насильственного изменения режима в этих странах. Дамасская сталь, добавил он, употребляется на изготовление кинжалов и ножей, названные же государственные деятели были убиты не ножами, а пулями, отлитыми на заводах Кольта.

Продавец развязал саблю, и она разогнулась, словно пружина. Я взял в руки саблю, пораженный тонким муарово-волнистым узором, схожим с узором уральского булата.

— Если вы хотите увидеть, как изготавливается сталь в Дамаске, идите за мной, — сказал продавец и пошел, хорошо зная, что мы последуем за ним.

В соседнем квартале в крохотной мастерской кузнец из тонких стальных проволок, содержащих разное количество углерода, сваривал сталь. Из-под молотка летели огненные брызги, а на земляном полу ковром лежала мягкая пыль.

Освященный кровавым пламенем горна, рабочий на наковальне молотком сваривал сталь большой твердости и упругости, способную давать лезвия чрезвычайной остроты. В полутемной мастерской раскаленный металл вспыхивал, будто молния, освещающая энергичное лицо и крепкие мышцы кузнеца.

Кузнец показал кинжал, сделанный его руками. Кинжал напомнил уникальный японский клинок, виденный мною в сеульском музее, он был сделан таким же способом и насчитывал до четырех миллионов стальных нитей микроскопически малой толщины.

В свете яркого пламени горна рабочий, мнявший сталь,

как воск, отбрасывал на стену колоссальную тень. Казалось, что два гиганта куют в мастерской оружие.

— Во время восстания арабов против французов этот рабочий ковал для повстанцев мечи, — силясь перекричать звон молотка, объяснил продавец.

Кузнец сунул раскаленный металл в горн, поднял с земли ведро с водой и стал пить, роняя на голую мускулистую грудь светлые капли.

Напившись, он заговорил с человеком, который привел меня, и, узнав, что я русский, обнял так, что затрещали кости.

Продавец увел нас снова в свою лавочку, где полки доверху были завалены металлической посудой. На переднем плане красовался портрет хозяина со всей семьей на фоне Красной площади. Во второй лавке, куда мы зашли, такой же семейный портрет, в пятой... десятой — тоже. Оказалось, что многие жители города ходили в советский павильон на международной ярмарке и там фотографировались у большого панно, изображающего Кремль, Мавзолей и храм Василия Блаженного.

— Для возрождения нашей отечественной промышленности и торговли нужны крепкие таможенные барьеры... Мы возлагаем много надежд на будущий парламент, — говорил нам торговец кожей, угощая нас виноградом, уничтожающим желтизну зубов. — Арабам пора освободиться от чужеземной опеки. Клянусь аллахом, мы много помним и ничего не забываем, — торговец показал на дом, исцарапанный артиллерийскими осколками.

В знойный август 1926 года, подавляя национально-освободительную борьбу сирийцев, французские колонизаторы трижды обстреливали из крупнокалиберных пушек Дамаск, сожгли два жилых квартала, уничтожили несколько дворцов — памятников арабской культуры и искусства.

Интерес к Советскому Союзу у сирийцев необычайный. Они все хотят знать о нашей стране и каждого советского человека встречают как друга. В Дамаске еще помнят, как обсуждался в феврале 1946 года сирийско-ливанский вопрос в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, где представители Советского Союза решительно выступали за вывод англо-французских войск из стран Леванта. Тогда окончилась «опека» Франции над Сирией и Ливаном, продолжавшаяся более четверти века...

Пройдя весь Сук, вы попадаете в просторный четырехугольный двор мечети Омейядов — самой древней, самой

большой и самой красивой в мире. Это здание, строившееся свыше тысячелетия, было вначале языческим храмом, потом синагогой, затем церковью и, наконец, мечетью. Халифы династии Омейядов приглашали из Афин, Рима и Византии самых искусных и знаменитых мастеров для украшения этой мечети. Три минарета ее, построенные в разное время и разными мастерами, соперничают между собой в красоте.

Деревья в Дамаске припудрены цементной пылью. В городе повсюду видны стройки, одетые в леса. Работы ведутся ручным способом. Блок, бадья и веревка — вот и все «механизмы».

Я разговаривал с рабочими-строителями. Все они разорившиеся крестьяне-феллахи, оставившие на время деревни, чтобы заработать хотя бы немного денег на пропитание семьи.

Строители пригласили меня позавтракать с ними и угостили творогом и сухим коржом — это было все, что они припасли на целый день. Зарабатывает каждый из них по два сирийских фунта (около двух рублей) в день. Работа есть всегда, ибо строительство домов, гостиниц и кинотеатров — самое выгодное предприятие для применения капиталов.

Выборная кампания внесла еще больше оживления и в без того шумную жизнь столицы. Степень освобождения женщин всегда считалась показателем исторического прогресса. На этих выборах впервые в Сирии женщинам предоставили право участия в голосовании. Мы посетили избирательный участок, находившийся в колледже, где голосовали только женщины. Многие из них в этот день впервые сбросили чадру. Пожалуй, это был самый шумный участок в городе. Агитаторы, взобравшись на школьные скамьи, произносили пламенные речи, расхваливая своих кандидатов. У каждой избирательницы было в руках по десятку портретов, и они тасовали их, как карты, выбирая наиболее достойного, который мог бы защищать их интересы. Имя Халеда Багдаша было у многих на устах.

Халед Багдаш — генеральный секретарь компартии Сирии — был избран жителями Дамаска в парламент. За него голосовали даже некоторые члены буржуазных партий, полагая, что его присутствие в парламенте сдержит пыл проимпериалистических элементов. Не случайно позже депутаты парламента избрали Халеда Багдаша членом парламентской комиссии по иностранным делам.

В Сирии сильные политические течения, отличающиеся ненавистью к империализму и его колонизаторским замыслам, наблюдаются среди рядовых членов Социалистической партии арабского возрождения, в левом крыле Народной партии, а также среди многих беспартийных деятелей.

В период предвыборной борьбы был создан национальный союз, куда вошла и коммунистическая партия. Союз охватил избирателей — рабочих и крестьян, интеллигенцию, студентов, промышленников и торговцев — всех патриотов, к какой бы партии или направлению они ни принадлежали.

Союз выступил под лозунгами сопротивления империализму, его агентам, военным и кабальным договорам, а также за проведение демократических, политических и экономических преобразований в стране.

Эти лозунги отвечали подлинным национальным интересам народа, и не случайно, что многие кандидаты буржуазных партий вынуждены были накануне голосования включить в свою программу антиимпериалистические требования.

Попытка бывшего президента Шукри Куатли, прибывшего из-за границы, сколотить в противовес национальному союзу «коалицию» из буржуазных и феодальных партий окончилась неудачей.

Кандидаты буржуазных партий, открыто выступавшие за отказ Сирии от политики нейтралитета и за союз с империалистическими государствами, потерпели поражение в первом туре голосования и в дальнейшем пытались покупать голоса избирателей, чтобы попасть в парламент. За голос избирателя, вначале оплачиваемый пятью сирийскими фунтами, в решающие часы голосования они предлагали сто пятьдесят фунтов: проамериканские кандидаты не жалели денег.

...Мне пришлось присутствовать на открытии парламента.

Здание парламента построено в национальном стиле и отделано внутри роскошно, с ювелирной тщательностью.

Появление в зале заседаний Халеда Багдаша вызвало большое оживление. Многие депутаты подходили к нему и пожимали руки. К нему бросились фоторепортеры и кинооператоры и снимали его до тех пор, пока старейший депутат не открыл заседание.

Первостепенную роль во внутренней жизни Сирии играет армия, хотя военнослужащим запрещено быть членами каких бы то ни было политических партий.

Только за один 1949 год с помощью войск было совершено три государственных переворота. В марте франко-американский агент полковник Хусни аз-Заим разогнал правительство, распустил парламент, объявил вне закона все политические партии, назвал себя фельдмаршалом и президентом страны. Захватив власть, Хусни аз-Заим немедленно подписал сирийско-французское финансовое соглашение, направленное против Англии, а также кабальный договор с американскими монополиями на прокладку нефтепровода через земли Сирии.

Спустя четыре месяца английская контрразведка совершила контрпереворот, во главе которого стоял проанглийский полковник Сами Хинави, объявивший себя главнокомандующим сирийской армией. Хусни аз-Заим и его премьер-министр Мухсин Барази были расстреляны среди песчаных дюн. Сам Хинави, выполняя волю своих хозяев, немедленно расторг договор с американскими нефтяными монополиями.

В декабре начальник генерального штаба полковник Адиб Шишекли устроил третий государственный переворот, бросив в тюрьму своего предшественника. Через год в Дамаске было совершено покушение на Шишекли, а через несколько дней был убит Сами Хинави.

Резиденты капиталистических стран не терпят, когда государственные деятели Ближнего и Среднего Востока договариваются между собой без их разрешения. Попытка бывшего премьера Ливана Рияда ас-Сольха договориться с королем Иордании Абдуллой стоила жизни ливанскому премьеру. Его застрелили в автомобиле по пути во дворец 16 июля 1951 года, а через четыре дня был убит и король Абдулла.

Спустя две недели после этих событий иностранный агент Шишекли, оказавшийся к тому времени не у власти, ввел в Дамаск танковую бригаду и попытался разогнать парламент. Мощные демонстрации трудящихся, вышедших с протестом на улицы, сорвали замыслы диктатора. Но то, что не удалось в июле, было выполнено 1 декабря 1951 года. Шишекли при помощи все тех же танкистов и драбантов — его личной охраны — разогнал парламент, сместил струсившего президента, арестовал нере-

пительное правительство, запретил компартию и заявил, что начиная с 2 декабря сам будет издавать декреты.

В мае 1953 года путешествовавший по Средиземноморью американский миллиардер Дэвид Рокфеллер посетил Шишекли. Здесь уместно напомнить, что в нефтяной промышленности США первенствует группа Рокфеллера — одна из двух крупнейших финансовых групп страны.

Шишекли свирепствовал, расправляясь с патриотами. Вскоре войска алеппского военного округа, возмущенные диктаторским режимом Шишекли, отказались повиноваться ему и вынудили его бежать.

Во дворце Шишекли, возвышающемся в центре Дамаска, до сих пор наглухо опущены зеленые жалюзи. Никто не осмеливается занять пустующий дворец.

Я намеренно описал здесь несколько государственных переворотов, чтобы были понятны причины той ожесточенной борьбы, которая происходит на Ближнем и Среднем Востоке. Первопричина этой борьбы — нефть. Американские и английские монополисты дерутся между собой за нефть, а поле боя — душа сирийца.

За последнее время роль армии стала резко меняться. Народ увидел в ней свою защитницу против посягательства на целостность его родины. В ряды армии стала вливаться демократически настроенная молодежь. В офицерском корпусе раздавались голоса протеста против массовых расстрелов офицеров в Иране.

Но вернемся к нефти.

Газета «Ан-наsr» писала, что нефтепровод, построенный американской компанией «Трансарабиян пайп-лайн» и проходящий через Сирию, приносит выгоды только американцам. «Мы находимся, — с горечью сетовала газета, — на положении верблюда, несущего по пустыне на своем горбу воду, но никогда не имеющего возможности утолить свою жажду».

Уже в 1948 году добыча барреля ближневосточной нефти обходилась в 26,5 цента, а продажная цена составляла 2 доллара 22 цента.

Укрепляя свое господство и вытесняя конкурентов, нефтяные монополии не останавливаются ни перед какими преступлениями. Как следствие борьбы конкурирующих между собой нефтяных монополий на Ближнем Востоке происходят частые смены правительств, междоусобные национальные войны, кровавые государственные перевороты, убийства из-за угла, вызывается искусственный голод.

За каких-нибудь шесть лет на Ближнем и Среднем Востоке было убито тринадцать государственных деятелей. И, как правило, все эти убийства остались нераскрытыми. Недаром разоткровенничавшийся английский журналист Рэй Брок писал:

«Кровь мало стоит там, где много нефти».

Как-то один из членов парламента Сирии пожаловался, что казна получала от «Ирак петролеум компани» за использование сирийской территории под нефтепровод всего... по 78 долларов в год. Это утверждение было немедленно опровергнуто представителем компании, заявившим корреспондентам, что компания «Ирак петролеум» никогда и ничего не платила Сирии.

Если бы сирийцы запретили прокладывать на своей земле нефтепроводы, идущие от Персидского залива к Средиземному морю, то английским и американским капиталистам пришлось бы перевозить нефть на танкерах вокруг Аравийского полуострова на расстояние пять тысяч шестьсот километров, гнать танкеры в один конец порожняком да еще платить высокие таможенные сборы за проход через Суэцкий канал.

Известный американский экономист Джозеф Пог подсчитал, что Трансаравийский нефтепровод снижает расходы по транспортировке нефти на четыре доллара на каждую тонну.

Надо еще указать, что недавно в Восточной Сирии, в области Джезира, обнаружены богатые залежи нефти. Вот почему жадные к наживе бизнесмены так стремятся в Сирию. Но сирийский народ в борьбе с империалистами мужественно отстаивает свою независимость и свободу.

1955 г.

Ярмарка в Дамаске

Событием огромной важности для стран Ближнего и Среднего Востока явилась Международная ярмарка в Дамаске. Она вышла за границы Сирии, вызвав живой интерес у промышленных и торговых кругов близлежащих стран.

В Дамаске переполнены все гостиницы. По улицам мчится поток автомобилей, украшенных национальными флажками многих государств. Сюда съехались коммерсанты, разговаривающие на самых различных языках. Здесь ежедневно заключаются торговые договоры и контракты,

устанавливаются деловые связи. Один арабский поэт написал: «Дамаск на месяц стал новой Меккой. Все дороги ведут в Дамаск».

Международная ярмарка разместилась в самой живописной части Дамаска, вдоль реки Барада, недалеко от знаменитой мечети Текие Сулеймание.

На ярмарке тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года участвовали двадцать восемь стран. Среди них такие капиталистические государства, как США, Франция, Западная Германия. Построили свои павильоны Индия, Пакистан и страны Ближнего и Среднего Востока: Иран, Египет, Ирак, Саудовская Аравия, Ливан, Иордания.

Белоснежный обширный павильон Советского Союза расположен в центре ярмарки. «Величие, монументальность, красота» — таково мнение о советском павильоне ливанского архитектора Антуана Табета, построившего большинство новых домов в Дамаске и Бейруте. Шпиль советского павильона, увенчанный светящейся красной звездой, виден со всех концов города.

Советский павильон не только территориально в центре ярмарки, но в центре внимания публики. «Это та триумфальная арка, через которую проходят все посетители, поражаясь ее величием и облагораживаясь ее духовным влиянием» — так гласит одна из записей в книге отзывов.

Задолго до официального открытия ярмарки советские экспонаты, разгрузившиеся с парохода «Толбухин» в порту Бейрута, привлекли внимание деловых кругов арабских стран. Купцы и промышленники в беседах с директором советского павильона А. А. Никифоровым уже тогда выражали желание завязать торговые связи с Советским Союзом. Промышленники выражали удивление, почему правительство Сирии не подписало торгового соглашения с СССР. По их мнению, такое взаимовыгодное соглашение способствовало бы расширению и укреплению экономического сотрудничества между двумя народами. Они говорили, что Сирия могла бы производить закупки машин в Москве и поставлять Советскому Союзу сельскохозяйственное сырье.

В кабинете директора советского павильона многолюдно и шумно. Здесь заключаются коммерческие сделки. Уже в первые дни открытия ярмарки купцы арабских стран начали переговоры о закупке в Советском Союзе полутора тысяч тонн газетной бумаги. Ознакомившись на ярмарке с качеством советской древесины, представители

ливанской фирмы выехали в Москву покупать лесоматериалы для Сирии и Ливана. Велись переговоры с сирийскими фирмами о закупке пяти тысяч стандартов лесоматериалов. Одна фирма закупила 224 тысячи штук фаянсовой посуды. В день открытия ярмарки были проданы все советские фотоаппараты и радиоприемники, автомашины, бульдозеры, тракторные плуги. За советскими граммофонными пластинками и книгами выстраивались очереди.

Директор советского павильона собрал небольшую библиотечку из книг записей, сделанных посетителями, — живое свидетельство теплого отношения сирийцев к советскому народу. Вот несколько записей.

«Невзирая на лживую пропаганду, усиленно распространяемую западными странами, арабам стало ясно, что советский народ — это величайший народ, который когда-либо знала история человечества».

«Ярмарка в Дамаске провалила дешевую заокеанскую пропаганду. России принадлежит выдающаяся заслуга в деле поддержки борющихся народов и установления мира во всем мире. Да здравствует Советский Союз — защитник слабых народов!»

И вот мы в советском павильоне. Плотный поток пестро одетой толпы увлекает нас к огромному цветному панно, посвященному теме дружбы народов.

Каждая фотография и картина, гербы и знамена советских республик — все привлекает к себе внимание посетителей. Они на какой-то час попали в новый, светлый и чистый мир, так долго и так тщательно от них скрываемый. Газеты крайне мало писали о гигантских преобразованиях в стране социализма, и в Сирии многие продолжали судить о России по романам Достоевского. И вот глазам посетителей представилась частица величественного Советского Союза. Все, что они видят, сделано на советских заводах: и эта вот передвижная электростанция, и токарно-винторезные станки, рассчитанные на большие скорости, и текстильные и полиграфические машины, и автомобиль ЗИС-110.

На открытой площадке у хлопкоуборочной машины я вижу иссушенного зноем феллаха. Всю жизнь он, и отец его, и дед сеяли и убирали руками хлопок. Но вот впервые в жизни он видит разумную машину, облегчающую труд крестьянина. Феллах идет дальше, останавливается у пятикорпусного плуга. Я прошу переводчика узнать, что думает этот сирийский крестьянин. Оказывается, он хочет

сфотографироваться у плуга, чтобы показать его в своей деревне, существующей свыше двадцати веков, но где до сих пор пашут землю деревянной сохой.

Я вижу важного бека, за которым робко семят четыре его жены, одетые, несмотря на жару, в черные длинные платья до пят. Одна из них, почти девочка, останавливается у фотографии молодой русской матери, приподнимает край чадры и украдкой губами прикасается к ножке ребенка.

Сирийцы подолгу простаивают у машин, наблюдая за их работой. Любознательность эта понятна. Они не хотят, чтобы их родина продолжала оставаться рынком сбыта низкосортных промышленных товаров из капиталистических стран. На открытии ярмарки министр национальной экономики Сирии Асад Каурани заявил: «В области промышленности наша экономическая политика направлена на поощрение и развитие национального производства... Мы двигаем вперед дело индустриализации страны, для которой необходимы тяжелые машины».

Сирийские помещики тоже жалуются на иностранные капиталистические фирмы, не желающие поставлять машины и под разными предлогами все более удлиняющие и оттягивающие сроки поставок. Капиталистическая Европа заинтересована в том, чтобы сельское хозяйство Ближнего Востока было, как и на протяжении многих веков, отсталым, его земледельческие орудия — убогими, а феллахи — бесправными и нищими.

Посетители советского павильона стараются ничего не пропустить, все подолгу и внимательно разглядывают. Женщин привлекают ткани, парфюмерия, меха. Врачей интересуют наборы медицинских инструментов и медикаменты. Люди почти всех специальностей находят здесь то, что вызывает их профессиональное восхищение.

У мешков, наполненных различными сортами зерна, выращенного колхозниками, толпятся и зажиточные землевладельцы и феллахи. Они слышали о высокоурожайных семенах, которые выводятся в Советском Союзе, и хотели бы тут же, в павильоне, приобрести их для посева.

Посетители павильона интересуются не только товарами, машинами и станками, они долго и вдумчиво слушают разъяснения о советских законах, о науке, вооружающей рабочих и колхозников в их борьбе за социалистический прогресс.

Всеми своими многочисленными экспонатами, стенда-

ми, диаграммами советский павильон убеждает в могучей силе плановой социалистической экономики.

Газета «Аль-Манар» писала: «Советские товары явились неожиданностью для сирийцев, которые до сих пор ничего не знали о русской промышленности».

Прекрасное впечатление оставил павильон Сирии. В нем без прикрас отображена суровая жизнь вольнолюбивых арабов с их тысячелетней культурой, с их неугасимым стремлением к процветанию своей родины. Бывшая колония султанской Турции, страна, еще недавно находившаяся под гнетом французских и английских войск, Сирия продемонстрировала на ярмарке первые плоды своего несомненного прогресса на путях независимости.

Порадовал всех и богатый павильон Ливана, где показаны были достижения сельского хозяйства страны, являвшейся столь продолжительное время разменной монетой для английских империалистов в их сделках с французскими колонизаторами.

Намного бедней выглядел павильон Саудовской Аравии, но эта бедность словно подчеркивала неприхотливость кочевников, живущих в пустыне под сенью своих черных шатров. В многочисленных и скромных экспонатах как бы нашла свое отображение врожденная ненависть бедуинов к частной собственности и скупке земель. При осмотре павильона Саудовской Аравии невольно приходит в голову мысль, что карта Ближнего Востока скроена империалистами без какого-либо внимания к этническому составу населения, к процессу образования наций, к экономическим связям между соседними областями.

С большим волнением отправился я в узорный павильон Индии. Я исколесил эту страну вдоль и поперек и полюбил столь поэтичный индийский народ. Вспомнилась международная промышленная выставка в Бомбее в 1952 году, на которую правительство Индийской республики пригласило Советский Союз, другие социалистические страны. Эта выставка послужила толчком для расширения деловых связей между Индией и странами, принимающими в ней участие.

Павильон Индии в Дамаске продемонстрировал стремление индийского народа к развитию национальной промышленности.

Арабские купцы интересовались индийским чаем, джутом, канатами, шеллаком, пряностями, произведениями народного творчества — изделиями из слоновой кости.

Странное впечатление производит пестрый, кокетливый павильон фашистской Испании: много золоченых хрустальных люстр, вин, черных игрушечных быков с вонзенными в них стрелами, гитар, топоров, каких-то примитивных машин, смахивающих на гильотины...

В павильоне Пакистана обращают на себя внимание медные кувшины с искусной чеканкой. Ассортимент товаров греческого павильона: портреты короля и королевы, королевский герб, коробки с ваксой, пластмассовые сандалии, лопаты, губки, пуговицы — вот, кажется, и все.

США представлены на ярмарке не товарами, а... синермой. Это огромный, раза в четыре больше обычного, вопутый экран, на который с трех аппаратов пускается один и тот же фильм. На экране получается пространная перспектива, люди и предметы приобретают живую выпуклость.

В павильонах стран народной демократии экспонаты убедительно показывали, как бурно развиваются творческие силы народов, вырвавшихся из-под иноземного капиталистического гнета.

В павильоне Венгрии у самоходного комбайна неизменно стоит толпа землевладельцев, сеющих пшеницу. В болгарском павильоне народ толпится у мощного водяного насоса. В знойной Сирии жизнь возможна только там, где есть вода, и тоска по воде у феллахов так же сильна, как и тоска по земле.

В ярмарочном шуме и сутолоке быстро проходит день. На бархатном небе вспыхивают крупные южные звезды — наступает знаменитая дамасская ночь, столько раз описанная поэтами многих народов.

На банкете, который был устроен директором советского павильона, меня знакомят с премьер-министром Сирии Саидом Газзи. Премьер, уравновешенный и спокойный, одет в серый европейский костюм, на голове его красуется красная феска. Газзи говорит, что к мнению «Правды» прислушиваются премьеры всего мира, и он просит корреспондента этой газеты проехать по стране и написать для советских читателей несколько очерков о жизни арабов.

— В пути вы увидите немало недостатков, но это последствия четырехвекового владычества Османской империи и господства французских оккупантов.

1955 г.

По Ливану

Я отправился в путешествие по Сирии, наметив маршрут, захватывающий и соседнюю горную страну — Ливан. Хотелось увидеть столицу этого государства — Бейрут, географическое звено, соединяющее Запад с Востоком.

В полночь в «Победе» я пересек границу Сирии, пролегающую в ста десяти километрах от Дамаска, и, проехав с километр по нейтральной зоне, увидел национальный ливанский флаг: две красные полосы — сверху и снизу — и белая с зеленым кедром — посередине.

Ливан — страна, широко открытая для туристов. Деньги, которые тратят там туристы, являются крупной статьей доходов в бюджете этой небольшой страны.

Любезные пограничные чиновники после уплаты полагающихся десяти ливанских фунтов наклеили на моем заграничном паспорте марку, проштемпелевали ее печатью и приписали чернилами, что владельцу данного документа разрешается пробыть в Ливане месяц.

«Победа» пересекла высокогорную плодородную долину Бикаа, лежащую между двумя хребтами — Ливанских гор и Антиливана, после чего дорога стала петлять над пропастями. На вершине перевала клубился густой туман, в двух шагах ничего не было видно, и машина медленно кружила на бесчисленных поворотах, где так легко столкнуться со встречным автобусом или грузовиком. Наконец «Победа» выбралась из тумана, и сразу же внизу вспыхнуло электрическое зарево — свет дачных поселков, облепивших горы.

Ночной Бейрут встречает путника цветными огнями рекламы, свежим ветром, лимонным запахом магнолий. Пока машина кружила по извилистым улицам, добираясь до центра города, совсем рассвело. Световая реклама американской нефтяной компании «Сакони вакуум» — крылатый огненный конь прекратил свой бешеный бег на месте.

Бейрут — зеленый город, обрамленный белым морским прибоем. Цветные автомобили самых разнообразных марок плывут сплошным потоком в тени широколистных пальм по узким, запутанным улицам.

Жители Бейрута называют свой город «маленьким Парижем». Здесь повсюду слышится французская речь. В кинотеатрах демонстрируются французские фильмы. Ливанская печать нередко пишет о том, что богатства, на-

копленные в соседних арабских странах, часто растрачиваются в увеселительных кварталах Бейрута. В кабаре можно увидеть приезжих женщин почти всех национальностей, но местных жительниц там не увидишь. Женщины арабских стран, как самое святое, берегут «ирд» — девичью честь и супружескую верность. Потеря «ирда» чревата позором, изгнанием из семьи, даже смертью.

На живописных окраинах Бейрута дымят трикотажные, кожевенные и табачные фабрики, но их тонкие дымки свидетельствуют не о бурном производственном горении.

Через Бейрутский порт проходят грузы не только Сирии и Ливана, но и часть экспортно-импортных товаров Ирака и даже Ирана: транзит выгоден для хозяев порта. В порту можно видеть корабли разного класса и тоннажа, под флагами чуть ли не всех крупнейших государств мира.

Воздух в Бейруте влажный. Влажная жара, мучительная для людей, оказывает благотворное влияние на растения, возмещает отсутствие летних дождей.

Море — единственное спасение от невыносимого зноя, и на золотистом песке пляжа можно встретить много арабских семей среднего достатка. Буржуазия на лето отправляется в горы. Там не так жарко, как в городе, где солнце накаляет каждый кирпич. На побережье много частных пляжей с домиками-кабинами.

Против центрального пляжа красуется в море вулканический остров — излюбленное место пловцов. На один из таких островов года два назад, спутав ночные сигнальные огни, напоролся французский пассажирский пароход «Шампильон». Тогда бушевал шторм, пароход раскололся, нефть из него вылилась в море, и пассажиры, бросившиеся в воду, захлебнулись нефтью. Ходили слухи, что ветхий пароход потопили нарочно, ибо кончался страховой срок; за судно владельцы должны были получить большую сумму страховой премии.

За пляжами, в прибрежных скалах, выдолблены пещеры, там живут бедные люди. Оборванные, голодные семьи ютятся и в рощах на окраинах города, в хибарках, сколоченных из обрывков ржавой жести, кусков дерева, всякого тряпья. Эти люди встречаются на улицах Бейрута. Они сидят на тротуарах, у роскошных магазинов, забытых европейскими товарами, и продают жалкие безделушки. В Ливане законом запрещено нищенство, и человек,

выпрашивающий на кусок хлеба, делает вид, что «торгует».

Это арабы-беженцы, изгнанные из Палестины.

Во время спровоцированной империализмом арабо-израильской войны около одного миллиона палестинских арабов стали бездомными. Спекулируя на страданиях сотен тысяч палестинских беженцев, заокеанские генералы и бизнесмены рассчитывают использовать их на строительстве стратегических автострад и аэродромов. Институт Рокфеллера разработал план прокладки автострады от Персидского залива до Средиземного моря. Эта дорога должна была пересечь Саудовскую Аравию, Кувейт, Ирак, Иорданию, Сирию и Ливан — стержень, на который, как куски шашлыка, они собирались насадить несколько стран.

Экономический совет Лиги арабских стран, ознакомившись с проектом этого военного строительства, в январе 1955 года отверг предложение американцев.

Показывая окрестности Бейрута, ливанцы посоветовали нам прокатиться в Сайду, окруженную апельсиновыми садами. Машина мчалась по шоссе, среди пальмовых и банановых рощ, мимо роскошных загородных вилл, маячивших на зеленых холмах.

По дороге попадались села с каменными домами и лавками под брезентовыми навесами, в которых продавались фрукты, орехи, арбузы, дыни и... неизбежный кока-кола. В Ливане такая масса фруктов, что ливанцы могли бы снабдить натуральными соками всю Европу, но сами пьют американские воды, изготовленные на химическом порошке.

Чтобы напиться, мы зашли в плоскокрыший дом, окруженный шелковицами. Многочисленная семья, сидя на корточках, ужинала. На столе были хлеб да маринованные маслины — основная пища крестьян Ливана. В одном углу хижины стояла прялка, в другом — самодельный ткацкий станок. Семья изготовляла женские шелковые платки. Шелководством занято много жителей Ливана, хотя шелк кустарного производства не выдерживает конкуренции с американскими нейлоновыми тканями.

В Сайде мы увидели конечный пункт нефтепровода, принадлежащего американской компании «Арамко», и нефтеперегонный завод, огражденный высоким забором из колючей проволоки.

— Это государство в государстве, там установлены

свои законы, и с рабочими расправляется собственная полиция компании,— сказал наш спутник.— По подсчетам экономистов, эксплуатация одного рабочего-араба приносит компании девятнадцать тысяч долларов прибыли в год. Рабочий же получает плату, которой едва хватает, чтобы не умереть с голоду...

На рейде пьяно покачивалось несколько пузатых танкеров, опившихся нефтью. На море, радужном от пролитой нефти, не видно было ни одного рыбацкого паруса.

По дороге, спиралью взбирающейся вверх, машина въехала на вершину перевала, и мы увидели множество окрашенных в ледяной цвет резервуаров с нефтью. Казалось, что это огромные льдины, вынесенные сюда половодьем и образовавшие затор, который следует немедленно расчистить, пока не поздно.

Внизу лежал засыпанный землей нефтепровод. По его трубам диаметром 89 сантиметров ежегодно перекачивается свыше 27 миллионов тонн сырой нефти. По обе стороны нефтепровода проходит запретная зона шириною 2 километра, над ней на бреющем полете проносятся патрульные самолеты.

Из Бейрута мы, направляясь обратно в Сирию, поехали по шоссе вдоль моря.

Красочные пейзажи сменяли друг друга. То на синих горах возникал суровый монастырь, окруженный садами, как облаком; то у дороги попадался ветхий домишко, оплетенный виноградом, вьющимся до самой крыши; то навстречу летела стая диковинно пестрых щебечущих птиц. Ничто не напоминало о XX веке, и только цементированные бассейны для добычи соли, куда ветряные двигатели накачивали морскую воду, испарявшуюся под лучами солнца, приобщали этот мир к технике.

Из-за масличных и апельсиновых рощ как-то сразу вырос небольшой, но шумный городок Триполи. На его улицах стоял приторный запах поджаренного овечьего масла, доносившийся из многочисленных харчевен, в тени которых, посасывая трубки кальянов, сидели купцы. Одни обменивались политическими новостями, другие читали газеты.

Горец в монументальном цветном тюрбане, завязанном затейливыми узлами, откинувшись на спинку стула, уткнулся в журнал «Ат-Тарик». Мне объяснили, что жур-

нал основан в 1941 году антифашистской лигой. В нем сотрудничают прогрессивные деятели страны: художник Радван Шагаль, поэт Хусейн Мрузе, член Всемирного Совета Мира доктор Жорж Ханна, экономист и промышленник Абдаллах Адра. С владельцем этого журнала, председателем ливанского Национального комитета сторонников мира, архитектором Антуаном Табетом нас познакомили в Дамаске. Табет с гордостью говорил, что в Ливане издается сто сорок газет и журналов.

Мы выехали из города и на окраине увидели нефтеперегонный завод. На воротах его красовалась все та же марка «Сокопи вакуум» — крылатый конь. В Триполи выходит английский нефтепровод «Ирак петролеум компани». По этому нефтепроводу, берущему начало в Киркуке (в Ираке), ежегодно поступает 2 миллиона тонн сырой нефти. Четверть этого количества перерабатывается на заводе, остаток в танкерах увозится в Европу, где продается по ценам, в 17 раз превышающим издержки производства.

1955 г.

Снова Сирия

Мы снова пересекли границу Ливана и, проехав несколько десятков километров по сухой сирийской земле, опять увидели нефтяные резервуары. Машина подъехала к Баниасу, куда выходит второй английский нефтепровод.

Тут, как и в Сайде, нефтяной городок скрывается от посторонних глаз за колючей проволокой. Но в Баниасе часто вспыхивают забастовки, политические демонстрации, собираются подписи под воззваниями, требующими запрещения атомного и водородного оружия, — идет непрекращающаяся борьба за мир.

Невдалеке виднелось унылое кладбище. Среди маленьких осыпавшихся холмиков толпились люди. Мы приблизились, и молчаливая толпа расступилась. Хоронили мальчика, убитого охранником компании за то, что тот в поисках заблудившегося ягненка пробрался за проволоку, ограждающую нефтяной городок. Не верилось, что это гнусное убийство совершено в стране, где ударить ребенка считается недопустимой жестокостью.

У раскрытой могилы рабочий, отец мальчика, огромным кулаком вытирал слезы. С грудным ребенком на руках горбилась женщина — мать убитого, одетая в черное,

ниспадающее до земли платье. Четверо маленьких детей держались за ее подол.

Я взгляделся в печальное лицо матери, ослепленной детьми. Ей едва ли минуло двадцать лет. Коран разрешает брак для девочек с девяти лет, но обычно выходят они замуж в четырнадцать-пятнадцать лет. Деревенские юноши могут жениться с четырнадцати лет. Двадцатилетний холостяк в сирийской деревне — позор для семьи.

Вечером «Победа» добралась до Латакии — столицы области алавитов и единственного сирийского порта на Средиземном море.

Поместили нас в окруженной смоковницами гостинице «Казино», на берегу бухты. Из окон номера виднеются югославские пароходы. Югославы возводят здесь мол, ограждают открытую бухту от волн, гонимых западными ветрами; эти работы были отданы белградским инженерам с торгов после того, как они запросили дешевле американцев и немцев.

Латакия представляет собой город-склад. Повсюду высятся горы товаров, пахнет финиками и зерном. Корабли привозят сюда из чужих стран промышленные изделия, сахар, рис, машины, которые потом развозятся по всей Сирии.

Из окна гостиницы было видно, как лихтера перегружали на иностранные пароходы пачки прессованного табака, мешки с пшеницей, ящики с яйцами, тюки хлопка и шерсти, огромные свертки кож. Повсюду на улицах стояли покрытые пылью грузовики, преодолевшие, видно, не одну сотню километров. Среди шоферов попадались бедуины, бывшие кочевники, давно продавшие своих верблюдов и занявшиеся более выгодным делом. Это самые предприимчивые люди из числа трехсот тысяч кочевников, продолжающих скитаться среди мертвых песков пустыни.

Утром мы отправились в город Алеппо — промышленный центр Сирии.

За Латакией простирались обширные рощи маслин и финиковых пальм, источающих тонкое благоухание. «Победа» остановилась у рощи, принадлежащей французскому консулу. Сидя на деревьях, девочки-подростки шестыми сбивали маслины, ломая нежные кончики веток.

Мы вошли в рощу, где между деревьями росли арбузы, и приблизились к девочкам, собиравшим на земле зеленые плоды. Босые, одетые в пестрые платья, из-под которых виднелись длинные шаровары, собранные у щи-

колодок, они опасливо поглядывали диковатыми глазами на незнакомцев и, сбившись в пугливую стайку, готовы были скрыться среди деревьев.

Мы попросили переводчика узнать у девочек об их сокровенных желаниях.

— Выйти замуж и родить сыновей... обязательно сыновей, девочки рано или поздно покинут семью и в счет не идут, — перевел драгоман.

В этом кратком ответе таился здравый смысл. Сирийский крестьянин считает, что живет на земле лишь для того, чтобы оставить потомство. «Человек, у которого есть дети, бессмертен. Смерть ничего не может поделата с ним» — так утверждает старинная арабская пословица, воспринятая как первая заповедь существования.

Мы заехали в село, где жили девочки, встреченные нами в роще. В селе не оказалось ни одного мужчины: всех выгнал мухтар (староста) на работу — расширять шоссе, ставшее узким для всевозрастающего потока автомашин.

Все повинности, даже натуральные и денежные налоги, правительство Сирии накладывает не на отдельных крестьян, а на деревни. За неуплату налога феллахом или за другие его проступки отвечает вся деревня, где он родился и где живет его семья.

За околицей, у колодца, толпились женщины с бидонами из-под бензина. Одни из них длинной веревкой тянули резиновую бадью, склеенную из старых автомобильных покрышек, другие весело судачили, кто-то нежным голосом пел.

Женщины в сирийской деревне встречаются друг с другом только у колодцев. Там их клуб, куда, они уверены, никогда не заглянет мужчина.

Дорога извивалась в горах, невдалеке от турецкой границы. Машина часто переезжала мосты, повисшие над глубокими пропастями, где на дне глухо шумели потоки. Изредка попадались одинокие, с плоскими крышами, хижины.

Перебравшись через дикий перевал, мы повернули на юг. Чем дальше удалялась наша машина от Латакии, тем больше попадалось встречных грузовиков. Они мчались с бешеной скоростью, наполненные товарами, перевозимыми в Латакийский порт.

Подъезжая к Алеппо, мы увидели сухие и рыхлые поля красного цвета, на которых крестьяне вяло собирали

скудный урожай баяди — местной разновидности хлопка низкого качества, во многом уступающего египетским и техасским сортам. С тревогой наблюдая подъем национального движения, французские помещики воздерживались вкладывать капиталы в сельское хозяйство Сирии, в крупные оросительные каналы и плантации хлопка.

В одном месте машина промчалась мимо поля, на котором женщины ломали томбак — курево для наргиле (кальяна). Видно, земля здесь приносит скудные урожаи. Не верилось, что Сирия была когда-то одной из житниц Древнего Рима.

Пересекали долину, усеянную камнями, — такие безрадостные земли встречаются возле потухших вулканов, их невозможно распахать. Все же долина была обработана. Чахлую пшеницу, росшую здесь, крестьяне срывали руками по одному колоску: негде размахнуться серпом. Таких каменистых полей много в Сирии, на них иногда собирают меньше зерна, чем высевают, и тогда наступает голод.

За всю дорогу встретился нам только один верблюд, и шофер сказал, что автомашин в стране теперь больше, чем верблюдов.

В обед мы оказались в Алеппо, втором по величине после Дамаска городе Сирии. Газеты уже сообщили о нашем приезде, и для нас были приготовлены лучшие номера в гостинице «Барон». Попытались смыть с себя дорожную пыль, но — увы! — из кранов не пролилось ни одной капли.

Алеппо — жаждущий город. Многие жители его достают воду на окраинах из родников. Сейчас заканчивается рытье канала, по которому в город должна хлынуть вода из Евфрата.

На веранде, окружающей гостиницу, в тени олеандров и тamarисков, сидело много иностранцев. В газете «Алиф-Ба» сообщалось, что только в августе Сирию посетило 2714 туристов, из них 952 американца.

После обеда нам показали старинную крепость, возвышающуюся на холме в центре города и окруженную глубоким рвом. Когда-то за высокими каменными стенами этой крепости умещался весь город. Там еще уцелели остатки древнего водопровода и цистерны для воды, сохранились мрачные, лишённые света ямы, куда сбрасывали пленных. Развалины византийских и мусульманских храмов, рыночных площадей и улиц крепости поросли вы-

соким бурьяном, скрывающим поверженные колонны зданий да каменные ядра более поздних веков.

Над крепостью господствует четырехгранный минарет. Рядом с ним, в старинном домике, находится не-большой музей. Там под стеклом мы увидели древние черепки посуды, которыми, впрочем, никто не интересуется.

Как чужеродные тела в крепости торчали кирпичные казармы — в них недавно квартировали ненавистные народу французские солдаты. После ухода оккупантов патриоты даже собирались взорвать казармы — свидетельство упижения нации.

Невдалеке от крепости находится площадь, на которой турецкая жандармерия в годы турецкого владычества вешала непокорных арабов.

Многие мужчины в Алеппо носят национальную одежду «комис» — длинные, до пят, развевающиеся рубахи, слабо стянутые поясом. Голову покрывает куфия — кусок хлопчатобумажной ткани, обрамляющей лицо, спадающей на плечи и удерживаемой на голове двойным черным шнуром, скрученным из козьей шерсти. Такой убор я видел на головах нищих пастухов и короля Саудовской Аравии. Лица многих женщин, прибывших из деревень, испятнаны грубой татуировкой, которую после свадьбы наносит муж.

В Алеппо проживает много армян, бежавших из Турции во время армянских погромов. Многие из них знают русский язык. В день моего приезда в Алеппо выступала футбольная команда бейрутского клуба имени Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна.

До поздней ночи бродили мы по лабиринту узких каменных улиц промышленных кварталов Алеппо. Заходили в ткацкие мастерские, где люди, обливаясь потом, работали одновременно руками и ногами; видели усталых мальчуганов, крутящих на примитивных станках золотую и серебряную пряжу; разговаривали с плотниками, топорами высекающими деревянные сохи.

Крепкие, из одних мускулов и нервов, рабочие встречали нас как дорогих гостей, зазывали в мастерские, пахнущие то железной окалиной, то кожей, где не было никаких украшений, кроме закопченных портретов Халед Багдаша.

Словно сговорившись, все рабочие просили передать со-

ветскому народу душевный привет и сказать, что арабы тоже борются за мир.

На рассвете мы отправились в Дамаск, решив остановиться в селе Мурин, лежащем на нашем пути. Хотелось поближе познакомиться с деревней, ибо основу экономики Сирии составляет сельское хозяйство.

Тысячи палестинских беженцев, разбросанных группами, расширяли и ремонтировали дорогу, бывшую не так давно караванным путем. Дорожные машины и котлы с кипящим асфальтом приходилось объезжать стороной, в клубах едкой коричневой пыли, взбитой грузовиками. Мертвый пейзаж лежал под огнедышащим небом. Куда ни глянь, везде голые, обточенные ветрами камни, без единой горсти земли, на которой могла бы вырасти неприхотливая трава.

Село Мурин типично для Сирии. Ни одно дерево не скрашивает его однообразного, как пустыня, желтого ландшафта. Дома здесь конусообразные, похожие издали на огромные сахарные головы. Солнечные лучи соскальзывают с такого жилища и не накаляют камень.

«Победа» остановилась у двора, огороженного глиняным забором, у которого, лузгая арбузные семечки, сидели на земле десять крестьян. Драгоман перевел им, что корреспондент из Москвы приехал ознакомиться с их жизнью.

— Москва! Совет! — хором отозвались крестьяне и принялись вытирать рукавами машину от пыли.

На стенах домов, не имеющих окон, сушились кизяки, в горле першило от горьковатого кизячного дыма. В Сирии не принято удобрять поля, и весь навоз в деревнях расходуется на топливо. Заботы о повышении урожайности из года в год возлагаются на одного аллаха.

За двумя или тремя глиняными оградами виднелись карликовые, костлявые коровы, но то был только рабочий скот. Не заметно было ни одной телеги: мелкие грузы в Сирии переносятся вьюком на спинах ослов.

Из разговора с крестьянами выяснилось, что землями деревни, больше чем 3 тысячами гектаров, завладел помещик Баруди Хельми, живущий в городе Хаме и считающий ниже своего достоинства появляться в деревне. Крестьяне обрабатывают поля помещика на условиях издольщины, получая за свой труд четверть урожая.

Все село должно помещику: одни — посевное зерно, другие — деньги, взятые под большие проценты. Как му-

хи из паутины, крестьяне не могут выбраться из этой кабалы.

Я попросил познакомить нас с самой бедной семьей и через несколько минут сидел в прохладном доме Заки Ахмеда Дадущ, у которого нет ни лоскута земли, но зато одиннадцать душ детей. Семья жила скученно, в одной комнате с людьми находились козы.

Старик разрезал арбуз, а его малолетние дочери, грациозно кланяясь, преподнесли нам пахучие стебли мяты.

Двум сыновьям Заки Ахмеда пора жениться, но у них нет денег на махр — выкуп невесты, и юноши ждут, пока подрастут их младшие сестры, чтобы произвести бадиль — обмен девушки на девушку, без какой бы то ни было оплаты. Такие обмены часты среди бедняков, как правило, женищихся на своих двоюродных сестрах.

Старик Заки Ахмед пригласил нас обедать. На низкий деревянный стол подали кашу из бургуля. Бургуль — крупа из пшеницы; пшеницу предварительно варят, затем, рассыпав по земле, сушат под палящими лучами солнца. После этого зерно мелют дома на ручной мельнице и вновь просушивают. Бургуль да кислое молоко — повседневная пища крестьянина. Мясо появляется на столе в редких случаях — на свадьбах да на похоронах.

Старики, сидевшие за столом и уписывавшие за обе щеки бургуль, похвастались, что недавно в селе у них была открыта женская мадраса — школа, в которой учатся 55 девочек.

Неправоверным воспрещено смотреть на арабских женщин, но после долгих колебаний мужчины все же повели нас в школу. Навстречу вышла молоденькая учительница, местная уроженка Сабиха Туркмани, одетая в европейское платье желтого цвета. Прекрасное лицо ее пряталось под тонкой, словно вуаль, чадрой.

Учительница впервые видела русского человека, но о Советском Союзе знала много, знали о нашей стране и ее ученицы, заполнившие класс, где не было ни парт, ни столов.

— Мечта всех моих девочек — побывать в Москве, — сказала учительница и погладила по головкам двух ближайших к ней девочек.

Все ученицы что-то возбужденно закричали и стали ласково смотреть учительнице в глаза теми любящими взглядами, которыми не всегда награждается даже мать.

— Мы очень любим русских писателей за их щедрую доброту. — Учительница достала с полки томик с рассказом Льва Толстого «Кавказский пленник» в переводе на арабский язык. — Мои девочки влюблены в русского офицера Жилина и хотят быть такими же хорошими, как татарка Дина.

Это была школа с новыми веяниями, не похожая на старые, коранические школы, где ученики годами заучивали наизусть коран. Да и Сабиха Туркмени была новой женщиной молодой Сирии, освободившейся от законов рабства, оставшихся в наследство от четырехсотлетнего турецкого ига.

Рассуждающая женщина — какой огромный шаг вперед! Ведь женщина тысячелетия была только «великим немым» Востока.

В честь приезда советских гостей была устроена пляска — любимое развлечение арабов. Под бухающие звуки огромного барабана и взвизгивания деревянной флейты молодые мужчины переплели руки и, прижимаясь друг к другу, заколыхались в такт музыке, попеременно поднимая то правую, то левую ногу, все убыстряя шаг. Ведущий пляску делал невероятные прыжки, вызывая бурный восторг собравшихся.

После мужчин плясали ученицы Сабихи Туркмени, быстро перебирая босыми ногами на песке, горячем, как нагретая медь.

Люди были одеты бедно, а в этом крае после жаркого лета наступает суровая зима с морозами и метелями.

Скоро, без сумерек, стемнело. Зажгли лампу, заправленную оливковым маслом. Такая лампа — почти единственный источник света по вечерам на Ближнем Востоке.

Надо было спешить. Все жители деревни вышли нас провожать за околицу.

Выбравшись из Мурина, мы долго ехали вдоль оросительной канавы, на дне которой журчал тоненький ручеек. Свистел боковой ветер, он выдувал из почвы верхний покров, засыпал стекла машины. Ветер дул из пустыни, начинался палящий хамсин, белый песок побежал по дороге, воздух сделался настолько сухим, что трудно было дышать, небо затянуло пылью, в которой исчезли вечерние звезды.

По дороге в свет фар нашей «Победы» попал встречный ЗИМ, купленный на ярмарке. Он летел со скоростью,

которой могла позавидовать ласточка. Шофер ЗИМа узнал «Победу» и обрадованно ей просигнализировал. Этому ЗИМу предстоит ехать по дорогам, пересекающим мертвые пески: половину Сирии занимает пустыня.

Шоссе, по которому мы ехали, являлось линией разграничения двух разных миров — мира оседлых феллахов и кочевников-скотоводов.

У дороги, сворачивающей в пустыню, на древнюю Пальмиру, в свете костров из горящего навоза виднелись черные шатры бедуинов и верблюды, пасущиеся на жнивьё.

Мы остановили машину и, сторонясь собак, отправились к ближайшему шатру, крытому материей, умело сотканной из козьей шерсти. Высокий худой бедуин, увидев незнакомых людей, поднялся с земли и взял винтовку, опершись на нее, как на палку. Но, услышав, что мы из Советского Союза, как-то весь просветлел, пригласил садиться.

Хозяин шатра хлопнул в ладоши, и тотчас проворный мальчик, видимо сын, с почтительной покорностью поставил перед нами на землю большую миску белого варенца, а спустя некоторое время принес чайник с чаем и чашки.

С развитием автотранспорта для кочевников наступили тяжелые времена. Когда-то они были проводниками торговых караванов, продавали верблюдов, чувствовали себя хозяевами пустыни. Сейчас все это отходит в область преданий. Бедуины вынуждены становиться феллахами, но пригодные для обработки земли уже заняты. Многие кочевники, ставшие крестьянами, бросают неважистную им соху и вновь возвращаются в дорогу их сердцу пустыню, предпочитая свободу воде и хлебу.

Миновав тысячелетней давности каналы Барады, мы приехали в Дамаск. Умывшись в гостинице «Катанс», мы отправились на стадион. Там местная команда клуба «Аль-Фистан» при электрическом свете играла с баскетбольной командой тбилисского «Динамо». Игра закончилась со счетом 74:42 в пользу грузин.

Прямо со стадиона в сопровождении своих новых друзей-арабов я отправился на аэродром и через семь часов уже был в Риме.

1955 г.

С Германом Титовым во Вьетнаме

Я был в числе советских журналистов, сопровождавших космонавта Германа Титова в его поездке по странам Юго-Восточной Азии.

В январе мы прилетели в Демократическую Республику Вьетнам. На аэродроме в Хайфоне майора Титова забросали хризантемами — красными, белыми, желтыми, фиолетовыми. Космонавт заинтересовался их названиями. Оказалось, что у хризантем поэтические имена: «Желтая домбра», «Когти золотого дракона», «Тень перед ветром». В этом фейерверке букетов были цветы и совсем маленькие — не больше янтарных пуговиц, украшающих платья вьетнамских девушек.

Жители Хайфона пришли с плакатами: «Да здравствует Советский Союз — организатор великих побед социалистического лагеря!», «Да здравствует братская нерушимая дружба между вьетнамским и советским народами!».

Из Хайфона мы улетели в Ханой — столицу республики. Первое, что мы увидели, — афиши, извещающие о том, что вьетнамские певцы Кю Зыонг и Нгок Зау поют на сцене ханойского Большого театра в опере «Евгений Онегин».

Здесь советскому космонавту устроили такую же теплую встречу, как в Хайфоне. Шахтеры Хонгая прислали Титову в подарок льва, высеченного из каменного угля. И когда президент Хо Ши Мин спросил космонавта, какие города он хотел бы посетить, Титов назвал Хонгай.

На вертолетах летим в Хонгай. Внизу — деревни, как островки среди рисовых полей, залитых водой, не поймешь даже, чего больше в стране — воды или земли; паромы, перевозящие грузовики через широкую Красную реку; скалистые холмы, похожие на гигантских ящерниц, пальмовые рощи.

И вот мы в Хонгае — прибрежном городе, растущем не по дням, а по часам. На холмах, поросших корабельными соснами, много новых зданий. Часть из них еще не освободилась от лесов. Ветер гонит по улицам строительную пыль, подкатывает под ноги клубки пахучих стружек.

— Хонгай — мой любимый город, — сказал нам Хо Ши Мин. — Народ называет его городом «черплого янтаря». Город растет вместе с ростом добычи угля.

До начала митинга на Хонгайском стадионе оставалось несколько часов, и президент пригласил Германа Титова на морскую прогулку по заливу Ха-Лонг — заливу «Утонувшего дракона». Хо Ши Мин сказал, что залив этот — одно из красивейших мест на Земном шаре и туристы называют его восьмым чудом света.

Отправились мы на катере. Нас сопровождали сторожевые суда. Погода в этот день была пасмурная, однако корреспонденты и наш кинооператор Дмитрий Гасюк все время снимали окружающие нас пейзажи и проплывавшие мимо рыбацьи джонки с парусами, напоминающими рыбы плавники. Многие рыбаки живут на своих суденышках. Мы видели там костры и женщин, готовивших пищу.

Чем дальше катер удалялся от берега, тем больше попадались скалы, выступающих из воды. Эти скалистые острова безлюдны, как айсберги. Только на некоторых из них, где больше растительности, живут обезьяны и встречаются дикие козы.

— Вот бы здесь построить курорт,— сказал Герман Титов.

— Сейчас для нас важно накормить народ досыта,— ответил на это Хо Ши Мин.— Дела у нас в этом отношении идут неплохо. Урожай прошлого года был значительно выше предыдущего. Затем важно одеть народ, а потом мы уже будем думать о курортах...

На президенте была одежда рабочего и сандалии. Он считает, что должен одеваться так, как одевается простой народ.

...Вдали показались две палки, торчащие из моря. Хо Ши Мин обратил наше внимание на них. Оказалось, это мачты затонувшего корабля. Там лежит французский военный фрегат. Его потопили партизаны в годы войны.

Герман Титов предложил выкупаться.

— Вода прохладная,— предупредил Хо Ши Мин,— ведь у нас сейчас зима...

Все же решили купаться. Катер подошел к ближайшему островку и бросил якорь. Матросы спустили большую шлюпку.

Вода была действительно прохладной. После купания усталости как не бывало.

Вернувшись на берег, я присел на камень рядом с президентом. Он знал, что я корреспондент «Правды», и сказал, что считает себя старым правдивистом.

— Первая моя корреспонденция в «Правде» была опубликована через несколько дней после смерти Ленина и называлась «Ленин и Восток». — Президент задумался и добавил: — Последнюю статью в «Правде» я напечатал в связи с 90-летием со дня рождения Ленина. Всегда Ленин служил для меня образцом жизни и борьбы...

Кинооператор спросил, как называется остров.

— Остров безымянный, — ответил президент. — Но отныне, в память посещения Вьетнама советским космонавтом, он будет называться островом Германа Титова.

— Может быть, не надо, — взмолился Титов.

— Нет, нет, это желание команды катера, — сказал Хо Ши Мин и предложил осмотреть остров.

У отвесной скалы белел полуразрушенный памятник. Мы подошли к нему. Президент поднял обломок мраморной доски, на нем сохранилось одно слово: «genegal».

— Могила французского генерала, — объяснил президент. — Никто не знает его имени. Пришел на чужую землю и зарыт в чужой земле...

Президент посмотрел на море, на мачты с реями, как кресты выглядывающие из воды.

— Тоже братская могила, — заметил он в раздумье. — И спят в ней французские моряки...

У памятника лежал заржавевший ствол пушки. Президент бросил на него обломок мраморной доски. Мрамор раскололся на куски, а из ствола пушки проворно выползла змея и, шипя, исчезла в кустах.

— Обломок оружия империалистов все еще может быть опасным, — усмехнулся Хо Ши Мин, подошел к морю и опустился на камень.

Я сел рядом. И хотя, может быть, не совсем удобно было спрашивать, я все же спросил, есть ли у президента семья.

— Жен у меня нет и никогда не было, но дети есть, — по морщинистому лицу его пробежала улыбка. — Вы их видели... Все дети Вьетнама — мои дети. Будущее принадлежит им. Они будут жить лучше, чем мы, значительно лучше...

...Катер шел полным ходом, и вскоре мы снова оказались в Хонгае. Стадион был заполнен до отказа.

Выступил космонавт, затем президент Хо Ши Мин сказал:

— Лучшим бригадам шахтеров мы будем присваивать имя Германа Титова! Кто хочет заслужить эту честь?

— Мы! — раздалось со всех сторон.

Митинг окончен, и мы по широкому шоссе едем на открытые угольные разработки. Навстречу катят двадцатипятилитонные грузовики советской марки. Они везут уголь в порт.

Машин на угольном карьере чуть ли не больше, чем людей. Непрерывно движутся ленточные транспортеры. Кажется, не будь их, в сезон дождей прекратились бы все работы.

Побывали мы и на пристани Кыа-онг. У пирсов стояли пароходы под иностранными флагами.

Мы видели здесь и кубинские пароходы. На их палубы грузили ящики со станками, сделанными на Ханойском механическом заводе. Завод этот, построенный в 1958 году с помощью Советского Союза,— гордость вьетнамского народа.

Президент Хо Ши Мин говорил нам о молодых кадрах вьетнамских специалистов, которых прежде не было в стране.

Мы вернулись в Ханой в тот же день, унося с собой живые воспоминания о беседах с президентом Хо Ши Мином, о вьетнамских шахтерах и зеленых водах залива Халонг.

1962 г.

Две недели в Америке

В составе делегации советских ветеранов войны, приглашенных американской организацией «Рука дружбы», я отправился за океан. Нам было известно, что в эту организацию, близкую к правительству США, входят люди равных убеждений. «Рука дружбы» ставит своей задачей расширение связей и контактов с советскими ветеранами войны.

В Нью-Йорке мы приземлились к вечеру и сразу же попали в пеструю, ярмарочную сутолоку многоязычного «нового Вавилона». Глаза резанули огни пестрой, кричащей рекламы. Нашу делегацию — Героя Советского Союза генерал-лейтенанта В. Г. Позвяка, подполковника Ирину Левченко, партизанского командира Овидия Горчакова, и меня — встретили представители «Руки дружбы» — добродушные мужчины с женами. Они повезли нас ужинать к Фен Паркер — гостеприимной женщине, профессору университета, читающей лекции о советской культуре. За самоваром собрались гости: преподаватели, юри-

сты, коммерсанты, для которых приезд советского человека событие.

Ночевали в доме Пауля Фарелла. Он побывал в Советском Союзе, в одном из деловых журналов напечатал свои фотографии, сделанные в Москве, и опубликовал статью под заголовком «Торговать с Советами!». В чине капитана Пауль командовал батареей, служил в танковых войсках генерала Паттона, освобождал Францию. Представляя своих четверых детей, он сказал:

— И я и моя жена Мод сделаем все, чтобы наши мальчики и девочки не погибли в пламени войны.

Невозможно было уснуть. На Родине уже наступил светлый день, а здесь все еще продолжалась кромешная ночь. Мы с хозяином дома вышли во двор. Сели в машину и по пустынному шоссе помчались на «Джонсбич» — огромный пляж, тянущийся на десятки километров. Низкое небо постепенно окрашивалось в яркие цвета восхода. На океане свирепствовал шторм, но на берегу оказались рыбаки, люди пожилого возраста, — участники войны с Японией. О, как они удивились и обрадовались, увидев советского ветерана! Рыбак в берете, лихо сдвинутом на висок, носком резинового сапога написал на песке: «фрэндшип» — «дружба».

Мы вернулись утром, и девочки уже успели приготовить завтрак. Дочери Фарелла умеют готовить обед, стирать, гладить, убирать дом. Нам понравилось, что в кабинете хозяйка и в комнатах мальчиков и девочек лежали англо-русские словари и дети довольно сносно разговаривали по-русски.

После завтрака отправились в затянутый дождливой дымкой Нью-Йорк. Осмотрели национальную промышленную выставку. Там нам показали чудо — кусок сыра весом семнадцать с половиной тонн. Тщеславие американцев может быть удовлетворено: это действительно самый большой в мире кусок сыра. Сильное впечатление оставил павильон Форда, оформленный Уолтом Диснеем. Садись в автомобиль и отправляешься в прошлое, затем в будущее. То же и в павильоне «Дженерал моторс». Автомобиль движется мимо теплых болот, где хвостатые диплодоки пожирают цветы, над которыми кружат гигантские летающие ящеры-птеранодоны. Вот перед нами первые люди. Они камнями убивают мамонта, попавшего в западню. Человек все более становится человеком, изо-

бретает колесо, затем порох, открывает Америку. И наконец, возникают картины будущего: люди в космосе, люди на дне океана. Город двухтысячного года с высоты птичьего полета. Такой, каким его представляют американцы. Машины, машины, машины...

Похоже, что в Америке хозяева не люди, а машины. Люди становятся рабами машин. За стоянку автомобиля на улице надо опустить в специальный счетчик 10 центов. За проезд по дорогам и мостам тоже взимается плата. Автомобиль проходит через узкие ворота с металлической корзиной, куда швыряют 25 центов. Вы бросаете монету, и перед вами загорается табло: «Сэнк ю» — машина говорит вам спасибо.

Из Нью-Йорка помчались в зеленый университетский городок Принстон. Там нас встретили ветераны 69-й дивизии, воевавшей в Арденнах, бравшей Лейпциг и соединившейся с советскими войсками на Эльбе. Бывшие сержанты и офицеры показывали фотографии, на которых они сняты вместе с советскими солдатами. Триста ветеранов этой дивизии собрали необходимые деньги на поездку в Европу. Их мечта — в августе будущего года встретиться с ветеранами Советского Союза.

На другой день отправились в Филадельфию, которая когда-то была первой столицей США. Наши гостеприимные хозяева предложили разместить нас не в гостинице, а по квартирам. Генерала увезли в богатый дом. В саду — бассейн для плавания, в комнатах — картины французских импрессионистов: Матисс, Дега, Ренуар, несколько вещей Пикассо. Картины Пикассо в США превратились в своеобразный эталон достатка. Несколько позже, в Вашингтоне, мы посетили Национальную галерею и воочию убедились, какие огромные ценности из Европы перекочевали в США.

«Рука дружбы» делала все, чтобы расположить делегацию к себе. Но в доме отставного полковника Джона Бейта, неожиданно оказавшегося Олегом Пантюховым, сыном врангелевского офицера, мы встретили Грегора Хюлета — редактора пригородной газеты «Кленовая роща». Он как бы между прочим поинтересовался, какие подразделения Советских Вооруженных Сил оснащены ракетным оружием. Ему тут же указали на неуместность подобных вопросов.

Меня поселили в старом доме бывшего летчика-истребителя Ричарда Дарлингтона, доставшемся ему по наследству. У него одиннадцать детей. Он работает в страховом обществе. Наш хозяин рассказал о жизни своих коллег. У многих свои дома, автомашины, холодильники, стиральные машины, но все приобретено в кредит с уплатой в рассрочку. За долги отцов часто расплачиваются дети и даже внуки. Большинство народа в Америке в долгу как в шелку.

Ужинали в загородной вилле миссис Херберт Моррис, милой, симпатичной старушки, получающей в год 30 миллионов долларов дохода от продажи тейсткекса. Сила его в том, что каждый рабочий и служащий берет к завтраку за 12 центов кекс, приготовленный в пекарнях миссис Моррис, рассыпанных по всей стране. Миссис Моррис довольна жизнью и называет США «государством всеобщего благоденствия».

Вокруг мраморного бассейна в гостиной собрались гости — ветераны второй мировой войны. Прodelав двести миль, примчался Фелдман — один из руководителей организации «Ветераны иностранных войн», приехал старик Джордж Вайнер — ветеран двух мировых войн. Шел разговор о Советском Союзе, о дружбе между народами двух великих держав, от которых зависят судьбы мира. Тихая миссис Бишоп напомнила, что ее отец умер с «Воскресеньем» Льва Толстого в руках. И тут же с грустью добавила: теперь в Америке не читают романов. Люди уста-ли и не хотят думать над книгой.

За ужином я оказался рядом с нарумяненной принцессой Нишеми, богатой старухой, вышедшей замуж за итальянского принца и поселившейся на острове Сицилия. Огромные капиталы в стране принадлежат вдовам-старухам. Нам даже пояснили: богатые женщины в США в среднем на пятнадцать лет живут дольше мужчин.

Разговор шел о докладе комиссии Уоррена, об обстоятельствах убийства президента США Джона Ф. Кеннеди. Американцы возмущались тем, что комиссия во всем полагалась на материалы ФБР. Только один человек сказал, что доклад полностью удовлетворил его. Это был Грант Пенделл, переводчик, сопровождавший нас по стране, во время войны служивший в военной полиции. Кстати, когда этот переводчик отсутствовал, разговоры получались сердечные и откровенные.

Мы говорили о президентских выборах. Большинство наших хозяев высказывалось за Джонсона. Они боялись, что Голдуотер вовлечет США в мировую войну.

Припоминаются слова жены Дарлингтона, молодой женщины — матери одиннадцати детей:

— Если бы жил Кеннеди, я бы голосовала за него.

Покойный президент становится национальным героем. В Вашингтоне наша делегация посетила строгое и красивое Арлингтонское военное кладбище и возложила венки красных гвоздик на могилу Кеннеди.

В государственном департаменте нас принял заместитель государственного секретаря Аверелл Гарриман, во время войны посол США в Советском Союзе. Он вспомнил о совместной борьбе наших народов против германского фашизма. В двух последних мировых войнах судьба сводила нас как союзников, напомнил Гарриман. Беседа длилась 40 минут. Прощаясь, каждому из нашей делегации Гарриман подарил свою книгу «Мир с Россией». Приглашение делегации советских ветеранов в разгар предвыборной кампании и прием у Гарримана должны были, видимо, показать, что демократическая партия готова пойти на сближение с Советским Союзом.

Первую ночь в Вашингтоне мы провели в доме одного из руководителей «Руки дружбы» — генерала Болти. Это один из тех редких генералов, которые искренне не хотят войны.

За ужином наш хозяин сказал:

— Меня радует, что отношения с русскими становятся лучше. Во всяком случае, — полшутя добавил он, — значительно лучше, чем отношения между американской армией и флотом.

Аделаида Болти, жена генерала, заметила:

— Многие президенты США были военные, но среди них, к счастью, не оказалось ни одного адмирала.

Эта милая старушка, сидя за рулем автомашины, целый день возила нас по городу, сетуя на все увеличивающееся число разводов. Ее беспокоит рост преступности. Сексуальная свобода молодежи довела до того, что теперь все чаще встречаешь матерей без мужей и детей без отцов. По улицам шляются алкоголики и наркоманы. Порядочные люди боятся ночью ходить у Капитолия и памятника Линкольна. Если не убьют, то отберут кошелек или

разденут, говорила она нам на массовом зрелище родео — состязаниях ковбоев.

Аделаида Болти оказалась остроумным гидом. Капитолий — здание Конгресса — назвала каменным тортом, показала нам Пентагон — мрачную серую глыбу, напоминающую тюрьму.

В штате Пенсильвания делегация посетила шахтерский городок Хезлетон. Раньше в его окрестностях добывали 17 миллионов тонн угля в год, но не так давно ураган затопил копи, и теперь в Хезлетоне выдают на-гора 4 миллиона тонн. Нефть и газ заменяют уголь, и все это вместе со стихийными бедствиями вконец разорило горняков. Из 9 тысяч шахтеров в городе теперь едва насчитывается тысяча, остальные в поисках работы разбрелись куда глаза глядят. Мы посетили выработки, где уголь добывается открытым способом. На отвалах пустой породы под порывами холодного ветра качались чахлая березки, такие же замученные, как люди, работающие здесь.

После посещения двух военных академий — морской в Аннаполисе и сухопутных войск в Вест-Пойнте — вернулись в Нью-Йорк, проехали по грохочущим металлом рабочим районам Куинса и Бруклина, побывали в трущобах Гарлема, до отказа забитых неграми и пуэрториканцами, присматриваясь к жизни простого люда. У нас создалось впечатление, что народ в США живет скучно. Простые люди находятся под страхом безработицы. Отдых и развлечения ограничены убогими рамками. Один отправляется в церковь, второй, если у него есть лишний доллар, прикладывает к стакану джина, третий смотрит нудистский фильм, четвертый затевает драку, пятый находит утешение в коктейль-баре в обществе «пикаперлз» — девушек, продающихся за ужин, выпивку, пару долларов.

Генерал Позняк и я сели в катер и объехали остров Манхэттен — резиденцию магнатов финансового капитала с его небоскребами и стодвухэтажным «Эмпайр стейт билдинг».

С борта катера осмотрели статую Свободы. Бронзовая заплаканная жепщина держала в руках факел, но он не горел, а, казалось, чадил: все вокруг окутывал смрадный дым. Мы прошли под всеми великолепными нью-йоркскими мостами — с их головокружительной высоты бросился вниз не один самоубийца; проплыли вдоль морского порта

с его четырьмя сотнями причалов, мимо барж, наполненных городским мусором, мимо свалок разбитых автомашин и, выйдя на реку Гудзон, в туманной дымке увидели печально знаменитое в прошлом здание тюрьмы «Синг-Синг».

Двухнедельный визит наш подходил к концу, и крупнейшая в США телевизионная компания Си-Би-Эс пригласила нас выступить перед телезрителями, предоставив делегации самую высокую в стране трибуну. Передачу вел политический комментатор Дэвид Саскайнд. Днем 15 октября мы все четверо уселись за круглый столик в телестудии. Обращаясь ко мне, мистер Саскайнд спросил:

— Вы ездили по Америке. Где вы видели поджигателей войны? Где вы видели империалистов, желающих заграбастать весь мир, о которых пишет советская печать?

— Мы посетили госпиталь ветеранов войны и видели там людей без рук и ног, которые им оторвали во Вьетнаме. Их послали туда империалисты. Мы видели людей с выбитыми глазами. Они потеряли зрение в Корее. Я работал корреспондентом «Правды» во время корейско-американской войны. Я был свидетелем, как американская авиация убивала детей и женщин. Кровавые события в Корее легко могли перерасти в третью мировую войну. Я могу двадцать четыре часа подряд говорить об американских поджигателях войны.

— Нет, у нас есть другие вопросы, — поспешно ответил Саскайнд и, подобравшись, как всадник перед прыжком через препятствие, сказал:

— Брежнев избран Первым секретарем ЦК КПСС, а Косыгин — Председателем Совета Министров. Что вы знаете о них? Вы ничего не знаете.

— Брежнев на войне был моим начальником. Я был майором, он полковником.

— В каком году он родился?

— В 1906-м.

— У вас возрождается антисемитизм. Вы притесняете евреев. Что вы можете сказать по этому поводу? — обращаясь к Ирине Левченко, спросил Саскайнд.

— Известный русский поэт Евгений Долматовский мой муж. По национальности он еврей. В нашем доме бывает много евреев, и никто никогда их не притеснял.

— Вы отстаете от США по многим показателям экономики, — напомнил Саскайнд.

— Да. Но мы догоняем США, и с каждым годом разрыв значительно сокращается. В торжественный для вас День Колумба, открывшего Америку, наш народ, назвавший Гагарина Колумбом XX века, запустил в космос корабль «Восход» с тремя космонавтами на борту. В «Восходе», как в фокусе, сконцентрированы достижения советской науки, техники, индустрии. И вы не станете отрицать, что в этой самой современной области познания мы значительно обогнали вас.

Телепередача продолжалась два часа. Наша делегация ответила на все вопросы, интересующие мистера Саскайнда, и выиграла у него бой, хотя мы находились в неравных условиях: он допрашивал, мы отвечали.

Как одно мгновение, минули две недели...

1964 г.

Когда туман рассеялся...

Высокое голубое небо, нежаркое осеннее солнце. Тумана как не бывало. Перед нашими кораблями возвышались подъемные краны, трубы верфей и заводов, тонкие ажурные мачты английских кораблей. Над нами пролетали самолеты и вертолеты.

Наступило время прилива, и сначала эсминцы, а за ними и крейсера вошли в узкую горловину Портсмутской бухты, миновали форты и стали приближаться к отведенным стоянкам. Отряд шел вдоль набережных южной части Портсмута, где собрались тысячи англичан.

Главная военно-морская база Англии расположена на острове Портси. Здесь находятся судостроительные заводы, кожевенные и текстильные фабрики. Портсмут известен не только как промышленный центр, но и как город-курорт.

Жители Портсмута любят море, бережно относятся к традициям своего флота. Недалеко от того места, где стояли наши советские корабли, возвышаются мачты стопушечного парусного фрегата «Виктори», считающегося флагманом английского флота. Это корабль, на котором в 1805 году адмирал Нельсон руководил боем в Трафальгарской битве, когда англичане разбили франко-испанский флот. Адмирал Нельсон был смертельно ранен в этом бою. На корабле, на месте ранения Нельсона, висит старинная картина, написанная масляными красками, изображающая умирающего на руках своих матросов и офи-

церов героя Абукира и Трафальгара. Сейчас «Виктори» поставлен на вечную стоянку.

Балтийцы вскоре после прибытия в Портсмут направились к памятнику павшим английским морякам. Пришли сюда и представители военно-морского флота Англии. В торжественной тишине советские моряки возложили к подножию памятника венки. Весть об этом тотчас облетела город, и посмотреть эти венки собрались тысячи жителей.

С первых же минут пребывания в Портсмуте советские моряки — посланцы мира и дружбы — были радушно встречены англичанами.

Мы беседуем с английскими офицерами связи. Они восхищены всем, что видят на «Свердлове».

— Не всегда водитель трамвая остановит так легко вагон, как подходит к стенке «Способный», — говорит один из них, передавая коллеге бинокль.

— Если бы положили яйцо между бортом советского корабля и стенкой, оно осталось бы нераздавленным, — отвечает другой.

На следующий день эта фраза обошла все английские газеты, и англичане еще раз по достоинству оценили искусство наших моряков.

Приближаясь к стенке, корабль двигался по инерции, стоило замешкаться хотя бы на секунду, несвоевременно дать передний ход, и можно было повредить о стенку корпус или винты. При швартовке изменение ходов происходило быстро. Вахтенный у маневого клапана выполнял приказание уверенно, спокойно, дорожа каждой секундой.

В эти минуты адмирал флота сэра Джордж Криси давал на берегу обед в честь адмирала Головки и командиров наших кораблей.

В окна было видно, как советские эсминцы и крейсера быстро становятся у стенки.

Сотни объективов фотоаппаратов и кинокамер были обращены к советским кораблям, а часа через полтора мы уже держали в руках экстренный выпуск портсмутской газеты «Ивнинг ньюс». В ней были напечатаны первые снимки, сделанные на берегу, а также с самолетов, геликоптеров и катеров, встречавших нас на рейде. Через всю страницу газеты шли заголовки:

«История сегодня делается в Портсмуте. Русские уже здесь, и наши — в Ленинграде».

В репортаже специального морского корреспондента

этой газеты был приведен следующий диалог между английским и нашим командующим.

Сэр Джордж Кризи. Я надеюсь, что ваш визит будет первым из многих визитов подобного рода.

Адмирал Головки. Я также надеюсь на это.

Поднявшись на верхнюю палубу, мы встретили двух матросов — русского и англичанина — в разгар их беседы. Заслав их, мы записали их разговор.

Роберт Камберленд. Вы шли к нам с попутным ветром, я надеюсь?

Федор Макаров. Да, с попутным, а если быть более точным, то лучше сказать — с «женевским ветром».

Хорошая мысль! Именно «женевский ветер» привел отряд советских военных кораблей в английские воды. Об этом дружески говорили советские и английские офицеры во время приема на авианосце «Булварк», который устроил адмирал флота сэр Джордж Кризи. На приеме было немало офицеров британского флота — моряков и летчиков, плечом к плечу с советскими воинами сражавшихся на севере против фашизма. У некоторых англичан на груди советские ордена.

В огромном, празднично украшенном зале авианосца, где по стенам висели плакаты «Но смокинг», что означает «Не курить» (это не мешало по случаю особого дня курить всем, кто хотел), мы встретили капитан-лейтенанта Р. У. Армитаджа. Он был в центре группы английских офицеров и весь сиял.

«Лаки-мэн» — с разных сторон слышалась одна и та же фраза, обращенная к Армитаджу. «Лаки-мэн» — удачливый, счастливый человек. Мы спросили капитана, чем вызвано такое оживление.

— О, очень просто! — сказал он, улыбнувшись. — Сегодня экипаж моего корабля получил два приглашения на встречу с офицерами «Свердлова». Так как все хотели пойти, то пришлось устроить... тайное голосование. Вы понимаете — шла борьба за пригласительный билет на «Свердлов»! Я был избран большинством голосов, значит, завтра я буду на «Свердлове», и друзья поэтому говорят мне «лаки-мэн».

Прием проходил в ангаре «Булварка», где могло разместиться до тысячи человек. Богато иллюминированный зал украшали живые цветы, стены затянуты национальными флагами стран, входящих в британское содружество наций.

Оказалось, что многие английские офицеры изучают русский язык; они были рады приветствовать советских моряков, а заодно и проверить свои знания русского языка. Сразу же завязались дружеские беседы. Английские офицеры находились под впечатлением Женевского совещания Глав четырех держав.

Ежедневно хозяева устраивали дружеские встречи английских и советских моряков.

В клубе Портсмутской базы состоялся прием для двухсот советских матросов. В казармах английских моряков на приеме присутствовало сто советских старшин и мичманов. Разговор шел о нашей советской жизни, о Московском университете, театре, спорте. Англичане хотели возможно больше узнать о Советском Союзе и задавали множество вопросов.

— Правда ли, что Москва быстро строится?

— Правда.

— У вас есть дворцы для рабочих, это правда?

— Правда.

— Говорят, врача можно вызвать бесплатно. Это так?

— Точно так.

Но бывало, что диалог носил и другой характер.

Одна девушка, раскуривая сигаретку, спросила матроса Остапенко:

— Из какого порта вы прибыли?

Матрос шутливо ответил:

— Из Рязани...

В Портсмуте встретились союзники по совместной борьбе с фашизмом, соратники по оружию, понимающие, что в прошедшей войне судьба Англии была крепко связана с судьбой Советской страны, и не было ничего удивительного в том, что русские и английские моряки быстро находили общий язык. Произносилось много теплых слов, было много крепких рукопожатий. Вспоминались боевые подвиги и погибшие товарищи, похороненные в свинцовых водах северных морей.

— Я вспоминаю вой Геббельса, когда ваши бомбардировщики крушили немецко-фашистские аэродромы на территории Финляндии и Норвегии... Ваши ребята хорошо работали в те дни, — произнес бородатый англичанин. — Об этом нельзя забыть...

— Я имел счастье быть в числе офицеров конвоя, сопровождавшего суда с грузом для СССР, когда навстречу нам вышла немецкая эскадра — линкоры «Адмирал Тир-

пиц» и «Адмирал Шеер», под охраной большой группы миноносцев и самолетов-истребителей, — вспомнил английский офицер с ленточкой ордена Красного Знамени на тужурке. — Положение было почти безвыходным. И в это время ваша подводная лодка, ловко прорвав охранение эскадры, атаковала линкор «Адмирал Тирпиц». Торпеды попали в цель и нанесли линкору тяжелое повреждение. Немцы отказались от операции против нашего каравана и потащили свой линкор в базу, где он несколько месяцев простоял на ремонте.

— Это сделала подводная лодка Героя Советского Союза Лунина, — ответил кто-то из наших моряков.

Командир британского миноносца вспомнил, как сторожевой корабль под командованием офицера Окуневича, придя на помощь английскому транспорту, навязал бой трем немецким миноносцам, приняв на себя весь огонь. Корабль стал погружаться в море, по кормовой пушка продолжала стрелять. Единственный оставшийся в живых матрос стрелял из нее, пока корабль с развевающимся флагом не скрылся под волнами.

Оказалось, что английские офицеры хорошо знали боевую историю нашего Северного флота. Они вспомнили, как подводная лодка капитана 3 ранга Видяева подорвалась на вражеской мине. Взрыв сорвал винты, и лодка не могла двигаться. Всплыв на поверхность моря и натянув паруса, сшитые из брезентовых чехлов, подводники с попутным ветром стали уходить из неприятельской зоны. Личный состав единодушно поддержал решение командира — в плен не сдаваться и при появлении противника лодку взорвать вместе с собой.

Англичан влечет к интересным и смелым людям, и они вспомнили погибшего Героя Советского Союза Магомета Имадуддиновича Гаджиева. В морских училищах Великобритании изучается бой, проведенный Гаджиевым, когда он атаковал фашистский конвой, находившийся в норвежском фиорде. Тогда подводная лодка Гаджиева первой торпедой потопила транспорт водоизмещением в 6000 тонн. Фашисты принялись забрасывать лодку глубинными бомбами. Уйти было невозможно. Гаджиев всплыл на поверхность и неожиданно для противника вступил в артиллерийский бой с тремя кораблями противолодочной обороны. Ему удалось пустить ко дну сторожевой корабль и катер-охотник и уйти в свои воды.

— Счастье благоприятствует смелым, — сказал военный переводчик.

— Это предел того, что можно достигнуть, — поддержал его молоденький офицер.

Начав вспоминать героические подвиги, английские офицеры заговорили о наших морских летчиках-североморцах. Оказывается, в Англии знают дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова, сбившего 25 фашистских самолетов. Во время войны он пользовался в Англии большой популярностью.

Помнят в Англии и капитана Андрея Баштыркова — летчика-торпедоносца. Он атаковал фашистский транспорт, но от прямого попадания снаряда самолет его вспыхнул. Спасти самолет было невозможно, и коммунист Баштырков и его боевой друг сержант Владимир Гаврилов повторили героический подвиг капитана Гастелло. Они бросили свою пылающую машину вместе с торпедой на вражеский корабль...

— Я хотел бы, чтобы мы всегда были друзьями! — горячо произнес один английский офицер окружившим его морякам «Свердлова».

Многие из жителей Портсмута посещали наши корабли, они хотели своими глазами увидеть русских моряков, пожать им руку, высказать слова дружбы и уважения.

Одним из первых гостей на крейсере «Свердлов» был командующий Портсмутской военной базой адмирал флота Кризи. Мы спросили его, какое впечатление произвели на него наши корабли.

Он охотно ответил:

— Ваши корабли вызывают восхищение английских моряков. Эти корабли вполне современны. Их боевые качества весьма высоки. Они приятно ласкают глаз моряка. Я очень рад был встретить в Англии адмирала Арсения Головки. У него много друзей среди моих сослуживцев с тех времен, когда мы воевали плечом к плечу на Севере. Что касается меня, я с вашими моряками знаком с 1953 года, когда в Англию приходил крейсер «Свердлов». В то время я командовал коронационным флотом. Ваши моряки молоды, они прекрасно выглядят и очень жизнерадостны.

Наши корабли посетили три адмирала в отставке: Барнет, Барроу, Майлс.

Барнет был первым английским адмиралом, который в

1942 году, после потопления немецкой эскадрой транспортов, следующих в Мурманск, вопреки утверждениям некоторых английских деятелей о невозможности связи с Советским Союзом по морским коммуникациям блестяще провел крупный конвой.

Вступив на борт «Свердлова», старик, одетый в гражданское платье, без орденов, — это был адмирал Барроу — сказал:

— У меня дрожат руки, но не от старости, а от волнения. Ваш визит напомнил мне нашу совместную борьбу с фашизмом. Английская пословица гласит — друзья познаются в беде. Наша дружба началась в тяжелые дни. Прибытие ваших кораблей еще больше сцементирует эту дружбу!

Адмирал Майлс во время войны возглавлял английскую морскую миссию и бывал на Северном флоте. Адмирал Майлс, осмотрев корабли, сказал, что наибольшее впечатление на него произвели матросы: сильные и подтянутые.

— Я не видел более жизнерадостных матросов, — заявил на прощание Майлс.

Посетил крейсер «Свердлов» также адмирал флота Фрезер. На груди адмирала орден Суворова I степени, которым он награжден во время войны за боевые действия на севере нашей страны.

— День посещения «Свердлова», — сказал Фрезер, обращаясь к нашим морякам, — радостный день в моей жизни, а за ваш подарок (он показал палехскую шкатулку) благодарю от всей души.

Советские крейсера и эсминцы посетили свыше ста британских офицеров, воевавших вместе с нашими моряками на севере. У многих из них грудь была украшена орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

Они встретили на кораблях знающий свое дело командный состав. Они старались понять этих людей, бесстрашных в бою, бодрых духом, не теряющихся перед трудностями. Они старались понять истоки массового героизма, проявленного нашим народом в борьбе с фашизмом, и так же, как на «Булварке», отовсюду сыпались вопросы:

— У вас на флоте много людей из простых крестьянских семей, не так ли?

— Это верно.

— Но откуда это прекрасное умение держать себя,

этот такт и гордое достоинство? Кто их воспитывает на кораблях?

— Коммунисты, — следовал ответ.

— А, а... коммунисты. Удивительные люди...

В концертном зале Саутси, расположенном в аристократической части города, лорд мэр Портсмута Дэй устроил прием, на который были приглашены сто пятьдесят советских офицеров, английские адмиралы и офицеры.

Лорд мэр Дэй обращается к собравшимся с короткой речью:

— Народы Англии и СССР были товарищами по оружию, настало время вновь подтвердить эту дружбу. Посещение советскими кораблями Портсмута — преддверие для последующих визитов.

Встречи проходили в атмосфере сердечности. Все выступающие, выдавшие на своем веку эскадры многих морских наций, отмечали, что командиры советских крейсеров и миноносцев показали образцы судовождения. Англичане много говорили о дисциплинированности и жизнерадостности наших матросов, видя в них представителей великого советского народа.

Один юркий американский корреспондент, как нам потом со смехом рассказывали сами англичане, прежде, чем прийти на наши корабли, посетил шефа полиции Портсмута.

— У вас сейчас много хлопот, сэр? — спросил репортер.

— Как всегда, — ответил шеф полиции.

— А русские моряки?

— Что русские моряки?

— Неужели они не причинили полиции никаких хлопот?

— Никаких.

— Ни одной драки?

— Ни одной.

— Ни одного пьяного?

— Ни одного.

— Удивительно...

В связи с этим уместно привести слова газеты «Гемпшир телеграф», которая на первой странице в статье, озаглавленной «Портсмут приветствует высокий дух людей Востока», писала: «Нашего корреспондента, который привык видеть критическим глазом моряков других стран, поразило хорошее поведение советских моряков».

В первый же день пребывания наших моряков в Портсмуте адмирал Головка устроил на борту крейсера «Свердлов» пресс-конференцию для английских и иностранных корреспондентов. Кают-компанию заполнило более 70 представителей крупнейших агентств и газет. Они прибыли в Портсмут ранним утром, нетерпеливо ожидая встречи с нашими моряками.

— Туман — враг всех моряков, в том числе и русских. Поэтому мы с некоторым опозданием открываем пресс-конференцию, — начал А. Г. Головка. — Я хотел бы прежде всего воспользоваться благоприятным случаем и через вас передать сердечный привет жителям Англии, и особенно населению Портсмута, и поблагодарить за теплый прием. Мы, советские люди, надеемся, что визит советских военных кораблей в Англию и английских в СССР укрепит хорошие отношения между нашими народами. Он даст нам возможность установить дружественный контакт с британскими моряками, ознакомиться с достопримечательностями Портсмута и Лондона.

После этого короткого заявления посыпались вопросы. Они следовали один за другим, показывая огромный интерес английской и иностранной печати к визиту доброй воли, как назвали английские журналисты визит наших военных кораблей. Вопросы и ответы касались разных сторон жизни и быта моряков, поэтому позволим привести здесь некоторые из них.

— Не думаете ли вы, адмирал, что отвечать на наши вопросы будет труднее, чем пройти через английские туманы?

— Посмотрим, какие будут вопросы!

— Будет ли разрешено советским морякам сойти на берег?

— Безусловно.

— С какого и по какое время они будут увольняться?

— Если поедут в Лондон, то с утра, а если в Портсмут, то с четырнадцати часов.

— И до какого часа?

— До двадцати четырех часов.

— Каковы ваши личные планы?

— У меня много друзей среди английских моряков, и в мои планы входят встречи с ними.

— Вы воевали на Севере, господин Головка, и хорошо знаете британских моряков, не так ли?

— Мне кажется, я знаю британских моряков достаточно хорошо.

— Не замечали ли вы их пристрастия к женщинам и водке?

— В течение четырех лет войны мне привелось быть рядом с нашими английскими товарищами по оружию, и я не заметил этой особенности.

— Русский адмирал думает о британских моряках лучше, чем некоторые английские корреспонденты, — послышался возмущенный нелепым вопросом голос.

— Можно ли фотографировать советских матросов?

— Конечно. Фотографируйте на здоровье.

— Когда английские моряки отправляются в какую-либо страну, им дают справку об этой стране, — слышится вкрадчивый голос корреспондента газеты «Дейли скетч». — Давали ли вы какую-нибудь справку вашим матросам об Англии?

— Да, давали.

— Что в ней говорилось?

— В ней рассказывалось об Англии, об английском народе, его обычаях, говорилось также об английских законах.

— А были ли какие-нибудь утверждения в этой справке?

— Конечно, были, — следует ответ.

— Какие же?

— В этой справке утверждалось, что английские обычаи и законы следует уважать...

Эти ответы адмирала были встречены одобрительным смехом. Но тут же следует новый вопрос:

— Получат ли матросы какие-нибудь деньги?

— Получат.

— Сколько?

— Это зависит от должности.

— Какова минимальная сумма?

— Один фунт стерлингов с небольшим.

— А какова максимальная сумма?

— 10 фунтов.

— Кто получит 10 фунтов?

— Тот, кто заслужит.

Корреспонденты смеются. Англичане любят иронию, любят острую шутку, а пресс-конференция похожа на словесный бой. И снова следуют вопросы, иногда наивные, иногда каверзные.

— Если два матроса захотят пойти в кино, они смогут пойти?

— Естественно.

— Можно ли будет пройти на корабль, когда вы будете принимать английских детей?

— Пожалуйста.

— Говорят, что вы награждены орденом Ленина. Если это правда, не можете ли вы показать этот орден?

Адмирал показал на своей тужурке орден Ленина.

— Так у вас их три, — с уважением произнес корреспондент агентства Рейтер Тревор Блор.

— Как видите, — отвечал адмирал.

Кстати сказать, Тревор Блор в декабре 1943 года, прибыв с английским конвоем, некоторое время находился в штабе нашего флота, написал о советских моряках книгу.

И хотя корреспонденты спешили в свои редакции, расходились они неохотно...

Англичане очень скупы на похвалы, но вот что писал на следующий день после пресс-конференции корреспондент газеты «Таймс»:

«Визит доброй воли русского флота»

Прекрасным зрелищем был момент, когда «Свердлов», флагман эскадры русских кораблей входил в Портсмутскую гавань под звуки музыки...

Офицеры военно-морского флота Англии, матросы, дочери и жители города терпеливо ожидали прибытия кораблей. «Свердлов» медленно появлялся из тумана, являя собой замечательную картину в тусклых лучах солнца. Легкий ветерок колебал его флаг. И когда «Свердлов» появился около причала, у которого он должен был швартоваться, можно было услышать, как оркестр корабля исполнял английский национальный гимн.

Корабль быстро подошел к пирсу. Это была безукоризненная швартовка, произведенная исключительно с помощью своих машин. Оркестр часто играл «захождение», исполняемое с исключительным энтузиазмом.

Первый официальный визит нанес господин Белохвостиков, советский поверенный в делах в Англии. Он обошел строй личного состава. Затем был принят на борту корабля адмирал Кризи, командующий Портсмутским во-

енно-морским округом, и после него лорд мэр города Портсмута г-н Дэй».

Очевидно, идея дружбы между нашими флотами пришла корреспондентам английских газет по душе. Почти все сообщения в печати были выдержаны в дружественном духе и полны красочных деталей. Вот как описывал прибытие советских кораблей в Портсмут корреспондент уже упомянутой нами газеты «Гемшир телеграф»:

«На этой неделе вписано еще несколько глав в портсмутскую историю. И действительно, Портсмут внес большой вклад в развитие хороших отношений между Англией и Советским Союзом.

Никакой бы другой флот не мог рассчитывать на такой сердечный прием, какой оказан русскому флоту, и, несмотря на туман, который значительно задержал прибытие кораблей, визит с самого начала стал проходить успешно.

Это первый визит в Портсмут большой группы советских кораблей. Впервые русский адмирал расписался в книге посетителей корабля «Виктори», впервые флаг русского адмирала развевался на мачте английского торпедного катера».

Наступил день, когда в порт разрешили пройти гражданским людям. С утра у ворот порта, охраняемых полицейскими, стала расти очередь. Жители приезжали на поездах, в зеленых загородных автобусах и собственных автомашинах. Приходили целыми семьями...

Два высоких полицейских — «бобби», как их называют англичане, — в черных касках поддерживали образцовый порядок.

Очередь заняла несколько улиц...

Все это были мирные люди, многие из них пережили ужасы бомбардировок, и, попав на корабль, они не интересовались ни калибром орудий, ни тоннажем, ни скоростью. Они пришли, чтобы побеседовать с русскими моряками, выразить им свои симпатии, получить на память какой-нибудь подарок.

Посетители осматривали матросские кубрики, подолгу задерживались в библиотеке, поражаясь обилию книг английских писателей, переведенных на русский язык. Англичан радовали портреты Шекспира и Байрона, висевшие в корабельной библиотеке.

— Какая у вас самая популярная книга в библио-

теке? — поинтересовался профессор Кембриджского университета.

— Корабельный устав, — не задумываясь, ответил библиотекарь.

Английский контр-адмирал медицинской службы Рут специально прибыл на «Свердлов», чтобы ознакомиться с лазаретом. Покачивая головой, Рут восхищался медицинским оборудованием и пришел в восторг от новейшего рентгеновского аппарата.

Пожилой шотландец в клетчатой юбке, покуривая настоящий кепстен, сказал, что он два года назад видел крейсер «Свердлов», и тут же с юмором добавил:

— Одна ласточка не делает весны... Но когда прибывает эскадра, это уже весна... Кстати,— спросил он после паузы, — газеты писали, что штурман крейсера «Александр Суворов» — Суворов. Это правильно?

— Правильно, — отвечали моряки и, так как шотландец хотел с ним познакомиться, пошли к Михаилу Ивановичу Суворову.

Суворов был немало удивлен, узнав, что им интересуются.

— Чем могу служить? — спросил он у шотландца.

— Вы Суворов?

— Так точно.

— Значит, о вас можно сказать, что вы наследник генералиссимуса Александра Суворова?

Михаил Иванович широким жестом обвел всех своих друзей-моряков и, улыбаясь, ответил:

— Мы все здесь наследники Суворова.

Велико было удивление шотландца, когда коренастый советский матрос вынул из кармана брюк маленький, хорошо изданный томик баллад Роберта Бернса, переведенных на русский язык, и подарил шотландцу, сделав надпись на книге: «На добрую и долгую память».

Принимая книгу, шотландец на память прочитал по-английски конец баллады «Шела О'Нил».

Матрос улыбнулся и под аплодисменты собравшейся толпы прочел:

У Фридриха в войске
Я дрался геройски,
Штыка не боялся и с пулей дружил.
Нет в мире кинжала
Острее, чем жало
Безжалостной женщины — Шелы О'Нил!

Так встретились и подружились два почитателя великого народного поэта Шотландии.

Этот матрос со «Свердлова», читающий на память стихи Бернса, любит морскую службу, умело выполняет корабельные работы, правильно и надежно крепит грузы, быстро вяжет жесткие и мягкие тросы, с быстротой кошки взбирается по шторм- и скоб-трапам, ныряет в узкие люки, сноровисто действует при съёмке корабля с якоря и при постановке на швартовы, умеет бороться за его живучесть и мастерски управлять шлюпкой.

Советские моряки ожидали не совсем обычных на военных кораблях гостей — школьников Портсмута. Хотя многие из них впервые оказались на военном корабле, они быстро освоились и, получив у дежурного сигнальные флаги, начали «командовать». Дети Портсмута слышали, что русские моряки хорошо поют и танцуют, и балтийцы пели и танцевали для них. В одной из газет была опубликована специальная статья об этой встрече. В ней писалось:

«Портсмут, воскресенье.

На борту русского крейсера «Свердлов» сегодня 450 английских детей впервые услышали русские слова и впервые увидели русские лица. Это были слова мира и улыбающиеся лица.

Тысячи детей, которым не повезло при отборе, толпились у ворот порта и окружали каждого матроса, выходящего из ворот. Для того чтобы справиться с толпой, были вызваны дополнительные полицейские наряды, а также были вывешены объявления о том, что «порт закрыт».

Дети, находившиеся на корабле, вскоре узнали, что русские имеют привычку раздавать на приеме подарки.

Каждый ребенок получил по коробке конфет...

Это было 16 октября. На крейсер «Свердлов» пришли девочки и мальчики в возрасте от семи до шестнадцати лет, — как правило, лучшие ученики, заранее отобранные директорами семидесяти портсмутских школ.

В Англии за хорошую учебу и отличное поведение ученикам обычно дарят библию, на этот раз отличники получили разрешение на посещение советского корабля, и надо было видеть, с каким волнением шли они к причалу, у которого пришвартовался «Свердлов».

Мальчики всех стран мечтают попасть на боевой корабль. И вот мечта многих английских ребят осуществи-

лась — они ступили на палубу советского корабля. Никто из них не удержался, чтобы не потрогать руками настоящие пушки и торпедные аппараты. Они впервые в своей жизни увидели советских воинов. И первое, что попросили, — автографы. Все дети явились с блокнотами и все хотели получить автографы.

В Англии школьники учат русский язык, и ребята, обладающие небольшим запасом слов, смело вступали в беседы с матросами. Многие из них по поговоркам смогли отличить старшину первой статьи от матроса и капитан-лейтенанта от мичмана, с детской наивностью они хвастались, что знают семафорную азбуку и некоторые флаги военноморского свода сигналов.

Эти дети интересуются жизнью нашей страны. Один мальчик даже прочел стихотворение Пушкина о том, как «шалун уж заморозил пальчик», переведенное на английский язык.

— Мы хотим переписываться с русскими ребятами.

— Нам интересно обмениваться книгами.

— Я хочу подарить советскому мальчику модель яхты, которую я сделал со своими товарищами.

— Передайте от меня альбом английских почтовых марок сыну какого-нибудь советского офицера.

С такими просьбами обращались английские дети к матросам и старшинам, показывающим корабль.

У многих наших моряков появились платки, вышитые руками девочек, которые почти все искусные рукодельницы, умеют и вязать, и штопать, и шить.

Наряду с прекрасными книгами в Англии продается для детей масса «комиксов». Эти книги с яркими обложками представляют собой детективщину, отравляющую угловым ядом сознание детей.

Мы были удивлены, прочитав на стене одной из школ красочные плакаты, вербующие подростков в армию.

«Ты скоро кончаешь школу. Знаешь ли ты, что можешь поступить в военную авиацию пятнадцати лет в качестве ученика?» — кричал яркий, словно написанный кровью плакат.

«Служба в вооруженных силах обеспечивает прекрасную карьеру», — вторил ему плакат поменьше.

На борту «Свердлова» как-то появилась оборванная, измазанная угольной пылью девочка с испуганными глазами.

В Англии официально запрещено нищенство, и за протянутую руку можно угодить в тюрьму. Безработные заняты тем, что делают вид, будто работают; кусками мела рисуют на тротуарах ландшафты, исполняют акробатические этюды, посреди улицы играют на саксофонах и банджо, продают открытки, которые никто не покупает. В Англии не так уж мало людей, занятых поисками работы.

Девочка больше всего боялась полицейских, но она бесстрашно вступила на русский корабль и вытянула вперед маленькую жалкую руку, вероятно понимая, что очутилась на территории чужого государства, где английский полицейский ничего не мог с ней сделать. Девочку накормили, и два матроса отдали ей все английские деньги, которые были выданы им.

Пресса не раз отмечала любовь советских моряков к детям, даже вспомнили крылатое изречение Максима Горького о том, что дети — цветы нашей жизни. Появились десятки снимков английских ребят на руках у советских матросов.

Одна влиятельная газета писала:

«Люди, так любящие детей, не могут быть плохими. Никто никогда не думал, что пребывание на боевом корабле может принести столько радости нашей детворе. Это действительно корабли доброй воли».

Английские дети успели полюбить советских моряков, а дети со временем становятся взрослыми...

«Таймс» писала: «Сегодня был открыт доступ на «Суворов» и четыре эсминца. Толпы народа хлынули на корабли. Их встречали улыбающиеся русские моряки у застланного красочным ковром трапа... Один из посетителей «Суворова» сказал: «Корабль очень красивый и содержится в такой же чистоте, как и наши военные корабли. Матросы выглядят очень хорошо и всегда наготове. Оборудование жилых помещений такое же, как и на новейших английских кораблях».

Визит советских военных кораблей оттеснил многие политические события на второй план. «Дейли геральд» писала:

«Сто русских матросов пошли в матросский клуб, где провели вечер вместе с английскими матросами и представителями женского общества содействия флоту.

Они были дружелюбны и разговорчивы. Настолько разговорчивы, что не хватило двадцати переводчиков от

военно-морской школы иностранных языков в Водмине Корноул.

Русские матросы с шести кораблей, которые находятся в порту, очаровали зрителей, когда показали народные танцы. Они закончили концерт песней «Типперери» на английском языке».

Мы были на этом концерте и никогда не забудем, с каким хорошим чувством дружбы англичане встречали наш ансамбль. Помнится, как перед исполнением «Типперери» волновались наши моряки. Ведь петь решили на английском языке.

— Все будет хорошо, — сказал матросам дирижер и, выйдя на сцену, обратился к зрителям с такими словами: — Конечно, надо быть смелыми людьми, чтобы петь в Англии по-английски. Но есть вещи более важные, чем произношение. Вы знаете, что я говорю о дружбе. Поэтому мы все-таки споем по-английски.

«Вчера в матросском клубе Портсмута был замечательный вечер, — писала другая английская газета. — 300 советских моряков пришли сюда, чтобы встретиться с английскими моряками.

Русские и англичане хлопали друг друга по плечу и чокались бокалами.

В их глазах светилось дружелюбие.

Завтра сойдут на берег еще 2900 человек, и дружеские встречи расширятся.

Прошло полчаса, и вам уже невдомек, что когда-либо существовала «холодная война».

Бескозырки русских и английских моряков сложены на стуле рядом... Угощают сигаретами. «Курите мою», — слышно на двух языках. Некоторые из девушек легко покашливают от крепких русских папирос. Прибыла дюжина переводчиков. Теперь мы действительно можем понять друг друга.

Многие из девушек находят русских приятными собеседниками. Послушайте Диану Кликстон, девушку-морячку, которая служит в портсмутских военно-морских казармах:

«Они очень приятны и более сдержанны, чем наши моряки. Они очень хорошо себя ведут».

Гости переходят в танцевальный зал, но только один или два советских моряка пробуют танцевать английские танцы. Кажется, они предпочитают быстрые танцы.

Замечательный хор моряков со своим оркестром пел песню «Типперери». Они пели народную песню о степи и песни о войне. Комические акробаты выделявали фантастические трюки.

Да, это был замечательный вечер!»

С огромным успехом в казармах английских матросов выступал Ансамбль песни и пляски Балтийского флота. Популярные советские и английские песни слушатели подхватывали и пели вместе с артистами ансамбля.

Большая группа курсантов советских военно-морских училищ, проходивших стажировку на кораблях, была приглашена в гости в военно-морской колледж, находящийся в Дортмунде. Восемь часов ехали наши курсанты в автобусах, любясь знакомыми по книгам пейзажами Англии с древними ветряными мельницами и сельскими домиками под красными черепичными крышами.

Произошла дружеская встреча английских и советских молодых людей. Англичане потеснились, сами спали по два человека на койке, уступив свои каюты гостям.

Колледжу недавно исполнилось пятьдесят лет. В числе его воспитанников был адмирал флота Джордж Кризи. Курсантам был показан фильм, снятый в честь пятидесятилетия колледжа.

Наши курсанты провели сутки в колледже, ознакомились с его жизнью и бытом. Учатся там сыновья лордов, министров, крупных капиталистов и помещиков.

Советские курсанты маршировали под музыку вместе с кадетами колледжа.

Об этой встрече английские газеты писали: «Это был один из самых счастливых вечеров в пятидесятилетней истории колледжа».

Много дружеских встреч имели участники визита. Мы видели на набережных Портсмута, как английские матросы обменивались с советскими матросами тельняшками, согретыми теплом собственных тел. В товарищеской борьбе прошел футбольный матч, который закончился ничью — 1 : 1. Проявлением дружбы было исполнение оркестром королевской морской пехоты перед крейсером «Свердлов» «Торжественного церемониала захода солнца». Великолепные музыканты, одетые в старинные одежды с леопардовыми шкурами на плечах, играли старинные марши.

Но были и встречи печальные. Никогда не забудут матросы «Сметливого» свой короткий разговор с английским

безработным. Он был плохо одет, тощ и, судя по всему, очень болен.

— Я ищу работу, — просто сказал он, отвечая на приветствия советских моряков. — Уже много месяцев я ищу какую-нибудь работу. Вы спрашиваете, есть ли у меня дети?!

Наш собеседник горько усмехнулся.

— Слишком дорого иметь детей для человека, который ищет работу...

1956 г.

В Лондоне

В первый же день пребывания в Англии группа советских офицеров направилась в Лондон, чтобы посетить могилу Карла Маркса. Хайгетское кладбище тянется по склону горы, и кажется, что по нему бегут бесчисленные зеленые волны могил.

На мраморную плиту, положенную Энгельсом, под которой покоится прах гения человечества, его жены и внука, советские моряки возложили венок из белых и красных гвоздик.

Моряки посетили «Дом Маркса», или «Библиотеку памяти Маркса», основанную в 1933 году в ознаменование пятидесятой годовщины со дня смерти Карла Маркса.

Балтийцы осмотрели достопримечательности английской столицы. В музее истории Лондона среди витрин со множеством коронационных одежд королей Великобритании моряки увидели скромную витрину, где за стеклом лежали личные вещи русской балерины Анны Павловой. Павлова гастролировала почти во всех странах мира и всех покорила своим талантом. Покорила она и англичан, выставивших в своем музее слепок ее ноги и белую балетную «пачку» с крупным драгоценным камнем.

Оказавшийся рядом промышленник из Манчестера, увидев русских матросов, воскликнул:

— Мы ждем в Англии вашу Галину Уланову!

Моряки посетили древний замок Тауэр, в течение пяти веков служивший тюрьмой для родовитых преступников, местом пыток и казней. Некогда за мрачными стенами Тауэра уничтожали несовершеннолетних наследников, душили опостылевших жен, травили ядом любовниц, рвавшихся к власти. В Белой башне, как известно, судили неугодных людей. Как объяснил остроумный экскурсо-

вод, здесь каждое утро палач оттачивал свой топор, который к вечеру снова становился тупым.

В 1535 году в Тауэре секира палача, по приказу короля Генриха VIII, отрубила голову Томаса Мора — выдающегося английского гуманиста, одного из основоположников утопического социализма, написавшего «Золотую книгу, столь же полезную, как забавную, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». В своей книге великий англичанин дал набросок некоторых черт будущего коммунистического общества. Он писал: «Где только есть частная собственность, где все мерят на деньги, там вряд ли когда-либо возможно правильное и успешное течение государственных дел».

— В Александровском саду, у московского Кремля, имя Томаса Мора высечено на гранитном обелиске, рядом с другими знаменитыми именами, — напомнил кто-то из рядовых матросов, услышав рассказ гида о печальной судьбе великого человека.

С содроганием осмотрели мы страшные орудия пыток, словно кровью покрытые рыжей ржавчиной.

— Почему здесь так много ворон? — спросил один из наших моряков.

Гид с невозмутимым лицом ответил:

— На их содержание отпускаются деньги. С древних времен укоренилось убеждение: пока в Тауэре живут вороны — устой Англии непоколебимы.

Наши моряки старались использовать каждую минуту, чтобы побольше увидеть. Они побывали в лондонском Сити — административно-финансовом центре страны, посетили кафедральный собор святого Павла, а наиболее любопытные — и фондовую биржу, этот лукавый мир, где маклеры и спекулянты совершают финансовые сделки, ведут между собой бои, пожирая друг друга.

Видели моряки грузное, придавившее своей тяжестью землю здание Английского банка и конторы банков «большой пятерки», контролирующей большую часть капиталов Британии: «Ллойдс бэнк», «Нэйшнл энд Провиншл бэнк», «Мидлэнд бэнк», «Вестминстер бэнк», «Барклэйз бэнк», тесно связанных с миллиардерами США. Невдалеке от этих мрачных зданий расположены банкирские дома Ротшильдов и братьев Лазар — финансовые фабрики, перегоняющие кровь и пот рабочих и крестьян в золото.

Здесь же среди соборов и церквей расположены и конторы монополий, захвативших промышленность Англии: «Роял Дачшелл», первенствующая в нефтяной промышленности, «Инглиш электрик компани», хозяйничающая в электропромышленности, «Виккерс», господствующая в машиностроении, и многие другие.

Моряки гуляли на Пиккадилли, Бонд-стрит и Раджент-стрит — на самых оживленных и шумных улицах столицы. Зеркальные витрины полны товаров, но покупателей мало. Напрасно живые манекены — хорошенькие девушки, рекламирующие одежду и обувь, застывшими, усталыми улыбками приглашают войти; люди проходят мимо, слоняются часами по разукрашенным улицам, как по музею, за вход в который не берут плату.

Странное впечатление производит тихий, весь в зелени аристократический район Вестминстера. Здесь, на невзрачной улице Даунинг-стрит, в небольшом особняке под номером десять находится резиденция премьер-министра Англии.

Посетили мы также Ист-энд — восточную часть города, населенную рабочими и кустарями-надомниками.

В Ист-энде нет ни парков, ни садов. Зато здесь много барачков и невзрачных домов, в которых ютятся пролетарские семьи.

Нам пришлось побывать в одном таком доме. Спугнув стаю кошек, мы поднялись на второй этаж по ржавой железной лестнице. Дверь оказалась раскрытой, и мы увидели исхудалую женщину, стирающую горы белья, и у ног ее полдюжины детей, играющих на грязном полу тряпичными куклами.

Дом скрипел, как деревянный корабль в непогоду. Он был весь завешан сушившимся бельем, хлопающим, словно паруса.

В 1902 году этот район описал Джек Лондон в своей книге «Люди бездны». С тех пор прошло полвека. И пусть лондонцы — патриоты своего города — не обижаются на нас, если для характеристики Ист-энда мы процитируем Джека Лондона.

«С заплыванного тротуара, — писал Лондон о двух безработных, оказавшихся его спутниками на лондонских мостовых, — они подбирали апельсинные корки, яблочные очистки, объединенные виноградные веточки и с жадностью отправляли в рот; сливовые косточки они разгрызали и съедали ядрышки. Они поднимали хлебные крошки ве-

личной с горошину и яблочные сердцевинки, настолько черные и грязные, что трудно было определить, что это такое. Эти отбросы они клали в рот, жевали и глотали. И все это происходило... в сердце самой великой, самой богатой, самой могущественной империи, которая когда-либо существовала на земле».

Балтийцы ходят по улицам английской столицы, окруженные молодежью. У Букингемского дворца идет смена почетного караула. Солдаты и офицеры в старинной одежде под звуки труб шагают церемониальным маршем. Англичане, как известно, всегда бережно относились к традициям, и эта смена караулов происходит так же, как много лет назад.

У здания парламента, на берегу Темзы, где установлены орудия прошлого века, или у Британского музея, так же, как и в самом музее, завязываются знакомства, идет обмен адресами и автографами и слышится наше русское «хорошо» или английское «вери найс».

Побывали наши моряки в национальной галерее и других музеях, сохранивших образцы древней культуры Ассирии, Вавилона, Египта, Персии, Греции, Индии и Китая. Мы видели рукописи, написанные Марксом и Лениным, Шекспиром и Бернсом. Прочитали балтийцы и письмо Петра Первого к английской королеве с предложением расширить дружбу и торговлю. Затем были в гостях на крейсере «Шеффилд».

Огромные толпы гуляющих сопровождали наших моряков в Гайд-парке, Кенсингтонском саду, на мосту Ватерлоо. Кто-то говорит:

— Этот мост знаменит тем, что с него бросаются самоубийцы.

Снимки советских кораблей и советских офицеров и матросов с английскими детьми на руках украшали витрины крупнейших магазинов Лондона. Пробраться к витрине не так легко.

Слышим голос старого рабочего-докера:

— Нельзя долгое время нести огонь в одной руке, а воду в другой.

— Нам надо дружить с ними, — слышится в ответ.

И так повсюду.

Английская столица прошлой осенью отличалась хорошей, без дождей и туманов, погодой и хорошим настроением лондонцев. Теплые «женевские ветры», достигнув берегов Англии, вызвали здесь много добрых надежд.

В немалой степени этому содействовал визит советских моряков, которых повсюду встречали в высшей степени дружески.

Известный общественный деятель Англии Плэтс-Милс сказал нам, что в английском народе растет стремление к укреплению англо-советской дружбы, к широкому культурному обмену между Востоком и Западом.

Прислушиваясь к рассуждениям простых людей, нетрудно, однако, уловить и нотки тревоги. Хорошее настроение у многих англичан омрачалось сознанием, что гонка вооружения — плохая основа для «процветания», а притихшие было сторонники «холодной войны» оживают и действуют.

Переход к мирной экономической программе или гонка вооружения? — вот что волнует англичан. Естественно, что именно на эту тему заходила у нас беседа, когда мы встречались в Лондоне с представителями различных слоев населения.

Лауреат Нобелевской премии лорд Бертран Рассел, узнав о том, что мы прибыли в Англию с отрядом советских военных кораблей, охотно согласился принять нас и ответить на наши вопросы. Мы идем по Квинс-Роуд — улице Королевы. Отыскиваем дом номер сорок один. Нелегкое это, однако, дело. Развернув путеводитель по Лондону, вы увидите несколько Квинс-Роуд. Улица Королевы, где живет лорд Рассел, находится в районе Ричмонда, который в недавнем прошлом был самостоятельным городом, а сейчас стал частью Большого Лондона.

Но вот, наконец, небольшой двухэтажный дом, окруженный садом. По крутой лестнице поднимаемся на второй этаж, где находится рабочий кабинет самого известного философа современной Англии. Квадратная комната полна книг. Большое, в полстены окно, выходящее в сад, открыто. Слева горит камин. Из-за круглого стола навстречу нам поднимается невысокий худощавый человек, с седой шевелюрой и нависшими черными бровями, из-под которых смотрят молодые глаза. Мы благодарим лорда Рассела за то, что он нашел время, чтобы принять нас.

— Что вы, что вы, — говорит он, взмахивая трубкой, зажатой в кулак. — Я рад видеть в своем доме представителей московской прессы.

Передаем Бертрану Расселу привет от его московских коллег, затем мы говорим о том большом внимании, с которым было встречено на Ассамблее мира в Хельсинки послание Рассела. Конечно, ученому это интересно. Он говорит о том, что самая главная задача, стоящая сегодня перед человечеством, заключается в том, чтобы предотвратить атомную войну и тем самым ликвидировать опасность новой войны вообще.

— Каковы, по вашему мнению, перспективы движения народов за мир после того, как над Англией и над всем миром пронесся благотворный «женевский ветер»?

— Женевский ветер, — с улыбкой повторяет Рассел. — Я думаю, что после Женевы опасность войны стала меньше. Хотя многие спорные вопросы все еще не разрешены, опасность войны стала, бесспорно, меньшей. Теперь люди спят спокойнее. Они знают, что все эти спорные вопросы могут и должны быть разрешены мирным путем, и только мирным путем.

Мы говорим далее о том, что всех людей доброй воли сейчас волнует проблема сокращения вооружений, укрепления мира. Лорд Рассел, конечно, осведомлен о сокращении Советских Вооруженных Сил на 640 тысяч человек, ему также известна инициатива Советского правительства при заключении мирного договора с Австрией.

— Эти шаги Советского правительства заслуживают самой высокой оценки, — заявляет Рассел.

Наш собеседник говорит о том, что позиция ООН по ряду важнейших вопросов не содействует разрядке международной напряженности.

— Что необходимо сделать для улучшения взаимопонимания между народами Англии и СССР?

— Я думаю, — отвечает на наш вопрос Рассел, — что нам надо установить возможно больше контактов. Обмен делегациями следует поощрять. Поездки туристов должны стать обычным делом. Не менее важно нормализовать торговые отношения между нашими странами. Это — главное.

Затем разговор зашел о германском вопросе, о планах устранения опасности войны, об активизации ООН в борьбе за мир. Снова возвращаемся к вопросу о разоружении и о контроле за разоружением и т. д.

Наш собеседник не скрывал своих антикоммунистических взглядов. Мы старались, однако, вести беседу по вопросам, которые нас сближают, а не разъединяют. И мы нашли общий язык...

Выступление Ансамбля песни и пляски Балтийского флота было, пожалуй, одним из самых ярких событий визита советских военных кораблей в Англию.

И хотя в Англии церковь запрещает танцевать в праздники, концерт состоялся в воскресенье в лондонском «Эмпресс-холле», где под разноцветными лучами прожекторов искусные фигуристы на коньках разыгрывают «айс-оперетт» — ледяные оперетты. Накануне рабочие трудились всю ночь, покрыв досками двадцать тысяч квадратных футов искусственного льда.

Не было времени для расклейки афиш и напечатания программ, было сделано лишь объявление через британскую радиокорпорацию. И все же к трем часам дня зал заполнили несколько тысяч человек, десятки тысяч людей не смогли достать билетов, хотя они продавались по дорогой цене. Известный театральный антрепренер Питер Добени просил оставить ансамбль в Англии на шесть месяцев и уверял, что это поправит его дела на шесть лет.

Когда хор ансамбля запел английскую песню «Типперери», все встали и подхватили любимый мотив. Художественный руководитель ансамбля Бочарский повернулся к зрителям и дирижировал необычным хором в восемь тысяч человек.

Все номера повторялись на «бис». Наибольший успех вызвала танцевальная сюита «Вечер на рейде», старинная матросская песня «Плещут холодные волны», песня «Степь да степь кругом», вальс «Амурские волны». Солисты ансамбля Мельников, Калинин, Пелаваускас были встречены громом аплодисментов.

Известный рецензент Морис Уилтишер писал в «Дейли мейл»: «Участникам этого концерта был оказан самый горячий прием, когда-либо оказывавшийся на родине танцев на льду... Пожалуй, он был настолько горячим, что мог растопить лед».

«Артисты аплодируют зрителям» — так назвала свою обширную статью известная лондонская журналистка Элизабет Френк. Она писала:

«Какой прекрасный концерт дали эти 80 певцов, танцоров и музыкантов!

Хор пел о степях, реках, о жизни русского флота и, наконец, исполнил на английском языке «Типперери».

После концерта советские матросы поразили зрителей тем, что сами начали им аплодировать».

Толпы лондонцев, которые не смогли достать билетов, собрались у «Эмпресс-холла» и не расходились до окончания концерта.

1956 г.

В степях Казахстана

На рассвете я вылетел из Москвы на Ил-18, через четыре часа сошел в Целинограде, а минут через сорок на местном самолете отправился в Кокчетав. Легкая машина шла над зеленым океаном хлебов. Пассажиры, прильнув к окнам, с высоты любовались невиданным урожаем.

Никого из руководителей в Кокчетавском обкоме партии не оказалось.

— Все в совхозах, — сообщил дежурный. Он произнес это с такой гордостью, что слова его проввучали, как знаменитое изречение гражданской войны: «Райком закрыт, все ушли на фронт».

— Какое у вас самое дальнейшее производственное управление?

— Ну, скажем, Рузаевка, — подумав и что-то взвесив, ответил дежурный.

Рузаевка находилась между Кустанаем и Кокчетавом, на границе двух областей Целинного края.

Неутомимый обкомовский гавик помчался по асфальтовой ленте дороги. Сбоку мелькали пресные озера и березовые перелески — знакомый пейзаж, и я вспомнил, что уже бывал здесь: в прошлом году встречал в этих краях приземлившегося из космоса майора Быковского. Тогда меня поразили желтые, розовые и голубые пятна, словно антонов огонь, разгоравшиеся на матовом теле полей, — цветы многолетнего злостного сорняка осота. Теперь эти нездоровые пятна исчезли.

В Рузаевку добрался затемно. В здании парткома производственного управления светилось одно окно. Пошел на свет и в кабинете застал секретаря парткома Василия Никаноровича Загорского.

— Чем вас порадовать? — улыбнулся Загорский. — Начну с того, что урожай отменный, и нам предстоит тяжелая битва за хлеб. У нас одной только пшеницы 344 тысячи гектаров.

Зазвонил телефон. Сообщили, что завтра из Кустанаея прилетает первый секретарь Целинного крайкома партии Ф. С. Коломиец, а я подумал, что на поле боя слетаются

генералы. Затем, несмотря на поздний час, стали заходить люди, и у каждого вопрос, который немедленно следует разрешить. Просторный кабинет показался мне штабом накануне решающего сражения. Это сходство подчеркивали карты на стенах, сводки погоды, рапорты поступления горючего. Из четких ответов секретаря стало понятно: он сторонник высокоорганизованной уборки и враг всяких авралов и штурмовщины.

Загорский полюбопытствовал:

— Вы давно из Москвы?

— Сегодня, — ответил я.

— Авиация — наш друг. В арсенал целинной техники к самоходным комбайнам СК-3 и СК-4, к 225-сильным тракторам «Кировец» и широкозахватным агрегатам прибавился самолет. Есть у нас авиаторы-земледельцы. Такие, как Цыплаков... Нас душили сорняки. Мы доконали их гербицидами, и в этом здорово помогли летчики, прибывшие с Украины. Весной к нам прилетели семь «Ан-2». Применение гербицидов дало прибавку урожая по пять центнеров на гектар.

Загорский — обаятельный собеседник. Он говорил, полуприкрыв ресницами умные глаза:

— В 1956 году Родина получила с рузаевских полей тридцать три миллиона пудов зерна, в 1958 году — двадцать шесть, а в некоторые годы, даже стыдно признаваться, мы скрепя сердце засыпали в закрома страны пять — семь миллионов пудов... Процесс освоения целины далеко не закончился. Нам необходимы глубокорыхлители, плоскорезы, кольчатые катки: мы мечтаем о посевном комбайне — сеялке-культиваторе, который бы все работы от культивации, истребляющей всходы сорняков, до сева и послепосевного прикатывания проводил одновременно, при одном заезде на поле... Большинство нашего населения прошло «механизаторский всеобуч», и во время уборки мы обойдемся без дорогостоящих сезонников... В этом году «на стихию» не спишем ни одного центнера зерна. Создаем и укрепляем партийные группы в бригадах и механизированных отрядах. — С минуту Загорский молчал, собираясь с мыслями, а затем добавил: — Старожилы рассказывали, что после разгрома колчаковцев, когда переименовывали Федоровку в Рузаевку, на собрание пришло четверо уцелевших от расстрела большевиков. Теперь коммунистов у нас две тысячи да свыше трех тысяч комсомольцев. Сила!

Над горизонтом всходила огромная, в пол-окна, красная луна. Душистый ветер доносил ни с чем не сравнимый тончайший запах цветущей пшеницы. Я попросил отправить меня к хлеборобам.

Секретарь парткома назвал несколько совхозов. Остановились на «Западном». Об этом мощном совхозе и его директоре Якове Абрамовиче Тунике уже приходилось слышать много хорошего. «Волга» вырвалась за Рузаевку, по низкому понтонному мосту перебежала через стремительный, беснующийся в каменном ложе Ишим, взобралась на взгорье, на крутой левый берег, и помчалась среди пахучих полей, освещенных лунным светом.

Вскоре послышался лай собак, и мы очутились в центральной усадьбе совхоза.

Под высокими сводами чисто прибранного зернохранилища, способного вместить тысячи тонн, на деревянной сцене танцевали и пели ленинградские артисты.

После концерта мы с Туником пошли в его пустую квартиру и за крепким чаем со светлым медом, собранным пчелами с цветов донника, завязали беседу.

— Коллектив нашего совхоза взял обязательство сдать два миллиона пудов зерна, сдадим на полмиллиона больше! — столь решительным вступлением начал директор свой энергичный рассказ. — У нас сто десять семейств первооткрывателей целины, так они не хотят оставаться должниками перед народом, перед партией, перед государством. Мы в большом долгу и осенью рассчитаемся сполна сразу за три года. Мы за амбарный урожай. Не за тот, который вызреет на полях, а за тот, который засыплет в державные закрома, — говорил Туник.

— Тяжело было в прошлом году?

— Спрашиваете! Мы познали всю горькую тяжесть прошлогоднего недорода. Было пекло. Высыхала земля, раскалывалась почва, испарялись силы. На целине никто пока не испытывал голода, но жажду испытали все. Вы знаете Загорского? Это мужественный человек: я ведь знаю, он закончил десятилетку за два дня до начала войны, пошел добровольцем в пехоту, был солдатом, стал замполитрука роты, потом комсоргом батальона. В лютом бою под Прохоровкой был тяжело ранен. У него есть орден Красной Звезды. Так этот человек в прошлом году плакал над полями, спаленными суховеем. Но разве могли человеческие слезы напоить испепеленную землю?

Впрочем, не узнаешь горя, не оценишь и радости. Ни одна дождинка не упала тогда на нашу землю.

Директор поведал, как неудачи прошлых лет научили целинников. Люди поняли: сеять до истребления массовых всходов сорняков нельзя. В то же время запоздалые сроки сева неизбежно вызывают позднюю уборку, усложняемую короткой дождливой осенью. Много было рассказано интересного о борьбе за урожай. Ведь на целине с ее неустойчивым климатом и капризной природой дорог каждый день. Пшеница — основная культура на целине. Совхоз «Западный» засеял пашни лучшими сортами.

...Несколько дней мы ездили по полям.

О, какие это поля! Безбрежный океан, радующий глаз своей изумрудной чистотой, по которому бегут и бегут волны пшеницы. Скоро сюда приплывут степные корабли — комбайны. Начнется битва за хлеб.

Чем ближе жатва, тем больше овладевает тревожное беспокойство людьми. В почве достаточно влаги и фосфора — этого эликсира плодородия, дальний прогноз погоды неплохой, но впереди еще налив и созревание зерна. 200 тракторов, 136 самоходных комбайнов, 86 жаток, 120 грузовиков совхоза «Западный» готовы ринуться в бой. Правда, не хватает грузовиков, да и шоферов тоже. В прошлом году жены комбайнеров Ира Тишкова и Надя Бондаренко работали шоферами. Многие женщины, следуя их примеру, окончили курсы и будут помогать мужьям.

Пересекаем хлеба по полевым дорогам.

Разговор заходит о науке. Туник с увлечением принялся рассказывать о Шортландинском научно-исследовательском институте. Директор института член-корреспондент ВАСХНИЛ Александр Иванович Бараев и его заместитель по научной части Сергей Сергеевич Сдобников недавно приезжали в совхоз. Уважаемые люди. Институт разработал технологию обработки целинных земель, определил сроки посева разных культур и сортов.

Мы, как в воду, по горло входили в пшеницу. Что-то торжественное и величавое разливалось вокруг. Я наблюдал за Туником. Беспокойный человек обнимал колосья, вырвал желтый цветок, словно ржавчину, счистил с металла. В этом году ему стукнет шестьдесят. И кто знает, может быть, урожай текущего года станет вершиной всей его такой трудной и такой красивой жизни.

Интересной была беседа в стане шестой бригады, расположившейся в березовой роще, с группой шоферов и комбайнеров.

— Хлопцы, готовы ли вы к бою? — весело спросил директор.

— Готовы, батя, — за всех ответил черноволосый Михаил Тумар. Он мастер на все руки — и комбайнер, и тракторист, и шофер, и слесарь. То же самое можно сказать о большинстве механизаторов совхоза.

— Буду работать так, чтобы намолочивать по пятьдесят тонн зерна в сутки, — пообещал Тумар. — Надо спешить. В конце августа ударят первые заморозки.

В столовую, обсаженную мальвами и георгинами, зашел бригадир шестой бригады Григорий Филиппович Ананийчук, бывший старший сержант, восемь лет прослуживший в бомбардировочном полку. Уселись за столы комбайнеры Андрей Бондаренко, Николай Ращупкин, Александр Селищев — все бывшие солдаты.

Я прислушался, о чем говорят комбайнеры. Речь шла о наступлении общим фронтом. Каждый знал, что ему делать, как солдат перед боем, готовил себя на подвиг.

Хороши летние ночи в степях Казахстана! Слабые далекие зарницы пробегали по всему окоему. Лежа на свежем сене, под зеленоватым, со всех сторон прозрачным небом, я прислушивался к разговору механизаторов, охваченных высоким чувством товарищества и братства.

— Чего бы ты хотел за свои труды, Микола? — спросил киномеханик Владимир Вишняк.

— Хочу одного, чтобы погода не подвела, а уж мы постараемся, — ответил Николай Ильич Ращупкин.

Он сказал это от всей души...

Я как бы снова услышал вопрос директора:

— Хлопцы, готовы ли вы к бою?

И как на параде, хором произнесли сомкнувшиеся полки целинников:

— Готовы!

1964 г.

Венок

Я надеялся встретиться с Гагариным в четверг в Кремлевском Дворце съездов, где космонавт собирался выступить на Горьковском юбилее. Но вскоре увидел урну с его прахом. Стоя в почетном карауле, я вспомнил, как

год назад, когда хоронили Комарова, Юрий Алексеевич сказал:

— Меня потрясла Ольга Эразмовна Чкалова. Пришла вся в черном, положила красные гвоздики к праху Володи и заново переживала весь ужас гибели мужа.

Эти слова, наверное, можно отнести и к Валентине Ивановне Гагариной, которую горькое известие настигло в больнице.

Сплетаю поlynные строки в венок без цветов, а в ушах все еще звучат реквиемы Вагнера и Бетховена — печальная музыка о безмерном горе утраты. На стене — фотография улыбающегося Юрия Гагарина, скрепленная его автографом. На столе — кипа гранок, исправленных и подписанных им, — страницы книги «Дорога в космос».

В день исторического полета в космос редакция «Правды» решила опубликовать записки первого космонавта. Литературную запись поручили редактору военного отдела полковнику Н. Н. Денисову и мне. Гагарин находился на исследовании. Мы брали с собой стенографистку и каждый вечер приезжали к нему. Врачи лимитировали время, и мы ежедневно работали не больше часа. Вернувшись в редакцию, приводили в порядок страницы записей: они шли в набор, и утром читатели «Правды» знакомились с очередной главой.

Гагарин сразу определил жанр книги — автобиографические записки, понятные и взрослым, и школьникам.

— Это им осваивать космические дороги!

После долгих поисков автор нашел простое название — «Дорога в космос».

Вспоминая историю своего детства, Юрий Алексеевич подчеркнул, что мальчиком видел ужасы войны, познакомился со звериной жестокостью фашистов, едва не повесивших его братишку Бориса; был доволен, что разбрасывал на дорогах гвозди, прокалывавшие шины немецких машин.

В моем блокноте записана его фраза: «Характер мой создавали обстоятельства».

И в личных беседах, и на многотысячных митингах Гагарин выражался кратко и точно, ничего лишнего. Свои выступления он остро приперчивал меткими образами, характеристиками, пословицами; гордился, что родился в семье колхозника и получил воспитание в рядах рабочего класса. Он называл книги, формировавшие его характер: «Слово о полку Игореве», стихи Пушкина и Лермонтова,

«Война и мир», «Песня о Гайавате», «Овод», романы Достоевского, Гюго, Диккенса, всю серию «История молодого человека XIX века»...

Гагарин вспоминал рассказ Льва Толстого «Кавказский пленник», прочитанный в десятилетнем возрасте. Ему по душе пришелся офицер Жилин...

Стенографистка записывала:

«Алексей Мересьев — прототип героя «Повести о настоящем человеке» — посильнее полюбившихся мне героев Джека Лондона...

Вечерами мы с Валею читали книги. Лежа на койке, я читал, а Валя, занятая домашними делами, слушала. Мы брали книги в библиотеке. Нам понравилась «Земля людей» Экзюпери. Запомнилась повесть «Ночной полет». Сильно в ней описано поведение летчика, пробивающегося ночью сквозь бурю, и переживания его молодой жены. Такое случалось и с нашими летчиками, и с нашими женами».

Пробыв несколько дней на исследовании, Гагарин с семьей улетел отдыхать в Сочи. Мы последовали за ним. Поселившись на берегу моря, работали по несколько часов в сутки. Написанные страницы просматривал академик С. П. Королев, иногда вносил небольшую правку, с которой Юрий Алексеевич всегда соглашался. Он все помнил, не забывал ни одной детали. Например: «Над Африкой мелькнула мысль, что где-то там, внизу, вершина горы, воспетая Хемингуэем в его рассказе «Снега Килиманджаро».

Мы все чаще и чаще встречались с Гагариным. Он приезжал в «Правду», как к себе домой. Мы бывали у него, в небольшой уютной квартире, где было много книг и детских игрушек. Он обожал дочек Леночку и Галочку. В своих записках привел слова поэта: «Я люблю, когда в доме есть дети и когда по ночам они плачут».

Валентина Ивановна накрывала стол, Юрий Алексеевич откупоривал бутылку сухого грузинского вина. Завязывался разговор. Говорили о космосе, литературе, театре, спорте. Если приходил Алексей Леонов — спорили о живописи. Хорошо помню гагаринские высказывания:

«— «Белые ночи» — лучшее, что написано о любви.— И после небольшого раздумья: — Да еще, может быть, «Ванина Ванины»... И «Страдания молодого Вертера»... И, конечно, Пушкин. — И тут же прочел заглавную строку: «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...»

Однажды за чаем заговорили о дружбе. Гагарин заметил:

— Дружба и чай хороши, когда они крепки и не очень сладки.

Один из журналистов попытался украдкой записать понравившуюся фразу.

— Это сказал Федор Гладков. Меткие слова запомнятся на всю жизнь, — улыбаясь пояснил Гагарин.

У него была изумительная память. Он знал не только законы физики и математические формулы, но и великое множество стихов. Мог прочесть строки Тараса Шевченко и Шота Руставели. Из советских поэтов помнил строфы Есенина, Луговского, Заболоцкого...

Нас притягивала библиотека космонавта. На полках — романы Шолохова, Леонова, Федина... Книги с автографами маститых и немаститых писателей. Отправляясь на космодром или в зарубежную поездку, Юрий Алексеевич брал с собой полюбившуюся ему книгу. Он читал все написанное летчиками, на письменном столе рядом с учебниками лежали мемуары Покрышкина, Кожедуба, Курзенкова... Лет пять назад я видел у него в руках потрепанный томик Джими Коллинза — «Летчик-испытатель». Я попросил уже позабывшуюся за давностью лет книгу. Многие строки были подчеркнуты. Заключительный абзац: «Протяжный, громкий рев мотора — страшный, нарастающий, переходящий в оглушительный грохот при встрече с землей — был моей смертной песней», — подчеркнут дважды.

Одной из последних книг, прочитанных Гагариным, был научно-фантастический роман М. Кэйдина «В плену орбиты».

Юрий Алексеевич знал великое множество людей и хорошо отзывался о каждом. Он непрерывно учился и все крепче связывал себя с наукой. Он говорил, что дальнейшее освоение космоса потребует космонавтов-ученых, и ставил себе в пример Константина Петровича Феоктистова...

Он умел повиноваться. Помню, как в Гжатске, в старом бревенчатом доме Гагариных, Алексей Иванович прикрикнул на обремененного славой сына, и тот без возражений послушался отца. Он уважал детей. Я знаю восьмилетнего школьника, у которого есть фотография Гагарина с автографом: «Расти быстрее и будь хорошим человеком!»

Юрий Алексеевич Гагарин — герой нашего народа, нашего времени. Он первый из всех людей увидел из космоса Землю, как одно целое...

...Я надеялся встретиться с Гагариным в четверг. Участники Горьковского юбилея хотели услышать его в этот вечер во Дворце съездов. Открывая торжественное заседание, посвященное столетию со дня рождения Горького, К. А. Федин сообщил, что Юрий Алексеевич хотел выступить на этом торжественном собрании... И не смог. И никогда больше не выступит...

Но голос его живет и будет звучать вечно. И когда в единой книге соберут все, что написал и что сказал Гагарин, конечно же здесь будут воспроизведены и следующие строки подготовленной им, но не произнесенной речи на славном горьковском торжестве:

«...И тут, на земле, и там, в космосе, мы постоянно чувствуем на себе заботливо-требовательный и ободряющий взгляд великого Горького, слышим его вдохновенные гимны «безумству храбрых», «гордому Буревестнику», который «над тучами смеется». В душе каждого из моих товарищей космонавтов, в душе каждого из тех советских людей, кто собирает и отправляет нас в космос, живет несокрушимый дух горьковского Сокола, горьковского Буревестника, самого Горького, их «уверенность в победе»...»

В другой раз Юрий Гагарин снова возвращался к главной теме:

«...Мы убеждены... что наше сегодняшнее стремление вырваться на просторы Вселенной является органическим продолжением того великого дела нашей эпохи, которое всю жизнь утверждал Горький. Неспроста в той же «Песне о Соколе» он стремился связать с идеей «безумства храбрых» мечту о постижении человеком всех тайн мира, мечтал о том, чтоб «трепетные узоры звезд» зазвучали для нас «дивной музыкой откровения». Неспроста, прославляя революционную борьбу, он связывал с ее результатами будущее человечества, «когда люди станут любоваться друг другом, когда каждый будет как звезда перед другим!». Восхищенный первыми успехами социалистического строительства в Стране Советов, Горький уже в те годы предсказывал: «Люди полезут еще на Марс...»

Вот последние строки произнесенной гагаринской речи... Последние!

1968 г.

Зеленая молодежь

Зеленые фуражки, зеленые погоны — зеленая молодежь. Но зато какая! Герои Уссури, герои высоты Каменная...

Я много странствовал по белу свету, читал чужеземные журналы и газеты, смотрел заграничные фильмы. Сколько несусветных небылиц наплели иные заокеанские шелкоперы о наших великолепных парнях и девчатах. Они-де, кормясь отцовскими харчами, разуверились в жизни, неспособны выдвинуть из своей среды Матросовых, Космодемьянских, Смирновых... Отреклись от революционной поэзии Маяковского. Воспитываются не на «Тихом Доне» и «Как закалялась сталь», а на повестях о зато-варенной бочкотаре...

Чепуха, все эти наветы, вся эта клевета не стоит и выеденного яйца. Свидетельством тому может служить высокий подвиг Юрия Бабанского, самого молодого Героя Советского Союза, на льду Уссури показавшего, на что способен советский юноша.

Я вспоминаю Юру Бабанского, а вместе с ним и его товарищей: Виктора Турченко, Владимира Мозуля, Анатолия Петухова, Василия Каныгина, потому что их мартовский подвиг повторили в августе молодые пограничники на высоте Каменная, на советско-китайской границе в районе Жаланашколь, у Джунгарских ворот.

У многих из этих парней, как и у Бабанского, отцы воевали с фашистами, многие, как Бабанский, до призыва в армию были рабочими. Все проверяется трудом и огнем; сталь закаляют огнем, верность Родине испытывается огнем боя. О каждом участнике недавней схватки с маоистами можно написать увлекательную книгу, ибо и капитан Петр Терехенков, и лейтенант Евгений Говор, и ефрейтор Виктор Пищулев, и младший лейтенант Владимир Пучков, и солдаты призыва 1969 года — Валерий Бадин и Геннадий Бродовских, пришедшие в армию с хорошей военной начальной подготовкой, — подлинные герои нашего времени.

Я сказал Бадину:

— Вы совсем мальчик.

— Молодость не мешает быть храбрым, — ответил он и улыбнулся.

Он по глазам понял, что я знаю: эта фраза из «Войны

Займет, засядет, нас разя...
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.

Разговариваем мы в лазарете погранотряда. Володя подходит к школьной доске, повешенной на стену. Берет кусок мела и охотно, словно студент, хорошо знающий задачу, рисует схему боя, толково объясняет все, как было. Мы только что прибыли с сопки Каменная, и нам все понятно.

— На рассвете пограничный наряд — сержант Дулепов и рядовой Егоров — под пронзительным ветром, дующим из Китая, миновав Каменные ворота, дошел до погранзнака. Видят, китаец окапывается. С телефонной розетки позвонили на пост, залегли за камнями, видели, как на Каменную прокралось девять, затем восемь, затем еще двенадцать китайцев. Оказалось, ночью маоисты бесшумно зашли на нашу землю, заняли высоту Каменная и несколько сопки помельче. Вскоре прилетел вертолет. Прибыл подполковник Никитенко, быстро разобрался в обстановке, во весь голос закричал в мегафон:

— Отойдите за линию границы!..

Если бы маоисты послушались, мы отпустили бы их с миром, без выстрела. Но захватчики открыли огонь. Подполковник Никитенко несколько раз прокричал: «Хуйлай!» — «Вернитесь назад!» Но в ответ, словно взмахи косы на сенокосе, просвистели пулеметные очереди, сначала слева, затем справа, и пошло, и пошло...

Младший лейтенант Пучков, командовавший бронетранспортерами, находился на соседней заставе. Подполковник Никитенко приказал ему, не мешкая ни минуты, прибыть к месту событий. Как ветер, под аккомпанемент разгоравшейся перестрелки, неслись бронетранспортеры с двадцатью пятью пограничниками и старшим лейтенантом Владимиром Ольшевским. Когда прибыли к наблюдательному пункту, расположенному на высоте против горы Каменная, перестрелка разгорелась по всей котловине. Ольшевский с восемью солдатами спешил. Была у него пачка «Примы». Ее быстро раскурили, оставили две сигареты «на потом». Подполковник Никитенко приказал старшему лейтенанту атаковать Каменную. Чтобы перерезать пути отхода нарушителей, два бронетранспортера Пучкова послали в обход сопки слева, где атаковала группа капитана Петра Тербенкова, а один пошел справа. Рост

у Терebenкова 162 сантиметра, вес 56 килограммов, в погранучилище был чемпионом по бегу на дальние дистанции, товарищи шутили: «Теребенек — резвый, как жеребенок». Легкость и быстрота пригодились ему в бою.

Взлетела красная ракета — общий сигнал к атаке, — и он пошел вперед перебежками, с отползанием в сторону, увлекая за собой солдат — Виталия Рязанова, Николая Исачкова, Владимира Труфанова, Владимира Дедунова. И хотя Каменная не так уж высока — всего 250 метров, — идти было тяжело по ее крутым склонам, под фланкирующим огнем крупнокалиберных пулеметов, бьющих с зубчатого горного гребня с китайской территории, под разрывами гранат...

Бронетранспортеры, стрелявшие от подножия сопки, первыми очередями уничтожили гранатометчиков, вступили в единоборство с китайскими пулеметчиками.

Ефрейтор Валерий Кондаков, экономя патроны, бил из пулемета короткими очередями, одну за другой гасил огневые точки врага. Автоматчики из бойниц вели огонь по Каменной. БТР, на котором маневрировал младший лейтенант Пучков, получил несколько пробоин — из восьми колес шесть оказались поврежденными. Пучков был ранен в бедро, сам перевязал рану. Пуля попала в правую руку водителю Виктору Пищулеву. Он взялся за руль левой рукой и до конца боя маневрировал машиной. Пуля заклинила башню. Младший лейтенант Пучков пересел в другую машину и руководил экипажами бронетранспортеров по радио. Командиры машин младшие сержанты Григорий Орищенко и Александр Мурзин заняли выгодные позиции в тылу налетчиков, не давали им отойти, не подпускали к ним подкрепление, пытавшееся пробиться с китайской стороны, обстреливали высоту Каменная, пока на ее черной вершине не показались зеленые фуражки наших бойцов.

Маоисты, забравшиеся на Каменную, погибли. Понятны причины их упорства. Во время мартовских событий на Уссури я видел, как на берегу реки китайцы расстреливали своих солдат, бежавших с Уссури. Да кроме того, среди трофеев оказалось множество пистолетов, а как известно, это — оружие офицеров. По многим признакам, на высоту Каменная проникло офицерское подразделение.

На вершине Каменная сержант Николай Исачков из Краснодарского края захватил нарушителя, на себе при-

волоок его вниз. Я видел нарушителя в лазарете. Он лежал в отдельной палате, спеленатый чистыми бинтами, — маленький человек с коричневыми, полными испуга глазами. У него не нашли документов, ничего, кроме цитатника из произведений «великого кормчего». Он отказался назвать свое имя, но попросил дать ему риса.

Пограничники узнали, что маоисты из приграничных населенных пунктов выселили местных жителей и заменили их хунвэйбинами, что накануне провокации на китайский погранпост «Теректы» прибыло 500 рьяных хунвэйбинов, подкрепленных героином. Может, нарушитель один из них? А может, фотокорреспондент агентства Синьхуа? Среди трофеев мы увидели кинокамеры, фотоаппараты. Пекинские режиссеры намеревались заснять кровавую трагедию, разыгравшуюся у декоративно-красочных Каменных ворот.

Я гляжу на нарушителя и вспоминаю корейско-американскую войну 1950—1953 годов. Там я видел десятки тысяч китайских солдат — друзей моей Родины. У меня сохранилась фотокарточка китайского юноши Хуан Цигуана. Он повторил подвиг Александра Матросова. Несколько пуль продырявили его грудь, но юноша остался жив, его спасли корейские хирурги, учившиеся в Москве. На груди у него был портрет В. И. Ленина, а в подсумке лежала книга на китайском языке о подвиге летчика Мерсеева. Думаю, что миллионы таких китайцев верны социализму и, несмотря на маоистский террор, остались друзьями Советского Союза. Может быть, поэтому старик «кормчий» посылает через границу молокососов, не знающих, что если бы Советские Вооруженные Силы не разгромили немецкий фашизм и Квантунскую армию японских милитаристов, то, может быть, и не было бы народного Китая.

...Вечереет. Зеленеет закат. Зеленый цвет — цвет жизни. Я ужинаю с пограничниками и все не могу оторвать глаз от красивых молодых лиц. Зеленая, но зрелая молодежь, с зелеными погонами на полевых гимнастерках.

Наша социалистическая Родина дает молодежи все, не отказывая ей ни в чем. У нее любимый труд, интересная учеба, клубы, библиотеки, стадионы и блестящее будущее. Молодежь отвечает Отчизне, как заботливой матери, — уважением, любовью, верностью, готовностью защитить ее от любого врага.

Огни
НОВОРОССИЙСКА

Малая земля

Командование, придавая огромное значение захваченному плацдарму, непрерывно наращивало на нем силы, направив туда стрелковую дивизию и несколько бригад морской пехоты. Туда же, прорываясь через линию фронта, выходили остатки рот, не удержавшихся в Южной Озерейке.

Люди, танки и пушки переправлялись ночами. Сухари и даже воду подвозили с Большой земли. Каждый вечер из Геленджика под охраной сторожевых катеров выходила на Малую землю эскадра сейнеров и мотоботов. В фарватере движения наших судов немецкие летчики сбрасывали морские мины, прикрепленные сахаром к парашютам. Сахар таял в воде, парашют отваливался и тонул. Мотоботы рвались на минах и подвергались нападению фашистских судов в море.

Малая земля с фланга угрожала фашистам, удерживающим Новороссийск, мешала гитлеровскому флоту использовать для перевозок удобную Цемесскую бухту. Клочок земли, захваченный в тылу противника, стал ахиллесовой пятой немецкого гарнизона, находящегося в Новороссийске, надежно защищенного с фронта горами и морем.

Гитлер приказал утопить дерзких десантников в море. Разгорелась ожесточенная битва, не затухавшая ни днем ни ночью в продолжение семи месяцев. Люди надежно зарылись в землю и почти не несли потерь.

Бой шел на море, на земле и в небе. В Станичке линия фронта проходила через улицу, в одном ряду домов находились немцы, в другом — наши солдаты. Десантники были свидетелями ожесточенных воздушных схваток. Над Малой землей дрались летчики Александр Покрышкин и братья Глинки. Сто семнадцать «мессершмиттов» и «юнкерсов» упали на эту землю, сбитые нашими летчиками и зенитчиками.

Малая земля стала родиной мужества и отваги. Со всех сторон спешили туда отчаянные души, горевшие неугасимой мезтью. Тот, кто попадал на плацдарм под Ново-

российск, становился героем. Трус на этой обгорелой земле умирал от разрыва сердца, или сходил с ума, или его расстреливали по приговору трибунала. Там не было метра площади, куда бы не свалилась бомба, не упала мина или снаряд. Семь месяцев вражеские самолеты и пушки вдоль и поперек перепахивали землю, на которой не осталось ничего живого — ни зверей, ни птиц, ни деревьев, ни травы. Никого, кроме советских воинов...

Моряки с боевых кораблей просились на Малую землю, где день и ночь мела огненная метель трассирующих пуль.

Весь апрель и май фашисты атаковали, бросая в бой крупные соединения пехоты и танков. В эти дни на Малой земле под корень, будто трава, были скошены и сожжены все деревья. Каменистая земля, над которой день и ночь стояли облака дыма и пыли, почернела от пороховой копоти.

Но и на этой прокаленной на огне земле жизнь торжествовала над смертью. Там выходила дивизионная газета, выступал армейский ансамбль, из Москвы приезжал академик М. Б. Митин и читал лекции по политическим вопросам. Ничто не могло изменить привычной жизни советских людей. В боях было проявлено много массового героизма, и все до одного защитники Малой земли были награждены орденами и медалями.

Бойцы подавали заявление о приеме их в партию, командиры прикладывали к этим заявлениям боевую характеристику, укладывавшуюся в одну фразу: «Воевал на Малой земле» — то был документ, подтверждающий мужество и отвагу. Члены партии были всегда там, где всего труднее. Вступая в партию, люди с радостью брали на себя эту великую ответственность.

На Малой земле был проведен шахматный турнир. Там сочиняли стихи и музыку к ним. Песня, написанная командиром взвода автоматчиков поэтом Борисом Котляровым, до сих пор напоминает о незабываемых днях величайшего проявления человеческого духа.

Нам она и очаг и отчизна,
Нам она и любовь и семья,
Небывалой живущая жизнью,
Наша Малая чудо-земля.

Жизнь на Малой земле была суровой. Ежедневно с утра, со стороны моря, несколькими волнами, тяжело за-

ывая в воздухе, надвигались вражеские бомбардировщики и с небольшими перерывами, во время которых была фашистская артиллерия, сбрасывали бомбы. Обед бойцам приносили в термосах холодным, когда начинало темнеть, да и то не всегда. Не было воды, чтобы умыться. За малейшую ошибку расплачивались ранением, а то и жизнью. Спали в траншеях и землянках настороженно, не раздеваясь, не снимая сапог, ежечасно просыпаясь от выстрелов.

На Малую землю приезжал герой Одессы и Севастополя генерал Иван Ефимович Петров. Он часами разговаривал с рядовыми матросами и солдатами, стараясь дознаться у них о причинах неудачи десанта в Южную Озерейку, чтобы не повторить их при штурме Новороссийска.

— Не было достаточной артиллерийской поддержки... Корабли, сопровождавшие десант, постреляли, да и ушли на базу... Получился разрыв между огневым налетом и высадкой пехоты, — говорили ему матросы.

Больше половины работников политотдела 18-й армии жили с войсками на Малой земле. Начальник политотдела армии — полковник Леонид Ильич Брежнев сорок раз приплывал на Малую землю, а это было опасно, так как некоторые суда в пути подрывались на минах или гибли от прямых попаданий снарядов и авиационных бомб. Однажды сейнер, на котором плыл Брежнев, напоролся на мину, полковника выбросило в море, и там его в бессознательном состоянии подобрала матросы. Брежнев был любимцем солдат. Он знал их настроения и думы, умел вовремя пошутить, зажечь их жаждой подвига. Десантники знали его в лицо, в шуме и грохоте боя умели отличить его властный, спокойный голос.

Как-то перед атакой он говорил бойцам:

— Советского человека можно убить, но победить его нельзя.

Работники «Знамени Родины» тоже находились на Малой земле. Мой участок был самый опасный, в Станичке, и я семь месяцев прожил в землянке, через улицу от фашистов. В этой землянке я умудрился написать повесть «Повинуясь законам отечества». Это было все мое богатство и, чтобы не растерять его, я носил исписанные листки за пазухой.

Я полюбил Малую землю и ее людей. Что ни человек, то своя судьба, свои склонности, привычки, волнения и тревоги — любовь к Родине роднит их, как братьев.

В сентябре начался беспремерный штурм Новороссийска. По шоссе атаковала 318-я стрелковая дивизия полковника Вруцкого, но ее задерживала Сахарная голова — гора, прозванная Кривавой. Она стояла, как крепость. С нее простреливалась каждая лошадка и бугорок.

Пять суток, не затихая ни на один час, продолжался неистовый штурм города, потонувшего в дыму сражения, словно в тумане. Усилия десятков тысяч здоровых и сильных людей направлялись на то, чтобы разрушить бетонные укрепления, порвать колючую проволоку, опутавшую кварталы, убить как можно больше врагов, ожесточенно сопротивлявшихся в укрытиях. Командование, помня о Южной Озерейке, добилось такого соотношения, что на каждые десять атакующих солдат была одна пушка и миномет, и стреляли они без перерыва весь день.

55-я гвардейская Иркутская дивизия генерала Аршинцева вначале обошла, а потом и овладела ключом позиции — Сахарной головой. Советские артиллеристы получили возможность простреливать все дороги, ведущие в город. Солдаты полковника Вруцкого штурмом овладели цементным заводом «Пролетарий» и пригородом Мефодиевкой, угрожая ударом во фланг отрезать и затем, соединившись с частями на Малой земле, окружить город.

Десантная бригада полковника Поталова, снятая с Малой земли, и десантные полки подполковников Каданчика и Пискарева, а также батальон морской пехоты капитан-лейтенанта Ботылева прошли развороченный торпедами мол. В узком рваном проходе стояла высокая стена огня, воды и осколков, поднятая разрывами немецкого заградительного огня. Катера, словно сквозь дождь, прошли через нее и ворвались в Цемесскую бухту, десантники высадились на пирсах и повели бой. Потери при высадке и развертывании на берегу оказались значительно меньшими, чем ожидалось.

Прорыв военных кораблей в Цемесскую бухту, осуществленный моряками контр-адмирала Холостякова, при поддержке летчиков генералов Вершинина и Ермаченко, принадлежит к лучшим операциям, проведенным советским флотом в дни Великой Отечественной войны. Горящие сторожевые катера полным ходом подходили к берегу и высаживали морскую пехоту, которая тут же вступала в бой с танками 17-й немецкой армии. В этом сражении отличились корабли капитан-лейтенанта Силягина, которому правительство присвоило звание Героя Советско-

го Союза. Это высокое звание было присвоено также Каданчику, Куникову, Ботылеву и Пискареву.

Среди развалин города, не умолкая ни на минуту, трещала барабанная дробь автоматных выстрелов, бухали короткие хлопки гранатных разрывов. В облаках цементной пыли и дыма шел рукопашный бой.

В ночь на 16 сентября подразделения Малой земли прорвали фашистскую оборону и начали загибать вправо, стремясь соединиться с частями, наступающими со стороны Мефодиевки. Первыми встретились корреспонденты «Знамя Родины» Иван Семиохин, шедший с Малой земли, и Борис Милявский, находившийся с войсками, наступавшими из города, куда он высадился с десантом подполковника Пискарева.

Были разгромлены 73-я пехотная дивизия, 4-я и 101-я горнострелковые дивизии фашистов. Противник, оставив в заслоне батальоны смертников, начал отступать к Керченскому проливу и переправляться в Крым.

После пяти суток непрерывного штурма природная крепость — Новороссийск — была освобождена, и в этой победе огромную роль сыграла Малая земля, десантники которой нанесли противнику в решающий момент сокрушающий удар с тыла.

1948 г.

Огни Новороссийска

Это было в памятном сорок третьем... Несколько месяцев просидел красноармеец Иван Квасоля в одном окопе. Всю землю впереди, по бокам и сзади него, вдоль и поперек перепахали снаряды. Тысячекилограммовая бомба, упавшая рядом, засыпала все кругом глиной, похоронила под собой редкую зелень. Бесперывные разрывы мин и пулеметные очереди помяли и скосили нежные кусты винограда, превратили их в жалкий поломанный валежник.

Место, где Квасоля выкопал себе окоп, углубив для этого бомбовую воронку, было когда-то виноградным полем, на нем трудились люди, пели песни, лакомились сочными гроздьями винограда. Если посмотреть из окопа влево, видны белые камни — развалины винодельческого совхоза. Немцы ежедневно обстреливают эти камни, и от них подымается кверху белое, удушливое облачко пыли.

Сколько ни всматривался Квасоля в окружавший его

пейзаж, все было однообразным и желтым. Ни одной травинки, ни одного листка, никаких признаков жизни, даже муравьи перестали ползать по лиловой, опаленной жаром разрывов земле.

— Пустыня, — может быть, в тысячный раз вздыхал Иван.

— Чудак, — тоже, наверное, в тысячный раз говорил ему его товарищ по окопу татарин Байязитов. — Пустыня свою красоту имеет, над ней орлы в зените висят, а здесь даже птицы не увидишь. Разлетелись: боятся выстрелов.

— Значит, говоришь, местность хуже пустыни. Пожалуй, твоя правда, — соглашался Квасоля. — Вот что враги делают с природой. Раньше для меня земля запах имела — разотру в пальцах щепотку, понюхаю и сразу на душе веселей, а сейчас потерял обоняние. Все пахнет кровью... Тяжело на душе, и только когда вижу убитого фашиста, становится легче.

Они жили в одном из разбросанных на взгорье окопов уже полгода. Темными ночами вылезали из своей ямы и ползком пробирались в лощину, находившуюся невдалеке, чтобы выпрямиться, размять отекшие ноги. Каждый день снаряды все больше разворачивали почву, и нельзя уже было понять, чего здесь больше — ржавых осколков или земли.

Наступил август. Днем нестерпимо пекло солнце, ночью жалили комары и мошки. В единственном ручье, протекавшем в лощине, иссякала вода, и он вскоре совсем пересох, и земля на дне его потрескалась от жары. А перед окопом метров за двадцать, на солнцепеке лежало пять оккупантов, убитых Квасолей. Трупы разлагались, отравляя воздух зловонием, мешали жить. О, если бы можно было их убрать, засыпать землей. У Квасоли кружилась голова, и тошнота подступала к горлу. Но когда немцы под покровом ночной темноты пытались унести трупы, он открыл стрельбу, уложил двоих; они на второй день необыкновенно вздулись, источая смрад, еще больше отравлявший густой и горячий воздух.

Так жили они вдвоем в одном окопе неделю, месяц, полгода.

Фашисты притаились невдалеке в своих траншеях. За ними приходилось следить неотрывно. Квасоля стрелял при каждом удобном случае. У него были свои непоплаченные счета с ними. Из освобожденной зимой деревни ему написали о повешенной матери, о позоре жены,

о гибели пятилетней дочки. Письмо носил с собой и ежедневно перечитывал, чувствуя каждый раз острую боль, словно в сердце поворачивали нож.

У себя в колхозе он был признанный силач: копну ячменя за один раз поднимал на вилы, и ему хотелось со всей накопленной и нерастраченной за долгие месяцы силой обрушиться на врагов, крошить их, убивать как можно больше. Правда, он стрелял в них, и выстрелы эти успокаивали его, но разве нужна для выстрела сила?

С каким удовольствием он трудился бы сейчас в степи от зари до зари, делал бы самую тяжелую, черную работу. Он согласен опуститься в шахту, добывать уголь, ломать камни, рубить лес. Квасоля потянулся в окопе, так что затрещали кости.

— Кажется, отдал бы полжизни за то, чтобы пройти километр, размять одубевшие ноги, — сказал он, тронув товарища за худенькое плечо.

Байязитов улыбнулся. Оказывается, сидеть на месте труднее, чем делать стокилометровые марши.

Впереди упала мина, оглушительно хлопнула. Квасоля выглянул из окопа и ахнул. На глиняном бруствере их окопа, на тоненьком стебельке колыхался цветок мака, неизвестно когда выросший здесь. Хрупкий, бессильный цветок вызвал в памяти Квасоли радостные воспоминания мирной жизни. Вишневый сад. Он идет по песчаной дорожке с дочкой на руках, потом сажает ее на качели и легонько раскачивает. Жена зовет их на веранду пить чай с вареньем из крыжовника, и они вдвоем наперегонки бегут домой.

— Девочка у меня. — Квасоля заскрипел зубами. — Пять лет ей было бы теперь, мать ей красное платьице сшила, я ее на руках носил, аленьким цветочком звал. И вот не пощадили гады, убили... Что она им сделала?

Байязитов вздохнул. У него тоже есть дочка, учится в школе, но увидит ли он ее, вернется ли он к своей семье, в родной колхоз? Он был конюхом, гонял на пастбища табун лошадей, объезжал непокорных жеребцов. Но судьба его, природного наездника, забросила не в кавалерию, а в пехоту.

— Вот ты говоришь — землю у себя дома нюхал, а знаешь ли ты, как пахнет лошадь после бешеной скачки?

— Лошадь... Люблю лошадей. У нас в колхозе была конеферма, лучшая в районе. — И Квасоля стал рассказывать о своем колхозе, расположенном на берегу Донца.

— Да, хорошая была жизнь, — согласился татарин.

— После войны должна быть еще лучше. Ведь мы вернемся и будем работать так, что руки будут гореть.

Цветок украшал тяжелую жизнь двух породнившихся в окопе бойцов. Во время обстрелов они накрывали его железной каской, а когда огонь прекращался, снимали каску, чтобы алые лепестки не жилились под солнечными лучами.

Ночью к ним приползал молоденький старшина, приносил в зеленом термосе остывший обед и флягу мутной воды — двоим на сутки. Днем мучила нестерпимая жажда, хуже той, которая дожимала их на маршах, когда они шли по пыльным шляхам Украины, делая по пятьдесят километров в невыносимую жару. Воду пили глотками три раза в день, но теперь товарищи оставляли несколько глотков воды и вечером поливали цветок. Как-то к маку подлетела бабочка, первая за полгода, и, порхая над окопом, так же как цветок, напомнила о детях.

Однажды на рассвете Байязитов высунулся из окопа.

— Понюхаю, как цветок пахнет, — успел проговорить оп.

— Да ведь маки не пахнут, — хотел сказать Квасоля, не успев: свистнула пуля, и татарин, вскрикнув на певучем своем языке, свалился на дно окопа.

— Ты ранен? — испуганно спросил Квасоля, поворачивая его лицом к себе. Байязитов был убит наповал. Квасоля долго смотрел в покрывшееся восковой желтизной окровавленное лицо и вдруг с ужасом понял. После гибели семьи у него не было никого, кроме этого преданного ему человека, делившего с ним все тяготы и невзгоды фронтовой жизни. И вот и этого молчаливого друга отняли у него фашисты. Не вернется в далекий край к седой матери ее ненаглядный сын. Напрасно она будет ждать его возвращения. И дети не дождутся своего отца и кормильца. Ненависть переполнила Квасолю.

Он остался один в окопе со своим цветком, и цветок стал ему еще дороже. И странное дело, его так же, как Байязитова, тянуло к цветку, хотелось понюхать его, прижаться к шелковым лепесткам воспаленными, обметанными лихорадкой губами.

Ночью он вынес и закопал тело своего друга в лощине, в неглубокой солдатской могиле, насыпал над ним небольшой холмик земли и вдруг упал на него и зарыдал. Впервые за время войны рыдания потрясли его здо-

ровое, могучее тело, он оплакивал сразу все — разоренную землю, убитую дочку, жену. Слезы уносили из души его боль.

В полночь приполз старшина, принес воду и передал приказ: на рассвете, после того как в сторону противника взлетят три красные ракеты, подниматься и стремительно атаковать позиции немцев.

Как всегда перед боем, Квасоля не спал. Видения прожитой жизни сменялись одно за другим. Вот с полными ведрами на коромысле навстречу идет красавица жена. Косы ее собраны в корону, и в ней, словно золотые шпильки, торчат соломинки — она уже успела вытопить печь соломой. Вот в прикрепленной к потолку колыбели, в которой когда-то мать качала его, лежит его дочка, играя румяным, подвязанным на уровне лица яблоком. Вот начальник политотдела вручает ему партбилет и, поздравляя, говорит: «Будьте во всем, как Ленин». «Во всем — это значит и в бою», — думает Квасоля. Он старается еще вспомнить что-нибудь. Мучительно хочется пить, напрягает память. Квасоля вспомнил, что у него двойная порция воды и он сможет завтра провести день, не мучаясь от жажды, и пить не три раза в день, как они делали с Байязитовым, а сколько угодно.

— Нет, это нехорошо — пить воду убитого, — решает он и, протянув руку, выливает половину фляги на цветок.

Через несколько минут в голову приходит мысль, что и его могут убить во время атаки, и его порция воды пропадет без пользы. Он вторично протянул руку к цветку и вылил на него остатки влаги, оставив на дне фляги несколько глотков на всякий случай.

Время тянется медленно. Красивые и чистые видения сменяются тяжелыми воспоминаниями. Они жгут сердце, требуют мести. Скорей бы сигнал — в атаку!

Надо чем-то заняться, отвлечься, успокоить себя. Квасоля достал из вещевого мешка пахнущую ржаным хлебом пару чистого белья, переоделся. Провел шершавой рукой по колючей щеке, подумал, что хорошо бы перед боем побриться, но в темноте этого не сделаешь.

Вдруг небо прорезает ослепительная ракета и, будто надломившись, падает вниз. Наши сразу же открывают минометный огонь по переднему краю. Гитлеровцы отвечают. Шуршат в воздухе мины, словно стаи пролетающих уток. Едкий дым затрудняет дыхание. Сухая зем-

ля сыплется на лицо и шею. Вторая ракета, роняя огненные перья, летит над землей, словно жар-птица, осветив повисшего на колючей проволоке убитого. Трещат пулеметы. Рассыпая расплавленные брызги, взлетает третья ракета. Пора идти в атаку.

Квасоля видит: никто не поднимается с соседних окопов и чувствует, как холодный ужас прижимает его к сырой стене глиняной ямы. Ему становится страшно, он протягивает руку к каске, которой накрыт стебелек мака, поспешно надевает каску на голову и при вспышке ракеты видит, как проворная немецкая пуля срезает головку цветка.

Квасоля поднялся из окопа, перехватил винтовку из левой руки в правую и шагнул вперед.

— За мной, товарищи, пошли, пошли, — закричал он и, не думая о том, пойдут за ним или нет, не спеша, экономя на бегу силы, бросился в сторону врага, на минуту задержав дыхание у разложившихся трупов. По грозному топоту, заглушившему свист пуль, понял: за ним бежала вся рота, и на душе его стало радостно и светло.

Он первый вломился в траншею. Какой-то фашист выстрелил в него. Квасоля не слышал звука, но видел вспышку, он заколол врага штыком и бросил через плечо, как копну ячменя. В яростной схватке с врагом он сломал штык и раздробил приклад винтовки и затем, наслаждаясь своей силой, бил кулаками направо и налево, обливаясь своей и чужой кровью... Он мстил за Родину, за Байязитова, за жену, за дочку, за цветок, украсивший жизнь на войне.

«Украина» отошла от шумной одесской гавани и взяла курс на Севастополь. На борту Иван Николаевич Квасоля узнал, что в Севастополе корабль простоит всю ночь. А следующая ночевка — в Новороссийске.

Это и опечалило и обрадовало его. Ночевки в портах удлиняли путь, но зато появилась непредвиденная возможность побывать в Новороссийске, куда он давно собирался.

Подполковник с добрым, простодушным лицом объявил Квасоле:

— Пассажирским судам не рекомендуется ходить ночью. Вот и ночуем под боком у матушки-земли. Так оно спокойнее.

— Я очень доволен почевками в портах, — ответил Квасоля, протягивая ему жилистую загорелую руку и называя себя.

Разве знал его спутник, что значил в жизни Квасоли Новороссийск? Это счастье, что корабль на ночь бросал якорь в Цемесской бухте. Можно побывать в городе, побродить по его улицам.

Иван Николаевич закрыл глаза, и Новороссийск предстал перед ним таким, каким он видел его в последний раз, — гигантская каменоломня без единого деревца, и среди кирпичных глыб присыпанные цементной пылью трупы советских матросов и фашистских солдат. Тогда он дал слово обязательно приехать в этот город после войны.

Впервые Иван Николаевич ехал на юг отдыхать. Доктора прописали ему знаменитые мацестинские ванны, чтобы изгнать ревматизм, схваченный в окопах.

Турбоэлектроход «Украина» — многоэтажный плавучий отель — потрясал размерами и быстротой хода, удивлял зеркалами, бархатом, мебелью из орехового дерева. Переборщили лишь с музыкой. Из бесчисленных репродукторов, установленных во всех концах корабля, гремели популярные песенки и фокстроты, записанные на пластинки. Пассажиры соседних кают, поставив чемоданы, тотчас включили приемники. Квасоля вежливо постучал в стенки, окрашенные масляной краской, но ему никто не ответил. Музыка неистовствовала, и ему ничего не оставалось, как уйти от нее подальше, на корму.

За кораблем летели чайки. Красивые белые птицы с изогнутыми черными на концах крыльями, повиснув на мгновение в воздухе, с пронзительным криком бросались в пенистые волны, вытаскивая оглушенную витаминную рыбу. Сощутив глаза, Иван Николаевич долго смотрел на кромку берега со сверкающей песчаной косой, похожей на острие ножа. Он вспомнил, как поплыл с этой косы в море, когда была оставлена Одесса. На что тогда мог он надеяться? Всю ночь он провел в воде. Плыть было мучительно трудно. Крупная волна била в лицо, и горькая вода через нос попадала в горло. На рассвете, когда берег исчез из глаз, его подобрала рыбаки, бежавшие в Крым на моторном баркасе. У рыбаков вышла пресная вода, и они поили его вином, которым он никак не мог утолить жажду. Но обо всем этом он никогда никому не рассказывал и не вспоминал. Война кончилась, и люди как бы стали забывать пережитое.

Все репродукторы умолкли одновременно, как по команде: радиоузел прекратил свою работу. Иван Николаевич открыл глаза. Две девушки в расписанных цветах платьях смотрели на него и улыбались. Он улыбнулся в ответ и пошел в каюту. Ему все время, как только он ступил на корабль, хотелось быть одному, наедине со своими мыслями. Корабль покачивало. Сняв ботинки, Иван Николаевич лег на удобную койку и незаметно уснул.

Голоса, визг лебедек, звонки машинного телеграфа разбудили его. В открытый иллюминатор врывались красные лучи заката, виднелся кусок каменной стены форта — весь в осколочных дырах, словно в оспинах. Иван Николаевич торопливо оделся и вышел на нос корабля. В лицо ударил прохладный ветер. Подполковник опустил ремешок фуражки на подбородок. «Украина» входила в Севастопольскую бухту. Слева по борту как бы проплыл стоявший на якорях и бочках линкор. Матросы выстроились на палубе. Был торжественный час спуска флага. Иван Николаевич невольно стал во фронт. Подполковник улыбнулся:

— Какое-то странное состояние у меня, будто приехал в места, где прошло детство, все знакомо и так много напоминает, — задумчиво произнес подполковник. — Я ведь защищал Севастополь. Отжали нас к Херсонесскому маяку, и мы дрались там за баррикадами, сложенными из трупов убитых товарищей. Тогда даже мертвые продолжали служить.

— Вот именно, — согласился Иван Николаевич, проникаясь чувством дружбы к своему спутнику. Подполковник высказал ему его же собственные мысли.

Медленно пришвартовались к пристани. Утомленные дневным перелетом, чайки, тяжело взмахивая крыльями, улетели на ночлег к глинистым обрывам. Матросы спустили трап. Пассажиры, толпясь, сошли на пыльный берег покупать копченую ставридку с тонкой золотистой кожицей, славившуюся своим нежным вкусом. В каютах запахло рыбой. Море стало совсем черным, и противоположный берег бухты угадывался лишь по гирляндам желтых огней.

На железных башнях крейсеров запрыгали знакомые проворные огоньки азбуки Морзе. Ивану Николаевичу захотелось поделиться мыслями о войне, но он хорошо знал, что понять его сможет только фронтовик. Он шел

по кораблю, то поднимаясь, то опускаясь по бесчисленным лесенкам, в надежде отыскать подполковника. Но его нигде не было.

— Ваш товарищ сошел на берег, — сказал коридорный. — Очень уж им охота побродить по улицам. Они воевали здесь. Боюсь, как бы не опоздали к отплытию. Завсегда уже так — хочется взглянуть на землю, на которой тебя могли убить, да не убили.

Иван Николаевич поужинал в ресторане, вернулся к себе в каюту, взял в руки книгу. Но внимание рассеивалось, мысли летели прочь, и он поймал себя на том, что читал, не понимая прочитанного. Книгу пришлось отложить.

Наверху, в салоне, танцевали, где-то азартно стучали костяшками домино. Иван Николаевич поднялся в салон, постоял немножко в сторонке, посмотрел на шумную, веселую молодежь и вышел на палубу. Сел на слабо освещенную скамью так, чтобы видеть крутую лестницу трапа, — ждал возвращения подполковника.

Набережная постепенно опустела. Вот, обнявшись, отошла от перил палубы последняя пара. Время текло, и склянки на военных кораблях в бухте отбивали спокойное его течение. Спать не хотелось, Иван Николаевич сидел на скамье, слившись с тенью, отбрасываемой спасательным ботом на стену. Он видел, как гасли звезды. Короткая южная ночь окончилась, начиналось утро. Небо на востоке посерело, стало светлеть, по палубе, потягиваясь, прошел матрос, внизу настойчиво застучала машина, раздались голоса.

На берегу с плетеными корзинами в руках появились торговки ставридкой.

Иван Николаевич взглянул на набережную и обрадовался. По камням быстро шел подполковник, на ходу застегивая пуговицы белого кителя, держа в левой руке фуражку. Седеющие волосы его прилипли к вспотевшему лбу.

— Я так и думал, что вы не ложились! — крикнул подполковник, увидев Квасолю. — В таком городе трудно уснуть!

Пассажиры еще спали и не слышали, как разговаривали эти два человека, сидя на палубе.

— Дом здесь был кирпичный, угловой, на перекрестке двух улиц, дом номер тринадцать. Я лежал за пулеметом в комнате нижнего этажа. Очень хорошо помню

ковер на стене с изображением спящего часового под копной ржи и Наполеона, опершегося на ружье. Помню, на этом ковре была туфелька, шитая бисером, а в туфельке — карманные мужские часы. Они долго висели на стене, и никто из матросов не решался их взять... Фашисты нас танками вышибали из этого дома. Подъедут и палат из пушек, выбили рамы, обвалили потолки... Долго держали мы этот домишко. Убивали одних, на смену приходили другие, а выгодную позицию не сдавали. «Дом смерти» — так называли его в нашей бригаде. Он мне потом даже снился, этот дом... Ну, нашел я эту улицу и перекресток узнал — там до сих пор противотанковые ежи стоят, между ними картофель растет. А дома нет — вернее, есть, да не такой. Тот был одноэтажный, со ставнями, с палисадничком, а передо мной домина в три этажа. Думаю, ошибся, так на нем номер тринадцать. Тот номер. Хотел уже уходить и вдруг в освещенном окне угловой комнаты вижу ковер с Наполеоном. Подошел к окну, земля от волнения под ногами качается. Кричу:

— Эй, кто там, хозяйева!

Подходит к окну женщина, из-за ее плеча мужчина выглядывает.

— Разрешите, — говорю, — войти. Мои матросы этот дом защищали — вернее, не этот, а тот, что был на месте вашего. Я и ковер помню.

— Верно, мы и до войны жили здесь, — отвечает женщина, — но уже первый час ночи...

— Так ведь пароход утром уйдет, — говорю им. — Когда я теперь побываю у вас в городе.

— Да что вы?! Заходите, заходите, — позвал мужчина.

Вошел я в эту комнату, шатаюсь, как пьяный, сердце чуть из груди не выпрыгивает, глаза заслезились, будто ест их пороховым дымом, а со лба капли пота скатываются, и солоньки на вкус, как кровь.

Смотрят на меня хозяйева, дети их проснулись, сидят, рубашонки на колени натянули, слушают.

— Вот отсюда главстаршина первой статьи Афонин с гранатами под танк выбросился, — говорю я, показывая на окно, — а у двери осколком Бондаренко убило, и было ему от роду всего восемнадцать лет...

Поговорили мы душевно, рассказал я жителям квартиры, как дрались матросы в их доме.

— Все мы воевали, а теперь вот залечиваем раны, — говорит мне хозяин. — Вон какую махину отгрохали на месте развалин! Работаем. И герои теперь пошли новые, трудовые.

Иван Николаевич слушал, но думал о своем, очень похожем на рассказ подполковника.

— А женщина фотографию мою просит. «Мы ее, — говорит, — на видном месте повесим, там, где туфелька была. Пускай все знакомые знают защитника нашего дома». Но у меня, как назло, фотографии не оказалось... Ну, расцеловались, пообещали друг другу писать, и поспешил я на пароход.

Несколько минут помолчали.

— Ну а теперь на боковую, — предложил подполковник.

И спутники, довольные друг другом, разошлись по каютам.

Спали долго. Ведь нигде так хорошо не спится, как на пароходе. Иван Николаевич проснулся в конце дня, принял горячую ванну, пообедал, поднялся на нос корабля. «Украина» шла полным ходом, словно вспахивая море. По левому борту виднелись невысокие горы. Подполковник стоял, облокотившись на перила.

Вдали, на берегу, показались беленькие домики величиной со спичечную коробку.

— Скажите, это не Южная Озерейка? — спросил Иван Николаевич подполковника.

— Озерейку миновали. Перед нами совхоз «Мысхако».

— Как «Мысхако»? Значит, это Малая земля? А вот та высота — гора Калдун? — Иван Николаевич не мог скрыть волнения.

— Совершенно верно.

На капитанском мостике появился толстяк — капитан корабля, рядом с ним белокурая девушка. Девушка поднесла к глазам бинокль и пристально глядела на Малую землю. Капитан, жестикулируя, что-то ей объяснял.

На палубу поднимались пассажиры, смотрели на далекий берег, увенчанный цепью лиловых гор.

— Идем на новороссийские створы. Сейчас за Суджукской косой повернем, и мы в Цемесской бухте, — сказал подполковник.

Корабль стал резко забирать влево, и перед взорами

пассажиров показался подернутый сумеречной дымкой Новороссийск. Сколько раз за тысячи километров Иван Николаевич видел этот город! Он окидывал теперь его жадным взглядом. Непривычно дымили трубы цементных заводов. Свыше года эти заводы были ареной ожесточенной битвы, там все взорвали и развалили. На голой вершине Сахарной головы, где во время войны вспыхивали огни выстрелов и взрывов, зажегся, как первая звезда, мирный электрический фонарь. Прошли ворота мола, запирающего вход в бухту. Толстая железобетонная стена его была проломлена в нескольких местах — следы страшных торпедных ударов.

По бухте сновало множество мелких судов. Под парусами возвращались к берегу рыбацьи лодки. У пристани спокойно стоял осыпанный огнями теплоход «Победа».

Город, который Иван Николаевич освобождал и видел мертвым, ожил и вырос без него.

Корабль подходил к пирсу элеваторной пристани, с кормы и носа бросили концы. На берегу среди ящиков, тюков и бочек стояла толпа встречающих. Люди приветственно махали руками, узнавая близких.

Расталкивая пассажиров, Иван Николаевич пробрался к выходу. Корабль приставал медленно. Не спеша опустили трап. Квасоля решительным шагом сошел на берег, усилием воли сдерживая подступившие к горлу слезы. Раздувшиеся ноздри его, привыкшие к влажному воздуху моря, ощутили знакомый, но уже давно позабытый запах Новороссийска — запах сухой цементной пыли. Он несколько раз всей грудью вдохнул этот воздух.

Город неудержимо тянул к себе, и, ступив на его нагретые солнцем камни, он попал в плен волнующих воспоминаний, как бы все заново переживая. Квасоля обогнул бухту. Перейдя у холодильника подъездные пути, которые когда-то перебегал, согнувшись под осколками, он повернул в тихий, заросший акациями переулок, вспомнил, как лежал здесь на тротуаре, и ему захотелось снова прижаться к этим камням.

С упрямой настойчивостью он шел по улицам, узнавая дома со следами военных бурь, бушевавших в городе. Вот серое здание, в приказах советского командования носившее условное название «Дом с орлом». Сколько снарядов выпустили в него артиллеристы — страшно по-

думать. А дом уцелел, его отстроили заново. Он сейчас сияет всеми освещенными окнами.

На площади Иван Николаевич увидел белые обелиски. Он снял шляпу и приблизился к могилам, вдыхая тонкий запах ночных фиалок. Уже совсем стемнело. Как ни напрягал он свое острое зрение, не мог прочесть длинные ряды надписей, нанесенных на обелиске с четырех сторон. Многих из тех, что лежали здесь, под белыми камнями, он знал в лицо. Здесь похоронен его друг Байязитов, Сипягин, Каданчик...

Если бы можно было положить на их могилы букеты цветов! Но цветов никто не продавал, и Иван Николаевич пошел в Станичку по направлению к Малой земле.

Он ожидал увидеть разрушенную школу, разрытые снарядами глиняные траншеи, обгоревшие кольца со спутанной колючей проволокой, широкие бомбовые воронки, залитые позеленевшей водой. Но ничего этого не оказалось. На Малой земле, где снаряды перепахали всю почву и выкорчевали деревья, разросся густыми кустами виноград. Лозы опирались на деревянные тычки, еле поддерживавшие тяжелые гроздья. Виноград издавал непередаваемо нежный сладостный аромат.

По узенькой тропинке, протоптанной среди виноградных лоз, Квасоля поспешил к горе Колдун. Ее черный конус резко выступал на фоне посветлевшего от звезд неба. Неизбывная тоска по памятным местам гнала его вперед. В ночной тишине слышался шорох падающих на землю переспелых ягод: кап, кап! Так падают после грозы тяжелые капли дождя с деревьев. Он сорвал гроздь, ягоды лежали одна к одной, будто зерна на початке кукурузы. Виноград перезрел. «Почему его не убирают?»

Петляя, тропинка уводила путника на невысокий холм. Что-то до боли знакомое было на холме. Поднявшись на его вершину, Иван Николаевич увидел белые здания совхоза, а повернувшись к морю, — квадраты капониров береговой обороны. В войну в них помещался штаб корпуса.

— Где-то вот здесь был мой окоп, — прошептал Иван Николаевич.

Здесь он воевал шесть месяцев. В этом окопе убило его друга Байязитова...

Но сколько он ни искал, окопа не было. Чьи-то хозяйские руки засыпали его, распахали землю, обильно политую кровью, засадили виноградником.

Ничто здесь не напоминает о войне. Совхоз «Мысхако» изготавливает вино отличнейшей марки — «Малая земля». Квасоля пил это вино. Малая земля! Эти два слова может понять только тот, кто побывал здесь во время войны.

Поднявшийся ветерок донес до слуха Ивана Николаевича обрывки песни. Он прислушался:

Нам она и очаг и отчина...

Слова эти написали и пели на Малой земле. Он всмотрелся в синюю темноту, увидел светлые пятна, подумал: «Должно быть, косынки». Там находились люди, и он пошел к ним, и чем ближе подходил, тем громче становилась знакомая песня.

Женщины убирали виноград. Одни ножами срезали кисти и укладывали их в плетеные корзины, другие носили корзины к совхозу.

— Что это вы полуночничаете, или вам дня мало? — спросил Иван Николаевич.

— Не хватает у нас рабочих рук. А урожай не ждет, сыплются ягоды. Вот и поспеваем, — ответила молодая женщина, вытирая ладонью вспотевший лоб.

Голос женщины, чем-то напоминавший голос его погибшей жены, всколыхнул всю душу Квасоли. Совсем некстати вспомнилась книга иностранного писателя. Герой книги молодой, здоровенный парень после войны вот так же, как и Квасоля, приезжает на место боя, находит свой окоп, раскисает от воспоминаний и пускает себе пулю в рот.

«Дурак и бездельник. Если бы он работал, такая блажь не пришла бы в голову», — про себя выругал Квасоля героя романа и громко сказал:

— Ну что ж, девчата, давайте помогу, — поставил себе на плечо огромную корзину и потащил ее к совхозу. Корзина оказалась тяжелой, сердце его учащенно забилося, но он пошел крупными шагами, не чувствуя усталости, жадно вдыхая запах знакомой земли, любуясь огнями Новороссийска.

Квасоля работал несколько часов, но какое-то досадное чувство нет-нет да и шевельнется в груди. «Пора на пристань. На пароходе чемодан с бельем и книгами, в кармане билет и путевка в санаторий».

На рассвете, когда исчезли кружевные тени от листьев, женщина-бригадир, поразившая его своим голосом, сказала:

— Ну а теперь — шабаш! Можно и зоревать.

Женщины сложили ножи и корзины и, вымыв в роднике руки, друг за дружкой пошли по тропинке. Иван Николаевич шел последним, рядом с бригадиром, поглядывая на ее обветренное, простодушное, приветливое лицо. Мягким грудным голосом женщина рассказывала, как во время десанта в Новороссийск на пирсе элеваторной пристани убили ее мужа.

— Прямое попадание мины, — говорила она, стараясь быть спокойной, сохраняя большую душевную силу.

Поднялись на вершину холма. Открылось море. По темно-синим волнам скользил белый корабль. Квасоля взглянул на него с чувством облегчения, обрадованно сказал:

— «Украина»... Хорошо, что ушла. Теперь я смогу побыть с вами на этой чудесной земле еще деньков пять — до следующего парохода.

1943—1953 гг.

Десант в Крым

Ночью подполковник Верховский вызвал всех литературных работников «Знамени Родины» к себе на квартиру.

— Все подготовлено к форсированию Керченского пролива. Кто хочет добровольно отправиться в десант? — спросил он, по обыкновению нахмурившись.

Почему-то в редакции все были уверены, что в десант должен отправиться я. Вопрос редактора менял положение. Наступила продолжительная пауза. Я поднялся и сказал:

— Между собой мы уже решили, что еду я.

Утром с работником редакции майором Семюхиным уехал в Тамань, в 318-ю Новороссийскую дивизию. Она должна была первой форсировать пролив. Приехали в дивизию к началу митинга. В Таманском яру находился полк, имевший уже опыт десантной высадки в Новороссийской бухте. Я бывал в этом полку, когда им командовал подполковник Сергей Каданчик.

Полк выстроился в каре. На правом фланге — приданный ему отдельный батальон морской пехоты капитана Николая Белякова.

После митинга, на котором торжественно была принята клятва Родине, все вернулись на свои квартиры, но через два часа стало известно, что из-за сильного ветра операция откладывается.

Ночевал я с Ваней Семиохиным в семье Поповых. Гостеприимная хозяйка Александра Максимовна угощала нас немецким эрзац-кофе и плоскими пирогами с тыквой — чисто украинским кушаньем.

Ваня, не скрывая своего восхищения, смотрел на красивую Галочку, дочь Александры Максимовны, и искренне удивлялся, как гитлеровцы не увезли ее с собой. Оказывается, несколько девушек пряталось во дворе в яме, накрытой стогом соломы. Они жили там свыше месяца, по ночам получая еду и воду. Все это осложнялось тем, что в доме квартировал какой-то большой начальник. Сидя в яме, девушки слышали, как во двор заходили солдаты, как за каменным забором по узкоколейке проходили эшелоны, в которых фашисты увозили русских невольниц, слышали их плач и крики.

В день бегства оккупантов Галочка услышала причитания матери. В соседних дворах гитлеровцы поджигали стога соломы. Надо было иметь недевичье мужество, чтобы, узнав это, оставаться в яме.

Как только стемнело, хозяйка ушла ночевать в блиндаж, построенный гитлеровцами у них во дворе. Каждую ночь, несмотря на холод, они уходили туда. Бабушка уснула на своем обычном месте — под столом, уверенная, что там она в полной безопасности от снарядов и бомб.

Мы с Ваней легли «валетом» на чистую мягкую постель, но долго не могли заснуть. Через каждые десять минут с Керченского полуострова прилетал тяжелый снаряд. Снаряды рвались между портом и церковью — недалеко от нашего дома. Один упал на улице, два во дворе, осыпав крышу и стены дома осколками.

Утром я пошел на берег. Ветер гнал по морю белогривые волны. У пристани из воды торчали пулеметы затонувшего сторожевого катера, труба какого-то сейнера. Несколько мотоботов, выброшенных на берег волнами, напоминали огромных мертвых рыб.

Освещенный солнцем Крым хорошо виден. Гитлеровцы вели пристрелку песчаных отмелей на своем берегу. Ветер

валил с ног. Пуститься в такую погоду через пролив — безумие. Операцию вновь отложили. Так продолжалось несколько суток.

Лермонтов — мой любимый писатель. «Тамань» — один из лучших его рассказов, и я бродил по лермонтовским местам. На обрывистом берегу, где прыгала лермонтовская Ундина, тридцать первого октября я встретил командующего — генерала армии И. Е. Петрова. Около часа, не отрываясь, смотрел он на море. Лицо его покраснело от ветра. Море бушевало еще сильнее. Темнота наступила раньше обычного. Я думал, что ждать дальше нельзя и, несмотря на непогоду, командующий отдаст приказ форсировать пролив. Отправился к командиру морского батальона капитану Белякову. Батальон стоял, выстроившись во дворе школы, готовый к погрузке на суда.

Совсем стемнело, когда мы спустились к пристани. Наш батальон грузился первым. Я решил отправиться с Беляковым и прыгнул в мотобот, в котором он должен был плыть. В мотоботе уже сидели автоматчики и связисты; на носу стояла 45-миллиметровая пушка и станковый пулемет. Мотобот мог взять сорок пять человек, но в самый последний момент нам добавили еще пятнадцать. Я оглядел тех, с кем меня сейчас соединила судьба: все это русские моряки, каждый готов умереть за Родину.

В двенадцатом часу ночи отчалили от пристани. Мотобот был явно перегружен. Когда кто-то из рядовых попытался пройти по борту, возмущенный старшина крикнул:

— Эй, ты, осторожнее ходи, мотобот перевернешь!

Наша эскадра вышла в море. В ушах долго звучали напутственные возгласы товарищей, оставшихся на берегу:

— Счастливого плавания!

Накрывшись плащ-палатками, с мешками за плечами, в которых лежали патроны и неприкосновенный запас пищи, бойцы сидели в мотоботах, буксируемых бронекатерами, а также на гребных баркасах и даже на плотках, поставленных на пустые железные бочки. Дул сильный ветер, было холодно, и люди старались не шевелиться, чтобы сохранить в стеганках и шинелях тепло. Рядом со мной сидел связной — двадцатилетний паренек из Сталинграда Ваня Сидоренко.

Как только вышли в море, запахло спиртом. Матросы стали прикладываться к неприкосновенному запасу.

— Хлебнем! — предложил Сидоренко, отвинчивая крышку фляги.

— Но ведь водка пригодится на том берегу.

— А вдруг нас побьют раньше, чем доберемся до того берега. Пропадет напиток.

Довод показался резонным, и мы сделали по несколько глотков.

Миновали красный и зеленый огоньки на песчаном острове Тузле и резко повернули на запад. Волны, ударяя в борт, начали заливать мотобот. Принялись вычерпывать шапками и котелками. Все дрожали от холода, были мокры с головы до ног.

У берега, занятого неприятелем, по небу и морю шарили прожекторы. Очевидно, фашистов донимали наши ночные самолеты, и они ждали десант. Вдруг в кромешной тьме раздались один за другим три ярких взрыва: три катера напоролись на морские мины. Кто-то крикнул:

— Осторожно, идем через минное поле!..

Мы продолжали двигаться вперед. Несколько раз поглядывал я на часы. Время тянулось медленно. Никто не разговаривал, в голове была одна мысль: скорей бы начался бой.

Без четверти пять лучи прожекторов, до того лениво пробегавшие по волнам, осветили наши суда, задержались на нас. Я увидел десятки катеров и мотоботов, идущих рядом. Свет слепил глаза. Десант обнаружен!

В этот момент вдали, потрясая небо и море, грянул страшный гром. На неприятельском берегу полыхали клубы огня. Это началась артиллерийская подготовка. Наши тяжелые пушки с Таманского полуострова били по береговым укреплениям фашистов. Снаряды, нагнетая воздух, летели через наши головы. Бронекатера отцепили мотоботы, заработали моторы, и мы пошли своим ходом.

Снаряды зажгли на берегу несколько строений и стогов сена. Пламя пожаров послужило ориентиром, ибо в такой темени легко заблудиться, пристать не туда, куда надо. Суда двигались на огонь. Спешили к берегу, на котором словно извергалась целая цепь вулканов. Снова вспыхнули прожекторы. Фашисты начали стрелять осветительными снарядами, бросать сотни ракет. В их дрожащем свете мы увидели высокие неуютные берега и белые домики. Хотелось как можно лучше рассмотреть берег, на котором предстояло драться.

Два мотобота с бойцами, которые должны были высаживаться первыми, были подожжены снарядами в двухстах метрах от берега, в отсветах зловещего пламени мы видели, как люди бросались в черную воду. Снаряды рвались вокруг, поднимая столбы холодной воды, обдавая людей колючими брызгами. Страшным казалось бурное море, до самого дна освещенное разрывами.

Наш мотобот вырвался вперед и первым полным ходом пошел к берегу.

Я поднялся на борт и, сделав трехметровый прыжок, очутился на крымской земле. Мотобот врезался в песок. Морская пехота прыгала в воду. С невероятной быстротой выгрузили пулемет.

После тесноты мотобота на земле показалось очень просторно.

Перед нами был дот, из которого вел огонь крупнокалиберный пулемет. Я видел, как к нему бросился Беляков, прижался к стене, сунул в амбразуру противотанковую гранату.

Я подался вправо. Бойцы падали на песок перед колючей проволокой. Вокруг рвались снаряды. Мы раскрывали рты, чтобы сберечь барабанные перепонки и не оглохнуть. Острый и опасный, как бритва, луч прожектора осветил нас. Моряки увидели мои погоны — я был среди них старший по званию, — крикнули:

— Что делать дальше, товарищ майор?

— Саперы, ко мне!

Как из-под земли, появились шесть саперов.

— Резать проволоку!

— Подорвемся. Мины...

Но я и сам знал, что к каждой нитке «колючки» подвязаны толовые заряды: чуть дернешь — и сразу взрыв.

— Черт с ними! Если взорвемся, то вместе!

Присутствие старшего офицера ободрило саперов. Прошло несколько томительно длинных минут, проход был проделан. Теперь кому-то надо рвануться вперед, увлечь всех за собой. Это было трудно сделать, ибо, лежа перед проволокой, можно на пять минут прожить дольше. В упор по нас прямой наводкой била пушка. Рядом я узнал Цибизова — командира роты автоматчиков, слышал, как Беляков посылал кого-то заткнуть пушке глотку.

Вдруг я увидел золотоволосую синеглазую девушку. Она поднялась во весь рост и, закружившись в каком-то дивном танце, рванулась в проход между проволокой.

— Вперед! Здесь нет мин. Видите: я танцую.

Этот танец в свете прожекторов и взрывов потрясал. Я перебросил автомат через плечо, бросился за ней, схватил за руку, спросил фамилию.

— А, идите вы к черту! — ответила девушка, не различая моих погон, повернулась назад, насмешливо крикнула: — Братшки, тушуетесь!.. Мозоли на животах на трете!..

Какой моряк мог допустить, чтобы девушка была впереди него в атаке? Будто ветер поднял людей. Но несколько человек все же подорвались на минах.

В это время над головами у нас прошел маленький самолет. Самолет снижался на прожектор, стреляя из пулемета. Я различил на крыльях красные звезды. Свет погас. Справа и слева гудели такие же самолеты, все подумали: «Милые, как вовремя вы прилетели!» Это были самолеты из женского авиационного полка Е. Д. Бершанской. Я знал, что среди них находился самолет, пилотируемый маленькой черненькой девочкой — Мариной Чечевой.

Все побежали вперед, пробиваясь через огненную метель трассирующих пуль.

С мыса ударил луч второго прожектора, осветил дорогу, вишневые деревья, каменные домики поселка. Оттуда строчили пулеметы и автоматчики. У нас почему-то никто не стрелял.

— Огонь! — закричал я не своим голосом.

Моментально затрещали наши автоматы, и мы увидели бегущих и убитых гитлеровцев.

— За Родину! — кричали моряки, врываясь в поселок, забрасывая гранатами дома, в которых засели гитлеровцы. Победный клич, подхваченный всеми бойцами, поражал оккупантов так же, как огонь. Гитлеровцы отстреливались из окон, чердаков, подвалов, но первая, самая страшная линия прибрежных дотов, колючей проволоки и минных полей уже была пройдена. Мы атаковали доты с тыла и перебили там всех.

Бой шел на улице и во дворах. Светало, и я увидел пехоту, высаживающуюся правее нас.

— Вперед, на высоты! — сорвавшимся голосом кричал человек, в котором я узнал командира стрелкового батальона Петра Жукова.

Высоты, при свете ракет казавшиеся у самого моря, на самом деле были за поселком, метрах в трехстах от бере-

га. Пехота устремилась туда. И тут я вспомнил, что я ведь корреспондент, что моя задача написать пятьдесят строк в номер, что газета не будет печататься до получения моей заметки. Вся армия, все 150 тысяч человек должны перебираться через пролив, и им интересно знать, как это происходит.

Я вбежал в первый попавшийся дом. На столе стояли недопитые бутылки вина. Я отодвинул их и в несколько минут написал первую корреспонденцию. В ней упомянул офицеров Николая Белякова, Петра Дейкала, Платона Цикаридзе, Ивана Цибизова, Петра Жукова, которые храбро дрались в момент высадки. Впоследствии правительство всем им присвоило звание Героя Советского Союза.

Было важно дать знать читателям-бойцам, что мы не погибли, а зацепились за Керченский полуостров и продолжаем вести борьбу. Корреспонденция «Наши войска ворвались в Крым» оканчивалась словами: «Впереди жесткие бои за расширение плацдарма».

Едва я закончил писать, как в дом попал снаряд. Камни обрушились на голову, ослепительные искры, радужные круги и темные пятна заходили перед глазами. Я почувствовал смертельную усталость, пол ушел из-под ног. На какое-то мгновение потерял сознание, но сейчас же поднялся. Связной Ваня Сидоренко влил мне в рот несколько капель водки.

Завернув корреспонденцию в противоипритную накидку, чтобы бумага не размокла в воде, я отдал ее связному и приказал бежать на берег, садиться в первый отходящий мотобот и отправляться на Тамань.

— Кто же меня возьмет?.. Всякий подумает, что я трусил и дезертирую. Надо, чтобы вы приказали взять меня на борт.

— Помчались!

Мы побежали к берегу. Там под сильным огнем разгружался последний мотобот. Я посадил на него связного и ужаснулся. Около сотни наших судов, не подойдя к берегу из-за сильного артиллерийского огня противника, возвращалось обратно к Тамани. Несколько мотоботов, кружась, догорали на воде.

Мотобот со связным отошел.

Я побежал на высоты и, оглянувшись, увидел, как снаряд зажег мотобот. Команда, сбивая пламя, упорно уводила судно от берега.

Я добежал до группы бойцов, атакующих огромный дот, издали показавшийся курганом. Пулемет уже был разбит гранатой, но два автомата стреляли из амбразур. Вдвоем с оказавшимся рядом краснофлотцем забегаем с тыльной стороны дота. На бетонной лестнице показался фашистский офицер, дал очередь из автомата, свалил бойца, пулей сбил с меня фуражку, с кожей сорвал прядку волос. Я дернул за спусковой крючок ППД, но выстрела не последовало. Диск пуст! Раздумывать некогда. Со всей силой с ходу ударил врага носком солдатского сапога в лицо. Он качнулся, уронил автомат. В руках у меня оказался наган. Раздался сухой щелчок выстрела — офицер упал. На шее его висел новенький Железный крест; я сорвал его и сунул в карман — на память.

Пятнадцать лет я играл в футбол и хоккей. Право, стоило заниматься спортом, чтобы в решающий момент ударом ноги спасти жизнь и убить врага.

Вместе с бойцом захожу внутрь дота. Здесь был командный пункт с прекрасным обзором моря. На столе валялись документы, игральные карты, письма, фотографии женщин, коробки сигар.

На столе дребезжал телефон. Я снял трубку. Властный старческий голос откуда-то издалека торопливо спрашивал по-немецки:

— Что случилось?

— Мы уже здесь! — крикнул я в трубку по-русски.

Бойцы выволокли из-под кроватей двух насмерть перепуганных офицеров. Они сказали, что ждали наш десант, но не в такую бурную ночь и не в Эльтигене, одном из своих крупнейших опорных пунктов. В обороне здесь находилась портовая команда и один батальон 98-й пехотной дивизии.

С командиром роты автоматчиков Цибизовым мы прошли по всему фронту слева направо, мимо уже обезвреженных дотов, видели десятки захваченных пушек, штабеля снарядов. С пушек были сняты замки.

Перед глазами простирался простор бесконечно милой степи. Свистел серебряный осенний ветер. Был день, но в небе почему-то еще висела призрачная луна.

У моста по дороге в Камыш-Бурун встретил капитана Беякова, распаленного боем. Его батальон, хотя и не полностью высадившийся, развивал успех. Были взяты

близлежащие курганы и господствующая на местности высота.

— Сейчас я возьму Камыш-Бурун, — сказал Беляков, вытирая носовым платком вспотевший лоб.

— Постой. Какую тебе поставили задачу?

— Дойти до этой дамбы, у которой мы стоим.

— На этом ограничимся... Нас здесь не больше пяти-сот человек. Не стоит распылять силы. Большинство судов не смогло пристать к берегу и ушло к Тамани.

— Откуда ты знаешь?

— Только что вернулся с берега.

Беляков посоветовался с заместителем по политической части капитаном Рыбаковым и решил занять оборону, благо поблизости оказались прошлогодние окопы, которые матросы быстро углубили и привели в порядок.

Самолет сбросил выпел. В записке просили сообщить обстановку и спрашивали, где командир дивизии — полковник Гладков.

Штаб дивизии с нами не высадился, не высадились и командиры полков. Где находился командир дивизии, мы не знали.

К девяти часам утра из Камыш-Буруна гитлеровцы подбросили семнадцать автомашин с автоматчиками и пошли в атаку на узком участке роты капитана Андрея Мирошника, впоследствии Героя Советского Союза. Вся паша передовая кипела от минометных и артиллерийских разрывов. Снаряды беспрерывно рвались среди окопов. Жужжали осколки, выкашивая бурьян. Азарт боя был настолько велик, что серьезно раненные ограничивались перевязкой и продолжали сражаться. Боец Петр Зноба, раненный в грудь, убил восемь фашистов и заявил, что скорее умрет, чем покинет сражающихся товарищей. Первая атака была отбита. Потеряв много убитых и не подбывая трупов, враг отошел на исходный рубеж.

Через час туда подошли двенадцать танков и семь «фердинандов» — самоходных пушек.

— Ну, после холодной морской воды начнется горячая банька, — заметил Рыбаков. — Сейчас мы их поматросим и забросим.

— Чем больше опасности, тем больше славы, — ответил ему лейтенант Федор Калинин, комсорг батальона, заменивший утонувшего начальника штаба.

Не задерживаясь, грозные машины двинулись в атаку. За ними в полный рост шли автоматчики, горланя

какую-то песню. Гитлеровцы наступали встык между морским батальоном и батальоном Жукова. Их было в два раза больше, чем нас.

Танки двигались, словно огромные ящерицы, волоча за собой хвосты пыли. Наступила призрачная тишина. Стало слышно, как тикали часы. Я посмотрел на циферблат: было десять минут одиннадцатого.

И вдруг одновременно раздались два выстрела, будто пастух хлестнул бичом. Стреляли две 45-миллиметровые пушки нашего десанта. Передний танк вспыхнул и помчался в сторону, пытаясь сбить разгоравшееся на нем пламя. Его подбил наводчик Кидацкий. Он боялся потерять хоть одно мгновение боя и посылал снаряд за снарядом. Вот он разнес крупнокалиберный пулемет, уничтожил несколько автоматчиков. Но «фердинанд» разбил пушку Кидацкого. Второе орудие тоже было подбито. Уцелевшие артиллеристы взялись за винтовки.

Бой с танками повела пехота. На младшего сержанта Михаила Хряпа и красноармейца Степана Рубанова, сидевших в одном окопе, шли четыре танка. Было что-то злое и трусливое, я бы сказал, крысиное, в этих серых машинах. Два бойца пропустили их через свой окоп и автоматным огнем уложили около сорока вражеских солдат, следовавших за танками. Если бы бойцы не выдержали, побежали, их наверняка убили бы, но они сражались и стали победителями. Все видели их разумный подвиг.

Бронебойщики Букель и Будковский из противотанковых ружей подожгли по одному танку. Рядовой Николай Кривенко подбил танк противотанковой гранатой. Как никогда, проявилась в этом бою у наших людей страстная жажда жизни. Десантники уничтожали танки, оставаясь невредимыми сами.

Над нами проносились звенья краснозвездных штурмовиков. С бреющего полета из «эресов» и пулеметов они расстреливали вражескую пехоту, танки и пушки.

Корпусная артиллерия с Таманского полуострова непрерывно била по скоплениям гитлеровцев через пролив шириной в восемнадцать километров. Но контратаки не прекращались ни на минуту. Ценой любых потерь фашисты хотели сбросить нас в море.

Во втором часу дня в цепь приполз бородатый Андриончик Сафаро — связной из штаба полка, спросил:

— Нет ли здесь корреспондента?

Оказалось, что начальник штаба полка майор Дмитрий

Ковешников и заместитель командира полка по политчасти майор Абрам Мовшович послали его разыскивать меня. Сафаро сказал, что руководство всей операцией взял на себя Ковешников, которого я знал по штурму Новороссийска. Это был настоящий герой, высокообразованный, талантливый и бесстрашный офицер. Ковешникова знала вся армия. И командующий и рядовые солдаты одинаково любили и берегли его. Небольшого роста, с неприметным лицом, он был красив в бою мужественной красотой, и как-то так получалось всегда, что он становился душой боя, в котором ему приходилось участвовать.

Под Новороссийском о нем говорили, что он дважды побывал на том свете.

Воспользовавшись очередным налетом нашей авиации, когда вражеский огонь несколько утих, мы с Андронником бросились бежать к поселку, продвигаясь где во весь рост, а где и на четвереньках.

Штаб расположился в темном подвале дома, крыша которого была снесена взрывом. В воздухе стоял нежный аромат поздних осенних цветов, источаемый сеном, на котором лежали раненые.

Ковешников, склонившись над рацией, просил у командующего огня. Кодовые таблицы утонули в море, и разговор велся открытым текстом.

— Я «Муравей» — Ковешников. Дайте огня. Цель — сто тридцать девять. Атакуют танки. Атакуют танки. Дайте огня, дайте огня. Я «Муравей» — Ковешников. Прием!

Цель 139! Я только что вернулся оттуда, видел все своими глазами, сел к снарядному ящику и принялся писать корреспонденцию. Не успел ее окончить, как часовой сообщил, что к нам полным ходом идет торпедный катер. Я запечатал корреспонденцию в конверт, написал адрес и бегом бросился на берег. Там творилось что-то невообразимое. Около пятидесяти пушек обстреливали суденышко и берег, к которому оно стремилось пристать. После каждого разрыва тысячи прожорливых чаек с криком бросались в воду, вытаскивая клювами оглушенную рыбу. Многие птицы гибли от осколков, и волны выбрасывали их на прибрежный песок.

И все-таки катер подошел. С него сбросили несколько ящиков патронов.

— Как тут дела? — спросил старший по званию на

катере капитан-лейтенант, прижимая к раненой щеке мокрый от крови платок.

— Нужна помощь: люди и боеприпасы, вода и пища.

— Гладков с вами?

— Гладкова нет.

— Может, он утонул или убит?

— Не знаю... Не сможете ли вы передать в редакцию мою корреспонденцию?

— С большим удовольствием. Это будет документ, подтверждающий, что мы были на крымском берегу... Значит, вы и есть тот самый корреспондент. В сегодняшней газете напечатана ваша заметка.

— Дайте мне эту газету!

— У меня ее нет. Осталась на той стороне.

— Кто же отправляется в десант без свежей газеты? Эх вы!.. — Мне очень хотелось увидеть напечатанной свою заметку. Впрочем, досада быстро сменилась радостью за Сидоренко, добравшегося-таки до редакции.

— Закуривайте. — Капитан-лейтенант открыл щелкнувший серебряный портсигар, прочел надпись на нем и нахмурился.

— Я не курю.

— Все равно возьмите, у вас, наверное, плохо с табаком. — Моряк сунул мне в руки портсигар, набитый влажными папиросами, и, взяв мою корреспонденцию, положил ее за пазуху.

Катер отчалил и полетел как стрела, но метров через триста в него жакнул снаряд. Суденышко накренилось и стало тонуть. Три моряка поспешно спустили на воду резиновую лодку и принялись грести к берегу, но ее накрыл снаряд. Напрасно я ждал, что кто-нибудь выплывет. Все были убиты или утонули.

Я достал портсигар. На крышке бросилась в глаза свежая гравировка: «Дорогому Володечке в день нашей свадьбы. От Иры. 13.V.1941».

В подвале Ковешников беспрерывно требовал огня. Артиллерия с Таманского полуострова работала на всю мощь. Тяжелый 152-миллиметровый снаряд разнес один танк, и Ковешников по радио передал артиллеристам благодарность от десантников. Но огонь пушек мало-помалу затухал и наконец прекратился совсем.

В штаб со всех сторон приходило все больше сведений об убитых офицерах, о нехватке гранат и патронов, о разбитых минометах и пулеметах. В разрушенных сараях,

прилегающих к штабу, появлялось все больше раненых. После кровопролитного боя были сданы один за другим три господствующие над местностью холма.

— Бросайте свою писанину, идите на правый фланг. Вы отвечаете за него головой, наравне с командиром батальона, — приказал мне Мовшович.

Я пошел через кладбище, оттуда хорошо был виден левый фланг, на котором с пятьюдесятью бойцами дрался раненный в руку подполковник Иван Константинович Расторгуев. Видно было, как туда шли семь танков с автоматчиками на броне. Потом я узнал, что их встретил со своим батальоном и уничтожил майор Александр Клинковский, будущий Герой Советского Союза.

По дороге встречались отходящие бойцы.

— Куда? Хотите, чтобы всех перетопили, как щенят?

Они возвращались со мной, ложились в цепь, сливаясь с цветом земли. Прощедшие мимо, выйдя на гребень, откуда виднелось море, сами возвращались назад: отступить было некуда.

Время тянулось страшно медленно. Все ждали наступления ночи.

Фашисты усилили нажим. В центр нашей обороны просочились автоматчики. Два танка подошли на расстояние ста метров к командному пункту. Весь наш «пятячок» простреливался ружейным огнем. Положение было критическое. Казалось, было потеряно все, кроме чести. Кто-то предложил послать последнюю радиограмму: умираем, но не сдаемся. Напряжение достигло высшего предела.

И тогда Мовшович, решительный и бледный, собрал всех командиров и повел их в офицерскую контратаку. Шли без шинелей, при орденах, во весь рост, не кланяясь ни осколкам, ни пулям, навстречу атакующим оккупантам. Их было раз в десять больше, с ними были танки и «фердинанды», а у нас по десятку патронов на брата.

На душе было удивительно спокойно. Чуда не могло быть. Каждый это знал и хотел как можно дороже отдать свою жизнь.

Стреляли из автоматов одиночными выстрелами, без промаха, наверняка. Враги падали и почему-то напоминали разбросанные по полю кучи навоза. И, как бы подтверждая мои мысли, идущий рядом матрос сказал:

— Пришли на нашу землю, чтобы лечь в нее, удобрить своими трупами.

— Вперед, храбрым помогает счастье!
Я узнал крик Мовшовича. Обрадовался: значит, он пока жив.

И вдруг молодой голос торжественно запел:

Широка страна моя родная...

Пел раненый лейтенант комсомолец Женья Малов. Кровь из разбитой головы заливала его лицо, по которому осколок прошелся раньше, чем бритва. Песню подхватила вся атакующая цепь. Я, никогда не певший, тоже присоединился к хору. Не знаю, как кого, а меня песня убеждала, что мы не умрем, враг не выдержит и побежит. Закатывалось солнце, и все наши ордена и медали казались как бы сделанными из чистого золота.

Расстояние между нами и фашистами неумолимо сужалось. Они бросили против нас и танки, и самоходные орудия, и минометы, и пехоту. И тут после долгого перерыва вновь заработала артиллерия с Тамани. Она накрыла врага дождем осколков, но это было только начало возмездия. Двадцать один штурмовик с бреющего полета добавил огня. А мы все приближались к противнику.

Гитлеровцы стали поспешно отходить, десантники устремились за ними, подхватывая брошенные автоматы и винтовки и стреляя из них. В воздухе упорно боролись приторно-сладковатая пороховая вонь и тонкий запах запоздалых осенних цветов.

В одном месте нас накрыла артиллерия. Пришлось залечь. Впереди сутулился кустик полыни. Я сломал веточку, растер ее между пальцев. Сознаюсь, никогда раньше не знал, что так хорошо пахнет полынь. Трудно расстаться с этим благоуханным запахом навсегда.

Прилетели два самолета, поставили дымовую завесу, словно туманом затянувшую берег. Быстро темнело. Увлечшись боем, мы и не заметили, как к берегу подошли наши суда. Прибыл командир дивизии со своим штабом, а с ним десять орудий и тысяча пятьсот активных штыков. Выслушав рапорт Ковешникова, полковник Гладков бросил свои батальоны на врага. Гитлеровцы, имевшие перед этим дело с истекающими кровью остатками десанта, пережидали артналет, чтобы окончательно раздавить нас, но вдруг увидели перед собой массу свежих, устремленных вперед солдат. Не принимая боя, фашисты отошли на свои утренние позиции.

Деятнадцать танковых атак, поддержанных двумя полками пехоты, были героически отбиты небольшим десантом в первый день высадки.

С группой офицеров я вернулся в штаб. С появлением командира дивизии и подкрепления все вздохнули с облегчением, вспомнили, что можно утолить жажду, съесть по сухарю, выпить по глотку водки. В штабе оказалось «Знамя Родины» с моей заметкой. В кожаных мешках с боеприпасами, сухарями и водой, сброшенных самолетами, оказалось несколько тюков газет.

Обо всем виденном и пережитом я написал очерк под заголовком «День первый». Доставить его в редакцию взялся раненный в ногу и эвакуировавшийся в тыл капитан Николай Ельцов. Пакет был вручен ему. Многие офицеры дали ему открытки с просьбой опустить в ящик полевой почты. Содержание открыток было мирным и нежным, как будто посылались они не с фронта, а из дома отдыха. Никто ни единого слова не написал о только что пережитом.

Тревожная ночь прошла быстро. Но нам все же удалось забыться часа на два на полу, закрывшись с головой шинелями и тесно прижавшись друг к другу. Мы раскрывали глаза при взрывах, сотрясавших дом, и тут же вновь засыпали. Сквозь сон я слышал, как неутомимый Ковешников отдавал команды.

Утром я ушел на наблюдательный пункт морского батальона и видел, как над Таманью в розовом небе занималось веселое солнце нового дня. Наблюдательный пункт помещался в усадьбе, окруженной каменным белым забором. Здесь я встретил девушку, которая, выскочив из мотобота, полезла через колючую проволоку на минное поле. Тогда я потерял ее из виду и не смог записать фамилию. И вот встретил ее перевязывающей раны морякам. Она назвалась Галиной Петровой.

За ночь Беляков полностью восстановил положение, заставив оккупантов спуститься в противотанковый ров, густо оцетинившийся ежами. На переднем крае со вчерашнего вечера в снарядной воронке лежал раненый Цибизов. Два моряка пытались вывести его, но были ранены. Тогда командир роты, добродушный, смуглолицый украинец Петр Дейкало, выдвинул вперед снайперов, и они уничтожили оккупантов, мешавших подобраться к раненому лейтенанту. Через час Цибизова вынесли, и я увидел, как Петрова пленала его бинтами.

Цибизов был смертельно ранен. Он узнал меня, попросил:

— Напишите в «Красный флот», чтобы все моряки могли прочесть про моих ребят. — Лейтенант задыхался, с трудом выговаривая слова. — Напишите про краснофлотца Отари Киргаева, он в первую минуту перебил из автомата прислугу прожектора... Слепил фрицев...

Я разговорился с Петровой. Она была комсомолка из Николаева, и я рассказал ей, как мы — группа армейских корреспондентов — последними оставляли ее родной город.

— Из Крыма совсем близко до Николаева и до Одессы, — сказала девушка, и в ее словах прозвучала уверенность, что скоро наши освободят эти города.

Это была наша последняя встреча. Петрова отличилась в боях, была смертельно ранена. Правительство присвоило ей посмертно звание Героя Советского Союза.

Появились вражеские самолеты. Они снизились и, делая медленные коршуны круги, выглядывали добычу. Семь раз они бомбили наши боевые порядки, но вреда причинили мало.

Все утро в чистом, безоблачном небе длились воздушные бои, за которыми с волнением наблюдали десантники. Два «мессершмитта» и один «юнкерс» разбились о берег Крыма.

К Белякову пришел Мовшович, в сумке у него лежали политдонесения.

— Хорошо, что я тебя увидел, на вот читай. — Он подал мне листок бумаги, на котором было написано:

«Из сегодняшней газеты мы узнали, что в десанте находится корреспондент. Он, видимо, вчера был на правом фланге и описал их действия. Но ведь и мы на левом тоже воевали. Наши бойцы очень просят: если он еще живой, пускай приходит к нам и опишет наш героизм».

— Сходи к ним, старик. Там у них тихо, ты ведь сам видел, что весь удар фашисты наносят по нашему правому флангу.

Я пошел. Но так как в первый день у гитлеровцев на правом фланге ничего не вышло, они на второй день нанесли удар по левому флангу.

В десять часов пошли на нас пехота и танки врага.

За полчаса до атаки бойцам принесли сброшенные самолетом листовки — обращение Военного совета армии. И сводки Информбюро.

Двенадцати вражеским танкам удалось прорваться сквозь наши боевые порядки. Они с грохотом прошли через окопы, раздавив несколько человек. Но гитлеровская пехота поотстала от машин, ее отсекали и заставили залечь.

Первую стремительную атаку противника сорвали, принудили все начинать сначала.

Я видел, как прошел «фердинанд» и раненный в ноги боец, приподнявшись на локте, швырнул в него гранату. Она разорвалась на броне, не причинив вреда, но вторая взорвала самоходную пушку. Танк, ползший за «фердинандом», наехал на смельчака гусеницами, уже давил ему ноги, но у него нашлись силы в последний момент сорвать чеку противотанковой гранаты и сунуть ее под ведущее колесо машины. Раздался взрыв, и танк, как ужаленный, завертелся на месте.

За каждой отбитой атакой немедленно начиналась новая.

Как и в первый день, крепко помогала нам авиация и артиллерия с Таманского полуострова. Тяжелые снаряды рвались среди танков, самолеты буквально косили атакующих гитлеровцев.

После того как первая попытка отжать нас от моря ударами с флангов провалилась, фашисты сделали отчаянное усилие прорваться встык между частями, расколоть нашу оборону надвое. Гладков ждал этого. Бойцы встретили гитлеровцев убийственным огнем. К концу дня, сами неоднократно переходя в контратаки, десантники отбили четырнадцать вражеских атак.

Красноармеец Цховребов ворвался в окоп, застрелил четырех фашистов и, будучи ранен, пятого зарубил лопатой.

Я отправился разыскивать Цховребова и нашел его на операционном столе в санбате, помещавшемся в разбитой школе. Операция уже была закончена, но разорвавшийся вблизи снаряд снова ранил героя. Хирург Трофимов вновь принялся штопать живое тело человека, сцепившего зубы от боли, так как не было ни хлороформа, ни морфия. Все медикаменты утонули, а у доктора в сумке оказался пурген да несколько пачек кальцекса.

В детстве мама рассказывала мне сказки об исполинах, глубоко запавшие в душу. Здесь я увидел их: это были советские солдаты.

К вечеру перед нашими боевыми порядками залег

эсэсовский полк. Но это уже были не солдаты, а мертвецы.

Настала ночь. К берегу подошли фашистские катера, рассчитывавшие, видимо, что мы примем их за свои. Два катера успели причалить. Высадившиеся оккупанты сбились в кучу, стали кричать, чтобы их взяли обратно. Их перебили пулеметным огнем. Остальные суда, обстреляв поселок из крупнокалиберных пулеметов, удалились в море и там до рассвета вели бой с нашими катерами, не подпуская их к десанту.

Всю ночь при свете маленькой копилки писал я корреспонденцию о дне втором. На полу в сене спал разведчик Виктор Котельников. Он храпел на весь подвал и дышал так, что пришлось подальше убрать копилку, чтобы она не погасла. Эту корреспонденцию, посланную мной с майором Кушниром, раненным в ногу и отправленным в тыл, нашли среди его документов. Тело майора волны вынесли на таманский берег. Очевидно, он погиб на мотоботе, напоровшемся на мину. Корреспонденцию, доставленную мертвецом, отправили в редакцию, и она была напечатана.

На третий день боев я узнал, что в поселке есть жители — мать и дочь Мирошники — остатки некогда большой рыбацкой семьи. Пошел разыскивать их, но нашел не сразу.

В домах царил беспорядок. На столах валялась битая посуда, постели были разбросаны, всюду летал пух. Видно, гитлеровцы подняли жителей внезапно, выгнали их, не дав собраться, грабили дома, вспарывали перины и подушки, искали ценности.

Мирошники встретили меня приветливо, угостили солеными помидорами, керченской сельдью и дождевой водой. С жадностью набросился я на воду, она показалась мне вкуснее всех напитков, которые приходилось когда-либо пить. В поселке не было пресной воды, и десантники утоляли жажду соленой и мутной влагой. А здесь в пыльной бутылке, вытащенной из погреба, плескалась прозрачная и чистая вода, собранная по каплям в редкие дождливые дни. Я пил медленно, наслаждаясь каждым глотком.

Деятнадцатого октября эсэсовцы начали поголовную эвакуацию населения из Крыма. Женщины спрятались в погребе и таким образом избежали рабства. Со слезами на глазах Екатерина Михайловна Мирошник рассказала,

что в последних числах октября гестаповцы расстреляли возле крепости Еникале свыше четырнадцати тысяч женщин и детей — жителей Новороссийска и Таманского полуострова, наотрез отказавшихся следовать в фашистскую неволю. Она рассказала о знаменитых катакомбах, открытых недалеко от Керчи, у Царева кургана и Аджи-Мушкая. В этом огромном, раскинувшемся на десятки километров подземном городе спасались от оккупантов тысячи советских патриотов. Их выкуривали газами, люди умирали, но не выходили оттуда.

Семь месяцев жили свыше тысячи подростков, детей и женщин под землей, без солнца и свежего воздуха. Воду собирали по каплям, со стен. Многие умирали от голода: предпочли смерть рабству.

— Девушки-школьницы отказались ехать в Германию, их погрузили на баржу, вывели в море и затопили. Вон их могила. — Женщина показала рукой на мачту с реей, словно крест, выглядывавшую из воды.

Старая женщина передала слова гитлеровского офицера, жившего у нее на квартире и убитого в бою. Офицер этот цинично заявлял:

— Командующий войсками в Крыму скорее расстреляет сто тысяч населения, чем даст Советской Армии их освободить.

Моряк Абрамкин, выслушав женщину, воскликнул:

— Надо спешить, надо освобождать наших близких! Надо спешить! Это одно из главных требований войны.

Дослушать женщину не удалось. Налетели бомбардировщики, начали бомбить и обстреливать из пулеметов наш «пяточок». Женщины бросились в погреб. Разорвавшаяся во дворе бомба убила обеих. Похоронили их в братской могиле, словно солдат.

Весь день бомбардировщики не давали покоя. Я шел с Беляковым в батальон, и они заставили нас целый час лежать в противотанковом рву. Прижавшись к теневой стороне, Беляков рассказывал мне об Архангельске — своем родном городе, о том, как он рвался к Черному морю и как сейчас тоскует о беломорских берегах. Тринадцать лет Беляков прослужил в армии, командовал взводом, ротой, был начальником штаба батальона, которым сейчас командует. Лежа во рву, мы видели, как наш штурмовик «Ильюшин-2» пошел на таран и сбил атакую-

щий его «мессершмитт». Оба самолета упали на нашу территорию.

Бойцы похоронили советских летчиков у моря и сложили над могилой памятник из белых известковых камней. Имена летчиков — Борис Воловодов и Василий Быков. Оба коммунисты. Первый из города Куйбышева — ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, второй — парторг эскадрильи, уроженец Ивановской области.

Третий день прошел в атаках вражеских танков и пехоты. Во время одной из атак, когда танки подошли к домикам поселка на нашем левом фланге, мне пришлось быть на командном пункте командира дивизии. Его исключительная выдержка и хладнокровие передавались всем окружающим.

Полковник Гладков считал операцию удачной с точки зрения ее замысла, взаимодействия различных родов оружия и предварительной подготовки. Он сказал мне то, чего никто не знал:

— Наш десант отвлекающий. Мы ловко одурачили гитлеровцев. Они сосредоточили против нас лучшие силы. А завтра ночью севернее Керчи, с полуострова Чушки, высадятся наши главные силы. Ширина пролива всего четыре километра.

Уверенность в своем превосходстве над противником — характерная черта командира дивизии.

Днем к берегу причалили восемь бронекатеров с пехотой. Катера шли развернутым строем, как на маневрах, прикрываясь дымовой завесой, поставленной самолетом. Один катер фашисты подожгли, но команда не покинула его и продолжала вести огонь по врагу.

Едва обстрел затих, я отправился на берег. Убитые лежали на песке. Их шевелила волна, и они переворачивались, словно живые.

Весь день десантники вели бой, похожий на предыдущие бои. К вечеру отбили семнадцатую танковую атаку. Наступила темнота, а с ней и затишье. Ночью в штабе я, как всегда, писал на краешке стола. Офицеры спали на охапках душистого сена. На полу валялась куча Железных крестов, снятых с убитых фашистов. Часовой, стоявший в углу, наступал ногой на эти кресты.

— «Великая» Германия под сапогом у красноармейца, — сказал Ковешников, улыбаясь. — Почитать бы сейчас хорошую книгу.

— Я нашел среди развалин тетрадь — поинтереснее любого романа будет. — С этими словами мичман Бекмесов вытащил из шинели толстую тетрадь, исписанную аккуратным почерком, и стал читать ее вслух.

Это был дневник Татьяны Кузнецовой, работавшей бухгалтером в поселке. Девушка писала о том, как оккупанты убили ее мечту стать зубным врачом. «...Как я раньше завидовала своим подругам-красавицам и как благодарю сейчас судьбу, что родилась дурнушкой и до сих пор не приглянулась ни одному немцу, — читал Бекмесов. — Каждый день смотрю по утрам на восток, но жду не солнца, а возвращения своих. Когда-то наши девушки много пели, и я пела с ними, а сейчас все замолкли, и не столько потому, что запрещают оккупанты, а потому, что не могут петь соловьи в подвале».

Вскоре мы услышали на нашем берегу отдаленный грохот и увидели за Керчью оружейные сполохи. А еще через несколько дней прочитали в газете о высадке основного десанта, о том, что захвачены населенные пункты Маяк, Баксы, Аджиг-Мушкай. Войска получили возможность через пролив переправляться днем.

У Гладкова поднялся жар — температура 39,5. Но он не ложился. Когда врач требовал, чтобы он лег, полковник говорил:

— Самое страшное для солдата — умереть в кровати.

Так как на подкрепление рассчитывать не приходилось, мы стали ждать выхода к нам основного десанта. С надеждой смотрели ночами на север, где под самыми звездами металось пламя пожаров.

Наступил канун праздника 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Было холодно, на море бушевала буря. Противник непрерывно обстреливал кромку берега и наши окопы на передовой. Быстро стемнело. Черные тучи клубились у самой земли. Мы ждали атаки каждую минуту.

Наступил день праздника. С утра враг открыл бешеный огонь, стреляли сотни орудий. Гибли даже развалины. В укрытиях санбата собралось много раненых.

Этой ночью вернулся мокрый с головы до ног Ваня Сидоренко — мой связной. Он шел на катере, который взорвался на mine. Связной проплыл два километра в ледяной воде. Он не мог говорить, взял листок бумаги, дрожащей рукой написал на нем: «Сегодня освобожден Киев!»

Я налил ему стакан водки из своего неприкосновенного запаса, взятого еще в Тамани, но переодеть его было не во что. Мокрая одежда медленно высыхала прямо на теле.

...Так проходило время. Каждый день мы теряли кого-нибудь, ставшего уже родным и близким. Инструктор политотдела армии майор Павенко хоронил убитых. Он был самый занятой человек в десанте.

В ночь на семнадцатые сутки я услышал разговор на переднем крае:

— Когда-нибудь после войны пойдем мы с тобой, Петров, в кино смотреть фильм «Сражение за Крым» и увидим там картины боев нашего десанта, развалины рыбацкого поселка Эльтиген...

Бойцы сидели в окопе и, осторожно покуривая в рукав, разговаривали о том, что ждет их после войны.

— Почему курите, ведь противник близко? — спросил я как можно строже.

— Греем ноги, — шутливо ответили мне.

В темноте плохо видны лица. Но я знал: передо мной герои. Каждый уже отличился в десанте, убил фашиста, внес свой пай в дело изгнания оккупантов.

— А я так думаю, Хачатурян, что про наш десант песни петь будут, стихи сочинять будут, — сказал один боец другому.

Хачатурян? Знакомая фамилия! Солдат этот из противотанкового ружья почти в упор подбил танк. Я подошел ближе.

— А помнишь первый день? — спросил Хачатурян. — У меня, когда фрицы пошли в девятнадцатую атаку, остался всего один патрон и ружье было горячее, как огонь. Но я знал, что командование не оставит в беде. И сейчас у меня патронов хватит и на сто танков... — Боец помолчал. — А сердца и на двести хватит.

Хачатурян подал заявление с просьбой принять его в ряды партии. К его заявлению командир приложил боевую характеристику, в которой написана одна фраза: «Участвовал в десанте на Крымском побережье». Это лучший документ, подтверждающий героизм.

Десант поднял людей в собственных глазах. Каждый увидел, на что он способен. Отделение старшего сержанта Николая Мельникова отбило контратаку взвода гитлеровских автоматчиков. Отделение не давало оккупантам сблизиться на расстояние действительного огня их авто-

матов и раз пятнадцать заставляло врагов залечь. Как только фашисты поднимались, отделение встречало их залповым огнем, которого гитлеровцы страшно боялись. Эти люди прошли сквозь огонь и воду, и каждый стоит довоенного взвода.

Всю ночь я провел на переднем крае в окопе Хачатуряна, слышал плач детей и женщин, скрип телег, на которых оккупанты увозили жителей из ближайших поселков. По горизонту пылали пожары. Солдаты смотрели на север, видели оружейные сполохи основного десанта и думали, что день нашего соединения с ним близок.

Пули со свистом проносились над окопами, но солдаты не могли отказать себе в удовольствии помечтать о первых днях мира. Действительно, хорошо было бы после войны вновь увидеть хоть на экране только что пережитые шестнадцать дней.

Хорошо было бы увидеть в кино темный подвал нашего штаба, политработника капитана Валерия Полтавцева с шестью бойцами, отбивающих у гряды камней атаку гитлеровцев, увидеть все то, что пережито и стало уже достоянием истории.

Пошел семнадцатый день сражения. Семнадцатый день, не утихая, бушевал ураган огня. В поселке уже не оставалось ни одного целого дома, ни одного дерева: все изгрызла вражеская артиллерия. Под ногами валяются осколки. Их больше, чем опавших осенних листьев, устилающих улицу. Но люди надежно зарылись в землю и почти не несут потерь.

Танки, «фердинанды», авиацию, артиллерию — все виды оружия направили оккупанты против десантников. Много фашистских войск привлек наш десант и дал возможность высадиться на крымскую землю основным силам.

Гитлеровцы блокировали нас с моря. Каждую ночь восемь хорошо вооруженных самоходных барж выходили в море, становились против нашего берега, не пропуская к нам мотоботы с Таманского полуострова. Уходя на рассвете, баржи жестоко обстреливали наши позиции.

Это надоело десантникам. Артиллеристы лейтенанта Владимира Сороки подбили одну баржу. Вторую баржу из противотанкового ружья поджег бронбойщик Александр Коровин. Дымящееся судно фашисты едва утащили на буксире.

Блокада не удалась. С воздуха ежедневно наши самолеты на парашютах сбрасывали нам боеприпасы, продовольствие, газеты.

Ночью мне передали радиogramму. Редактор приказывал вернуться в Тамань. На чем? Я пошел на примитивную пристань к старморначу. Он сказал, что никакой надежды на приход судов нет.

И все же шесть мотоботов с боем прорвались мимо быстроходных барж и торпедных фашистских катеров. Маневрируя среди разрывов, они пристали к берегу и сгрузили ящики с боеприпасами. О подходе мотоботов мне позвонили в блиндаж Ковешникова.

Я попрощался с офицерами. Сердце болезненно жалось. Так не хотелось расставаться с людьми, которые стали близкими. С койки поднялся раненый Мовшович, накинул шинель, пошел меня провожать.

Мы остановились у кладбища, на высоте.

— Береги свою голову. — Он меня обнял, поцеловал в губы.

— Едем со мной, — попросил я его. — Ты ведь едва стоишь на ногах. Тебе надо в госпиталь.

— Мое место здесь. Я комиссар, и мне не положено покидать поле боя.

— Впереди еще не один бой...

Мы еще раз обнялись, и я побежал по тропинке, пригибаясь под пулями. Внизу оглянулся. Высокий Мовшович стоял на фоне неба и глядел мне вслед. Над ним летели трассирующие пули.

Я добежал к мотоботам, когда они уже отчаливали. Прыгнул на один из них, бросил последний взгляд на берег. Я связан с этим клочком земли навеки, и если выживу, буду вспоминать его всю жизнь, и он будет мне часто снится. На море клубился густой туман, била высокая волна. Фашистские суда обстреляли нас, но преследовать не решились.

На рассвете в бинокль увидели какое-то темное пятно на поверхности моря. Мотоботы подошли ближе, и пятно оказалось сорванной с якоря круглой миной с лежащим на ней между рогулек солдатом. Осторожно приблизились.

— Подплывай к нам! — крикнул старшина мотобота. Человек молчал.

— Мертвяк!

— А может, живой. Надо проверить, — запротестовали солдаты. — Нельзя бросать товарища на произвол судьбы.

— Эй ты, там! — громовым голосом заорал простуженный старшина и выстрелил из автомата.

Человек приподнял голову. Не слыша его голоса, мы поняли по движению бледных, распухших губ:

— Не могу... Не умею плавать...

Мотобот, вспенивая воду, подошел ближе. Два матроса разделись и прыгнули в море. Пока они снимали человека, мотобот отошел подальше. Неосторожный толчок о рогульку мог вызвать взрыв мины.

Когда солдата с трудом втащили в мотобот и, влив ему в рот несколько глотков водки, привели в чувство, он пробормотал:

— Осторожней... Тут где-то минное поле... Наш катер взорвался, кажется, один я и уцелел.

— И давно ты, бедолашный, болтаешься здесь? — допытывался любознательный старшина.

— Какой сегодня день?

— Воскресенье.

— С пятницы.

Мы шли кильватерной колонной — друг за другом, наш мотобот первым. Сотни чаек летели за нами. «Почему они летят за нами?» — подумал я.

И вдруг задний мотобот вырвался вперед и стал обгонять нас. Люди приветственно махали руками. Да и как не радоваться: невдалеке была Тамань, там можно было поесть и поспать.

Раздался взрыв. До самого неба взметнулся веер черного пламени, и хлопья сажи медленно закружились в воздухе. Чайки с криком набросились на оглушенную рыбу.

— Чайки всегда носятся над минными полями и ждут, пока на них не взорвется корабль, — сказал старшина. То были первые слова, произнесенные в глухом молчании.

Ухватившись за обломки, в море держались три человека, но они не кричали, не звали на помощь, а безумевшими глазами смотрели вокруг, как бы не понимая того, что случилось.

Мотобот двигался к ним, и тут все увидели сотни рогулек, торчащих из воды, закричали:

— Мины, взорвемся!

Стало страшно. Но кто-то разглядел, что рогульки были всего-навсего ручными гранатами с деревянными ручками. Погруженные тела их поддерживались рукоятками, торчащими на четверть из воды. Очевидно, на мотоботе был ящик этих гранат. Мы вытащили трех человек. Вдруг кто-то заметил вдалеке несколько раз взметнувшуюся руку.

— Человек, живой человек!

Мотобот осторожно пошел к нему. Все зорко всматривались в воду, чтобы не напороться снова на мину. Ведь каждый в момент взрыва видел, как из воды показалось несколько железных шаров, снова погрузившихся в море. Команда мотобота вытащила на борт раненого матроса. Он огляделся вокруг и сказал:

— Подбросило меня на сто метров кверху, потом пошел на пятьдесят метров в глубину, ударился ногами о дно, вынырнул на поверхность, гляжу: одни щепки.

Все невольно улыбнулись. Матрос засмеялся от всей души. На минуту выглянуло солнце, и в его лучах вода стала изумрудно-зеленой.

Миновав минные поля и несколько гряд надводных камней, мотоботы добрались до пристани. «Черт возьми, как хороша все-таки земля! И море и небо с ней несравнимы», — подумал я, ступив на берег.

1943 г.

Плацдарм

Никитин склонился над двухкилометровой, застилавшей грубый стол, сколоченный из досок. Адъютант глянул на усталое худое лицо полковника и вышел из блиндажа на цыпочках, как будто его осторожные шаги могли нарушить несуществующую на плацдарме тишину.

Командир дивизии мучительно думал. Десант, которым он командовал, сделал больше, чем от него ждали: в самом широком месте форсировал пролив, захватил плацдарм на полуострове, привлек на себя несколько немецких дивизий и этим дал возможность основным силам фронта переправиться через пролив там, где ширина его не превышала пяти километров. Советские войска подошли к главному городу полуострова, безуспешно его атакуют и не могут прийти на помощь десанту, полтора месяца удерживающему клочок земли.

Полтора месяца... За это время произошло много событий. Всех участников десанта наградили орденами. Особо отличившимся присвоили звание Героя Советского Союза. Наши армии успешно наступают на других фронтах. А здесь, на полуострове...

Всем своим умом и огромным опытом Никитин понял — десанту больше не продержаться и одного дня. Люди, способные еще держать оружие, имеют по две гранаты и по одному неполному диску патронов. План, который обдумывал комдив, не был новым, он обсуждался в начале десанта и носил позывной номер «три». Это был дерзкий план: обмануть врага, ночью, без боя, ускользнуть из плотного окружения, пройти двадцать километров по голой степи, ударить с тыла и одновременно с войсками фронта овладеть главным городом полуострова.

Но удерживала мысль о раненых. В наспех открытых укрытиях лежат искалеченные люди, без медикаментов, без воды. Взять их с собой невозможно. Эвакуировать некуда, да и не на чем. Уже с месяц ни одно суденышко не причаливает к береговой кромке, у которой, зарывшись в камень, обороняется десант. Боеприпасы и сухари на парашютах сбрасывают самолеты, но большинство контейнеров достается противнику или падает в море. К тому же, как назло, весь ноябрь и первую половину декабря шли дожди.

Но и тянуть дальше нельзя. Уходить надо ночью. Завтра будет поздно: по всем данным, утром фашисты навалятся на десант всеми силами.

Справа, по фронту, тянулось болото, поросшее камышами. Полковник несколько раз посылал туда разведку. Вот и вчера три лучших следопыта дивизии пробыли там до ночи и, вернувшись, снова подтвердили, что по ту сторону топи нет немецких укреплений и через болото хоть и с трудом, но пройти можно.

— Только вот раненых не пронести, — сокрушался командир разведки, бывший учитель.

Никитин посмотрел на «ходики», висевшие на стене: на девятнадцать тридцать он назначил совещание командного состава дивизии, чтобы объявить свое решение.

Первым в железобетонный дот, не пробиваемый бомбами и снарядами, — бывший немецкий командный пункт на побережье — явился командир полка Харченко, он безмолвно присел на корточки перед раскрытой печкой, протянул к огню грязные, потрескавшиеся руки. Перевязан-

ная бинтом голова его снежно белела в полутьме. От Харченко пахло порохом, потом.

— Как дела, Анатолий Павлович? — участливо спросил комдив.

— Плохи дела. Только что осколком убит Овчинников, последний комбат — офицер. На его место поставил старшего сержанта... Патронов нет, гранат нет, курева нет, ни черта нет.

Комдив промолчал. Все это уже было известно.

К назначенному времени собрались офицеры с автоматами в руках, искалеченные, голодные, злые. Сидеть было не на чем, и они, опираясь спинами о мокрые стены, устало опустили на корточки. Никитин попросил доложить обстановку. Каждый говорил две-три фразы и умолкал — без слов было понято, что положение отчаянное.

— Мы можем продержаться ночь, а днем нас уничтожат, так я вас понял, товарищи? — подводя итог сказанному, спросил Никитин и, натянуто улыбаясь, скривил заросшее рыжей бородой лицо.

— Немцы подтянут два стрелковых полка, танки и пушки и, конечно, не станут дожидаться хорошей погоды, — сказал начальник политотдела, подкладывая в печку куски дерева.

— Так что делать дальше? — спросил Никитин и зазубренным осколком, которым придавливали карту, постучал по столу.

— Надо прорваться в каменоломни, к партизанам, — предложил Харченко. Он сосал пуговицу, как леденец, обманывая ноющий желудок.

— А как ты прорвешься?

— Ударим слева и пойдем.

— А раненые? Их оставим здесь? — спросил Никитин.

Наступило тягостное молчание.

— Раненых понесем, — сказал Харченко.

— Шестьсот человек?

— Вынесем Героев Советского Союза, и то хорошо, — вставил прокурор дивизии, примостившийся у порога.

— Не годится... Нести надо или всех, или никого, — отрезал Никитин. — А раненых больше, чем здоровых.

— Герои — цвет армии, — настаивал прокурор, впервые попавший в столь сложную обстановку.

Всю войну он пробыл в тылу, на приличном расстоянии от передовой. И на этот раз он мог преспокойно отсидеться во втором эшелоне, но ему давно хотелось хоть раз

испытать себя — узнать, на что он способен, и вот отправился в десант. Была к тому и деловая причина. Недавно выяснилось, что в полку Харченко получали водку на «мертвые души» — убитые продолжали числиться на довольствии. Эти махинации всплыли наружу накануне десанта. Прокурор вызвал Харченко на допрос, но тот не явился. Раздраженный прокурор поехал к нему в полк, и Харченко при людях грубо прошелся насчет его «тыловой психологии». Проглотив обиду, прокурор решил показать грубияну, какая он «тыловая крыса», и продолжить следствие не где-нибудь, а тут же, на плацдарме. И показал — хотя и пришлось идти в атаку сквозь метель трасирующих пуль, наравне с солдатами палить из автомата, бросать гранаты, перепрыгивать через колючую проволоку, увлекая за собой десантников, бежать в темноте через поле, густо утыканное противопехотными минами натяжного действия.

Как-то в один из редких часов затишья, уже на плацдарме, когда десант не обстреливали и не бомбили, он попытался допросить Харченко. Но тот с хохотом напомнил, как прокурор за обедом выпил триста граммов водки из НЗ «мертвых душ», и разговор пришлось прекратить.

У входа в блиндаж послышался шум, возбужденные голоса. Вошел адъютант комдива.

— Товарищ полковник, там Акимов требует, чтобы его пропустили к вам. Я толкую ему — совещание, а он ни в какую.

— Да ведь у него обе ноги перебиты?! — удивился Никитин. — Откуда он взялся?

— Его санитары на носилках принесли.

Знаменитый сержант Акимов появился в блиндаже, освещенном трофейными плошками. В день высадки, в первый час боя, из противотанкового ружья он подбил танк, а затем со взводом пехоты, потерявшим своего командира, трое суток удерживал безымянный холм, который в сводках стали называть «высотой Акимова».

— Товарищи офицеры, меня делегировали к вам раненые. — Акимов, Герой Советского Союза, пока еще без Золотой Звезды и ордена Ленина, которых, по всему выходит, ему не придется увидеть, перевел дух. — Мы знаем — вам надо прорваться, но мы, как якоря, держим вас на месте... Уходите, раненые прикроют ваш отход, мы еще способны стрелять, только вот патронов...

— Спасибо, Акимов... — Комдив поклонился сержанту.

Немцы открыли беспорядочный огонь. Рядом с блиндажом разорвался тяжелый снаряд.

Акимов и те, кто принес его, были уже за дверью.

— Уходим в полночь, через болото. Первым отправится разведбатальон, затем уйдут автоматчики, затем штаб... Прикрывает отход полк Харченко... Головная группа поджидает его у подножия господствующей высоты. Ждем вас, Харченко, не больше двадцати минут. Понятно?

— Уходить надо в каменоломни, — упрямо возразил Харченко. — И раненых грех бросать...

— Может, лучше пробиваться вдоль берега? Там хоть артиллерия с противоположного берега поддержит, — предложил прокурор.

— Пойдем через болото... Мы не спасаем свою шкуру, а выполняем задачу, поставленную вышестоящим командованием. Мы должны захватить господствующую над полуостровом гору, подавить там немецкую артиллерию, помочь войскам захватить город. Пулеметчики поведут огонь короткими очередями и снимутся последними. Все! — Комдив ударил кулаком по столу. — Идите и выполняйте приказ.

Офицеры неохотно покинули теплый блиндаж. Никитин связался с командующим фронтом по радио и доложил свое решение.

— Согласен, — сказал командующий. — Действуйте, мы вас поддержим. Берите гору, закрепитесь на ней и ждите нас.

Пока продолжался разговор с командующим, начальник политотдела, стоя на коленях у раскрытой печки, скрепя сердце сжигал партийные документы.

— «Прошу принять меня в партию коммунистов... Отдам за светлые идеи всю жизнь, до последней кровинки», — прочел он заявление, написанное на зеленом листке немецкой квитанционной книжки, предназначенной для приема зерна от населения.

— Кто написал? — спросил комдив.

— Сапожков.

— Не знаю такого.

— Сапожков подполз и гранатой уничтожил фашистский пулемет. Раненный осколками своей гранаты, остался на ничейной земле. Ночью за ним ходил Харченко и вытаскивал на своей спине... Петров... Плешаков... Лебанидзе... Колесниченко... — Начальник политотдела перечислял

фамилии, прочитанные на заявлениях, которые бросал в огонь.

— Эти все убиты,— подтвердил начальник штаба, ожидая своей очереди жечь оперативные бумаги.

— Медики остаются при раненых? — неуверенно спросил начальник медсанбата.

— Добро, — согласился Никитин. — Оставайтесь...

Со стороны противника послышался шум передвижений огромной массы войск. Урчали грузовики, ревели танковые моторы, ржали лошади. По проливу пробегали прожекторные лучи, вырывая из темноты немецкие быстроходные баржи, караулившие остатки десанта, чтобы не ускользнул морем.

В 23 часа комдиву доложили: раненые, не способные самостоятельно передвигаться, заняли окопы переднего края. В 23 часа 40 минут пулеметчики открыли экономную стрельбу. По всему переднему краю взлетели зеленые немецкие ракеты, и только справа, над болотом, не зажегся ни один огонек. Остатки десанта, построившись в колонну, пошли в ночную темень, навстречу неизвестности.

Никитин шагал во главе остатков 49-го полка, потерявшего в боях весь командный состав. Болото подмерзло, но идти было трудно, вязкая грязь засасывала ноги, в сапоги заливалась холодная вода. Шли часа два молча, стиснув зубы. На противоположном берегу болота комдива ждали разведчики. Они курили, пряча сигарки в рукава шинелей. Только у них и был табак, да и то трофейный. Два человека сидели на земле босые, сапоги их остались в трясине. Никитин послал разведчиков вперед, сократив интервал между ними и головным полком.

Прошли еще метров семьсот. Неожиданно впереди взвилась ракета, загремели выстрелы, стали рваться гранаты. Никитин выругался. Ему хотелось без шума, незаметно дойти до горы, и вот на тебе — пальба.

Он поспешил вперед. Оказалось, боковой дозор напоролся на зенитную батарею, которой еще вчера не было у болота. Немецкие часовые открыли огонь, и пошло, и пошло... Орудийная прислуга не ожидала нападения, и ее быстро перебили в блиндажах, откуда она не успела убежать. Переводчик Володя Куликов, любимец дивизии, — черноглазый, красивый лейтенант, — предложил переодеть двадцать человек в немецкую форму и, как только Никитин разрешил, напялил на себя шинель и картуз убитого

гауптмана. Переодетые солдаты сняли замки с пушек, вооружились немецкими автоматами, наполнили карманы гранатами и пошли веселей. Во время стычки с зенитчиками двое стрелков были ранены. Никитин приказал нести их. Он часто оглядывался, ждал Харченко. Далеко-далеко по переднему краю мельтешили светлячки выстрелов — раненые вели огонь.

На условленном месте, у холма с деревянной тригонометрической вышкой, остановились, перевели дух, принялись грызть сухари. По расчетам, Харченко должен был прийти минут через двадцать, но прошло полчаса, а он не показывался. В его полку оставалось человек триста, и без них атаковать высоту, занятую противником, было невозможно.

Минул утомительный длинный час, а Харченко не появлялся.

— Смылся, подлец, в каменоломни! — выругался прокурор.

— Как это — «смылся»? — возмутился комдив.

— Да так, смылся, и все.

— Ослушался приказа?

Прокурор посмотрел на часы со светящимся циферблатом и, словно не доверяя, поднес их к уху.

Небо серело, медленный зимний рассвет, как вода, разливался по окоему. Время упустили. Затемно до горы теперь уже не дойти. Каждую минуту могут нагрянуть фашисты, навязать бой, перекрыть путь.

Никитин подал команду:

— Вперед, ребята, только вперед!

Шли напрямик, через мокрую степь. Комья грязи налипали на обувь, срывался снег, видимость ни к черту, и это радовало солдат: по крайней мере, не будет бомбежки. Звуки боя на передовой слышались все глуше и глуше и наконец пропали совсем — то ли их поглотило расстояние, то ли там все было кончено.

Будто острая игла вонзилась в сердце комдива. Он вспомнил раненых снайпера Денисова, бронбойщика Круглова, лейтенанта Муху и пожалел, что не отдал приказ нести их на руках. Никто не простит ему... Оставление плацдарма, если посмотреть на дело со стороны, походило на бегство.

Совсем рассвело, когда колонна приблизилась к шоссе, пересекавшему ее путь, подобно широкой реке без переправ.

Никитин подал приглушенную команду:

— Прячь оружие... Смыкай ряды... Вперед!

По шоссе мчались грузовики, шагали фашисты, трое гражданских гнали стадо овец. Два танка остановились против колонны, повернули в ее сторону стволы орудий. Краснорожий, видимо пьяный, офицер, высунувшийся из башни с пистолетом в руках, хищно всматривался в советских солдат, настороженный взгляд его скользнул по вооруженным людям, одетым в немецкую военную форму, встретился с наивными, почти детскими глазами Володи Куликова. Немец спросил:

— Господин капитан, ведете пленных?

— Да, пленных.. С десантом русских покончено навсегда... — Движением руки Володя неохотно нарисовал в воздухе крест.

Танки, отравив воздух бензиновой гарью, отправились дальше. Колонна благополучно перешла дорогу и, отшагав еще километра два, стала подниматься на зубчатую гору, заслонившую посветлевшее небо. На ее склонах располагались основные артиллерийские позиции врага.

Люди были голодны и утомлены до предела, но комдив торопил их. Через четверть часа советская артиллерия откроет огонь по немецким пушкам, расположенным на вершине, после чего Никитин должен атаковать их с тыла, укрепиться и ждать. Ждать, как он уже ждал полтора месяца. Комдив переместился в голову отряда и пошел с разведчиками, все еще надеясь, что Харченко нагонит его.

Неожиданно сзади, снизу, в начале горной дороги, возникла автоматная перепалка, сухо застучали пулеметы, грохнули пушки. «Харченко со своими орлами», — обрадовался полковник. Но радость оказалась преждевременной.

Прибежал запыхавшийся от быстрого бега начальник штаба, доложил: «Колонна танков с пехотой на броне нагнала арьергард дивизии».

Никитин оставил батальон для прикрытия, приказав ему любой ценой удерживать противника хотя бы на час, а сам с остатками дивизии устремился вверх. Солдаты бежали, и он бежал, чувствуя, как у горла колотится тяжелое, будто гири, сердце.

В условленное время артиллерия фронта накрыла обращенные к ней скаты гор. Четверть часа огонь перекачивался по вершине, затем все пушки разом умолкли, наступила минутная тишина, и Никитин, размахивая ТТ, во главе своих солдат кинулся на доты, обращенные ам-

бразурами в сторону белого города, видневшегося внизу кристаллами рассыпанной соли. Он видел, как, распахивая двери, улепетывали фашисты, заметил, как офицер с перекошенным от страха лицом обернулся и выстрелом из парабеллума ранил прокурора. Прокурор ткнулся лицом в камень, потом поднял голову, опершись на локоть, медленно прицелился и убил бегущего офицера. Фашист упал, картинно разбросав руки, на левом запястье поблескивал браслет с квадратными часами.

Разорвавшаяся мина обдала Никитина красноватой каменной пылью, запорошила глаза. Он не был ранен, но перестал видеть, глаза следовало промыть, но ни у кого не было даже капли воды. Все полтора месяца десант мучился от жажды. Пресную воду сбрасывали на парашютах, но ее не хватало, и приходилось пить из луж. Некоторые пытались глотать морскую воду, но от нее рвало... В ушах гудело, и Никитин не разобрал, кто именно заставил его сесть на камни и принялся коньяком протирать веки. Ужасно щипало, было больно, но, приподняв ресницы, он увидел сначала одним глазом, затем другим, как его солдаты врываются в доты, атакуют пушки, гонят врагов, берут их в плен. И предметы вблизи и бегущие люди были неясны, как на плохой фотографии.

Подбежал штабной связист с развернутой рацией, антенна раскачивалась на ней, как зеленый стебель с распутившимся диковинным цветком.

— Передай хозяину, мы уже на вершине горы, — приказал комдив. — Спроси, что делать дальше? И найди мне Харченко.

— А где его най-най-дешь? — Контуженый связист заикался.

Человека следовало заменить, но, кроме него, никто не умел обращаться с рацией.

Незнакомый молоденький солдатик подал Никитину цейсовский бинокль, отобранный у пленного офицера. Приложив окуляры к воспаленным глазам, полковник увидел за городом извилистую линию фронта. С десяток тридцатьчетверок догорали в открытой степи. Наша пехота, покинувшая траншеи, торопливо окапывалась в неподатливом каменистом грунте. Атака по фронту явно не удалась. Все надо начинать сначала. Критическое положение можно спасти только неожиданным ударом с тыла — комдив это понял сразу, как только увидел охваченное огнем

поле боя и двигавшиеся из города к переднему краю немецкие танки.

Перед Никитиным возник невероятный соблазн — с остатками своей дивизии совершить то, что полтора месяца не могут сделать войска фронта. Вот она, главная минута его жизни, решающая все, ради которой он учился в Академии Генерального штаба, приобретал опыт, ради нее он, может быть, родился и жил на свете.

Никитин подозвал к себе командиров поредевших рот. Двое были убиты на горе, на их место он назначил легко раненного прокурора и какого-то расторопного сержанта.

— Приказываю атаковать город с тыла.

Комдив быстро перестроил свои войска, вооружил трофейным оружием и повел их вниз, к домам, охваченным огнем и дымом.

Неожиданный удар с тыла, откуда уже никак нельзя было ожидать русских, видимо, ошеломил фашистские части в городе, не приспособленном к круговой обороне.

После двухчасового боя на улицах и в переулках остатки десанта, совместно с войсками фронта, освободили город. Сотни жителей вышли из подвалов, вывешивали на воротах своих домов цветные наволочки, как флаги. Солдат зазывали в дома, приглашали к столам, уставленным скудными угощениями.

Командующий фронтом, подъехавший на «виллисе», обнял комдива:

— Спасибо, спасибо, дорогой, что догадался сам.

Не слыша самого себя, Никитин выпалил:

— Надо спасать раненых, оставшихся на плацдарме.

Он выпросил танковый батальон, вступивший на главную площадь, и, прыгнув на броню головной машины, со своими воскресшими для битвы ребятами, густо облепившими танки, отправился туда, откуда пришел. Но теперь уже в обход болота. Рядом с ним оказался прокурор, которому не терпелось дознаться о судьбе ускользнувшего от него Харченко.

Комдив только в пути вспомнил, что забыл утолить жажду. А ведь в городе в каждом доме, наверное, есть вода, и можно было вдоволь напиться.

Вернувшись на вершину горы, где еще лежали убитые, свои и чужие, он с высоты увидел, как по всем дорогам отходили немецкие войска, узнавшие о прорыве фронта. Справа бригада тридцатьчетверок, вошедшая в прорыв, вела бой с немецкими танками. Клубились синие облака

дыма, пролетали ослепительные молнии выстрелов и разрывов.

Спустившись вниз, танки обогнули все еще подернутое дымкой и все еще загадочно тревожное болото и помчались к взрытым бомбами и снарядами позициям десанта. Как ни странно, но немцам не удалось прорвать их, — видимо, не хватило каких-нибудь десяти минут.

Сраженные десантники застыли в своих окопах, похожих на могилы. Снайпер Денисов лежал окровавленный, но еще живой; на винтовке, подаренной ему командующим фронтом, был разбит оптический прицел, а в магазинной коробке не осталось ни одного патрона — дюжина трупов в зеленых шинелях валялась перед развороченным окопом. Были живы и бронейщик Круглов, и лейтенант Муха, только каждого дополнительно продырявили по несколько раз. На Мухе была изодранная, обожженная, измазанная засохшей грязью шинель с новенькими погонами, украшенными блестящими, как снежинки, белыми звездочками.

На черной от разрывов «высоте Акимова» лежало два тела, прикрытых изодранным полковым знаменем, посеревшим от пыли.

Комдив, качаясь от усталости, подошел, приподнял край полотнища, увидел желтое, с обострившимися чертами, мертвое и возвышенное лицо Харченко, а рядом совсем юную голову с дыркой посередине лба. На груди Харченко поблескивали три ордена, все пробитые пулями, а вокруг, как маки, алели пятна запекшейся крови — пулеметная струя перерезала его пополам.

Откинутые назад, отливающие сталью волосы, умное лицо мертвого Харченко притягивали к себе. Комдив почувствовал, как близок ему этот упрямый человек и как его будет не хватать ему в дальнейшем. За свою сорокалетнюю жизнь Никитин встречал много людей, соприкасался со многими судьбами, видел много смертей, но никогда не был так огорчен, как теперь.

— Кто тут среди вас старшóй? — спросил комдив у стоявших вокруг десантников.

— Я, командир полка, сержант Акимов, — сказал лежавший на плащ-палатке окровавленный человек. Акимова было трудно узнать. — Когда майора Харченко убили, я, как старший по званию, принял командование. Вот все, что осталось от нашего полка. — Акимов обвел рукой человек сорок, толпившихся вокруг.

— В одном бою убило отца и сына, — сказал броневойщик Круглов.

— Какого сына? Разве у Харченко есть сын?

— Был... младший лейтенант Ваня... Ранили его третьего дня, а сегодня убили... Только фамилия ему не Харченко, а Сапожков, наверное, записали по материнскому паспорту... Мы поклали их рядом и похороним в одной могиле.

Только теперь комдив понял, почему Харченко ослушался приказа.

Но Акимов развеял догадку комдива:

— Как только вы скрылись в болоте, немцы с моря нам в спину высадили свой десант. Майор не раздумывая повернул полк супротив них. Когда фашистов все-таки скинули в море, занялся рассвет и догонять вас было не с руки. Полк занял прежние окопы... А потом ударили минометы, налетели ихние самоходы, начальника политотдела убило, майора Харченко тоже, но, как видите, десант устоял, а тут и вы со своими танками выручили нас...

Кусая бескровные губы, бледные от потери крови, прокурор слушал рассказ Акимова, затем достал свою заветную записную книжку, нашел заметки о Харченко, разорвал листки и пустил их по ветру.

Выглянуло солнце, и клочки бумаги, замелькав словно белые бабочки, напомнили о весне.

1967 г.

Вдова

В марте 1944 года я возвращался из челябинского госпиталя на фронт. Вместе со мной в купе ехал приятный человек в полувоенном костюме, с орденом «Знак Почета» на гимнастерке. Почти всю дорогу мы играли с ним в шахматы. Играл он мастерски, и, кажется, я не выиграл у него ни одной партии.

Поезд пришел в Москву, и мы расстались. Вскоре я забыл его имя и ни разу не вспомнил, может быть, потому, что не приходилось больше садиться за шахматную доску. Но люди расходятся и часто встречаются вновь.

Случай свел меня с этим человеком.

Наши войска только что освободили Збараж — маленький городок Западной Украины. Я шел по освещенной летним солнцем улице и неожиданно встретил сво-

его знакомого. Мы остановились и обнялись, как старые приятели. И я сразу вспомнил, что фамилия его Макогоненко.

— Ты что здесь делаешь? — воскликнул я.

— Как что? — удивился Макогоненко. — Я один из секретарей Тернопольского обкома партии. Вот и приехал поближе к Тернополю. Скоро вы его освободите, вояки? Я здесь со всем аппаратом обкома. Живем вон в тех трех домах. — Макогоненко показал на увенчавшие зеленый бугор двухэтажные небольшие особняки. — Приходи к нам обедать. Может быть, по старой памяти срежемся в шахматшки. Я все время вожу с собой шахматы, жаль только, что потерял где-то черного слона.

В полдень я был у Макогоненко. Он и еще трое сотрудников обкома квартировали в особняке, к которому примыкал старый фруктовый сад. Обкомовцы занимали первый этаж дома, а на втором жили хозяева — отец, мать и дочь.

Когда мы с Макогоненко рассматривали в саду кусты цветущих роз, на балконе на какое-то мгновение появилась юная девушка, одетая в короткое белое платье без рукавов. Опершись о перила, она посмотрела куда-то далеко-далеко, за горизонт, и, словно не замечая нас, скрылась за стеклянной дверью, казавшейся из сада черной.

— Хороша, а? — спросил Макогоненко заговорщицким тоном, глядя на дверь, в которой, как в зеркале, отражался сад.

— Вроде бы да, — ответил я, не успев как следует разглядеть белое видение.

— Польские женщины горды и красивы.

— Разве хозяева поляки?

— Да, и они довольны, что мы поселились у них. Вблизи города бродят бандеровские банды и вырезают польское население, ведут себя будто махновцы в гражданскую войну.

К обеду Макогоненко пригласил хозяев. Они долго отказывались, но все же пришли, и я смог поближе разглядеть девушку, которую звали Зосей. Высокая, стройная и гибкая, как хворостинка, она села на стул между матерью и отцом, и хотя я оказался напротив, долго не мог определить цвет ее продолговатых глаз, полуприкрытых ресницами.

Обедали мы на втором этаже, в просторной комнате, за круглым столом.

Обкомовцев было пятеро — трое мужчин и две усталые женщины неопределенного возраста.

Мужчины пили спирт, разбавляя его холодной водой. Для женщин достали бутылку виноградного вина. Хозяйка испекла из обкомовских продуктов пирог с мясом; лучшую закуску было трудно придумать, и все были оживлены и довольны.

После двух рюмок мы разговорились. Хозяйка с тревогой в голосе рассказала, что в деревне, в пяти километрах от Збаража, ночью бандеровцы вырезали дюжину польских семейств. Она тоже побаивается нападения бандитов, так как советские войска продвинулись вперед и в городе нет гарнизона.

Зося молча отхлебывала чай из чашки и, казалось, не слушала мать, продолжавшую говорить о бандеровцах. Мысли девушки бродили где-то за тридевять земель. Я любовался ею, хотелось сказать ей что-нибудь приятное.

Взгляд мой остановился на книжном шкафу и задержался на внушительных томах в серых переплетах — сочинениях Генриха Сенкевича. Я сказал, что читал книги этого польского писателя, назвал имена героев его произведений — Скшетуского, Кмицица, пана Володыевского, Заглобы. Поляки оживились. Зося наконец-то подняла ресницы, и я увидел ее темно-синие удивленные глаза.

— Я еще помню Подбиценту из Мышекишек. Он одним ударом меча срубил три вражьи головы, — припомнил я эпизод из романа, читанного в детстве.

— Я вам покажу место, где Лонгин Подбицента одним взмахом меча отсек головы трем янычарам. Ведь это произошло у нас в Збараже, неужели вы не помните?

— Как не помнить... Поэтому я и заговорил о Сенкевиче, — сказал я.

— Мама, дозвожь мне с паном майором пойти к крепости, — попросила Зося у матери и встала из-за стола.

Мать разрешила. Мы незаметно покинули прокуренную комнату и с облегчением вышли на освещенную солнцем тихую улицу.

Подобно дикой козочке, прыгала Зося впереди меня по теплым каменным плитам тротуара. Как-то она остановилась, посмотрела на меня в упор, строго спросила:

— А Словацкого вы любите?

— Люблю.

— А Мицкевича?

— Обожаю. Когда я бываю в Ленинграде, то как зачарованный брожу по набережной, там, где гуляли Мицкевич и Пушкин.

— Правда? — спросила девушка.

— Правда. — Я взял ее тонкую ладонь в свою, и она ее не отняла.

Пройдя по главной улице, мы спустились к старинной крепостной стене, сложенной из крупных белых камней, и пошли в ее прохладной тени.

Из каменных трещин пробивались цветы и травы, я даже заметил зеленую ящерицу, проворно пробежавшую снизу вверх и с любопытством посмотревшую на нас.

Тротуар у стены сузился, и Зося вновь запрыгала впереди. Я шел по ее следам.

— Вот здесь! — сказала она и подняла кверху свою гордую красивую голову, отягченную золотыми косами. — Здесь пан Подбиента одним ударом меча срубил головы трем туркам. — И Зося торжественно показала на ровный обрез стены.

Мы молча постояли у знаменитой стены и пошли обратно окольным путем.

Невдалеке от костела повстречали старого толстого ксендза.

Зося почтительно поздоровалась с ним. Не обращая никакого внимания на меня, ксендз благословил девушку, преклонившую перед ним левое колено, спросил ее — здоровы ли отец и мать.

— Хотите послушать органную музыку? — обратилась Зося ко мне.

— С вами я все хочу.

— Отец, пан майор хочет послушать орган. Ведь вы сами хвалились, что второго такого не найти во всей Польше, — напомнила Зося ксендзу, любовавшемуся ее лицом.

По маленьким, умным глазам священнослужителя я понял, какую силу имела над ним юная красавица. В знак согласия он наклонил тяжелую голову так, что жирный подбородок свесился на его коричневую сутану из грубого сукна. Толстые пальцы пошарили в многочисленных складках одеяния и вынули из кармана связку ключей.

— Пойдем, дитя мое... И вы, вы тоже, если вам не будет скучно...

У входа в костел, спугнув утоляющих жажду воробьев, Зося обмакнула длинные белые пальцы в каменную чашу с водой, приложила их к чистому открытому лбу. Ключом огромным, как пистолет, Ксендз открыл массивную, украшенную резьбой дверь и с силой потянул ее на себя. Пахнуло прохладой, и мы вошли в полутемный храм. Девушка опустила на одно колено, прошептала молитву.

Ксендз исчез в полутьме. Мы сели на заскрипевшую деревянную скамейку, напоминающую школьную парту. Вдали горела толстая свеча, освещая голые жилистые ноги распятого Христа.

Откуда-то с вышины пророкотали грозные, величественные звуки, громоподобно прокатились перед алтарем и, подымаясь все выше и выше, исчезли под высокими сводами. А потом одна за другой побежали незримые волны звуков, напоминающие то шум моря, то шелест взволнованной ветром пшеницы, защелкали соловьи, запели радостные человеческие голоса, зазвенели дождевые капли, ударяясь о землю, и солнечный свет, переломившись через витражи, радугой повис в клубящейся, как туча, темноте храма.

— Иоган Себастьян Бах? — неуверенно сказал я.

— Нет. Токката ре минор Фрескобальди, — возразила девушка, и я понял, что старый каноник играл не для бога, а для нее.

Минут пять мы слушали молча, а затем Зося шепнула:

— Вы никогда не были в Варшаве?

— Не был, но побываю, — пообещал я.

— Там есть памятник Шопену. Он сидит под бронзовым деревом у пруда. Ветер наклонил дерево, разметал его прическу, и не поймешь, где волосы, а где ветви, все смешалось в одном порыве.

Торжественная, прекрасная музыка органа умолкла, и мы тихо вышли на улицу. За спиной проскрипел ключ, повертываемый в замке.

Из-под карниза колокольни вылетела стая голубей и, сделав над нами круг, умчалась в сторону крепости. Ксендз приложил широкую ладонь к большому волосатому уху, прислушался.

— Летят! — пробормотал он.

Это был нарастающий гул немецких бомбардировщиков.

— Как вы думаете, будут бомбить? — бесстрашно, может быть, с каким-то нарочитым задором спросила Зося.

— Нет, — уверенно ответил я. — Самолеты возвращаются из нашего тыла. Они уже сбросили бомбы.

Мы с Зосей вернулись в дом, и было похоже, что никто не заметил нашего отсутствия. Обкомовцы, сидя все в той же комнате, спорили о том, когда откроется второй фронт. Хозяев там уже не было, и Зося, задержавшись на минуту у двери, ушла на кухню помогать матери.

Я подошел к Макогоненко и сказал, что хочу засветло добраться до окраин Тернополя, где наступала наша дивизия. Он не стал задерживать. Я пожал всем руки, кликнул Мишу Слепова — своего шофера, и, не прощаясь с хозяевами и Зосей, сел в теплый, нагретый солнцем «виллис». Через четверть часа тихий Збараж едва виднелся в золотистой дымке. Спустя несколько минут я еще раз оглянулся. Но городок уже заслонили зеленые холмы и рощи.

Видимо разгадав мои мысли, шофер сказал:

— И до чего симпатичная хозяйская дочка, все равно как Беатриче.

Я сделал вид, что дремлю. Я любил ездить молча.

Через два дня мне захотелось снова увидеть Зосю. Я нашел предлог для поездки и оправился в Збараж.

Макогоненко был занят. Он диктовал близорукой машинистке какой-то обширный доклад. Все же он отложил работу и минут десять сидел со мной на деревянной скамье в саду, где ветерок смешивал запахи цветущих роз, резеды и мяты.

Макогоненко тревожно расспрашивал меня о положении в Тернополе. Я сказал, что в городе идут уличные бои, и неохотно отвечал на другие вопросы. Я ждал появления Зоси, уверенный, что она знает о моем приезде. Вскоре она появилась на балконе все в том же белом платье. Я встал со скамьи, на которой были вырезаны ее инициалы, и поклонился ей. Она помахала мне тонкой обнаженной рукой и снова исчезла.

— И красива, и независима, но тебе, брат, тут не светит, — сказал Макогоненко. — В нее по уши влюблен летчик — Герой Советского Союза, вылитый Серега Есенин. И вчера и сегодня утром он вязал над ее домом «мертвые петли», а она стоит на балконе и загадочно улыбается. Хотел бы я знать, что она думает в такую минуту.

Вряд ли Макогоненко разыгрывал меня. Я знал, что

в районе Збаража расположился авиационный истребительный полк.

Прошло всего два дня, как я держал ее прохладную руку в своей руке, как мы сидели в полутемном костеле и наши колени касались, и вот уже новый герой вяжет в воздухе петли, а она улыбается ему с балкона, совершенно позабыв обо мне.

Я облизал пересохшие губы, почувствовал привкус полыни, кликнул Мишу и, ни с кем не попрощавшись, умчался в Тернополь, затянутый траурным дымом большого сражения.

Неделю я пробыл на переднем крае, а затем снова помчался в Збараж. Подъезжая к дому Зоси, я увидел торчащий в саду из земли расщепленный хвост сбитого самолета. Сердце мое сжалось, все было понятно, и ничего не следовало расспрашивать.

Макогоненко, увидев меня из окна, выбежал на улицу.

— Как хорошо, что ты приехал! Я, брат, сегодня именинник, стукнуло тридцать три годочка, по сему случаю хозяйка пирог испекла...

И ни слова о Зосе, о самолете...

Я рассказал ему о положении в Тернополе: кольцо нашего окружения замкнулось, но фашисты упорно сопротивляются...

Нашу беседу, продолжавшуюся и за шахматами, прервала хозяйка и позвала к столу. Мы поднялись по деревянной лестнице на второй этаж в знакомую мне комнату. За круглым столом, покрытым кремовой скатертью, сидели товарищи из обкома партии, хозяин дома и Зося. Рядом со стулом Зоси стояло пустое кожаное кресло, на которое хозяйка усадила меня.

Я пожал холодную руку девушки, и мне показалось, что она откликнулась на мое пожатие. Я поглядел на нее. Она была бледна и выглядела почти девочкой.

Хозяйка умело на равные части разрежала горячий, дымящийся пирог. Макогоненко разлил по стаканам разведенный голубоватый спирт. Обкомовская машинистка предложила тост за грядущую победу, и мы, не морщась, выпили до дна.

Пирог оказался на редкость вкусным, все хвалили кулинарный талант хозяйки. Она краснела и принимала похвалы как должное. Польщенный хозяин тоже подобрел, встал из-за стола и, вернувшись через четверть часа,

принес три запотевшие бутылки вина, с шумом поставил их на стол.

Вино было сухое, приятное на вкус, бледно-золотистого цвета. Зося выпила небольшой бокальчик и поставила его рядом с моим стаканом. Издалека доносился гул артиллерийской стрельбы, и бокал, касаясь стекла стакана, издавал тонкий тревожный звук. Я наклонился к девушке и спросил шепотом, отчего она так грустна.

— Скучно мне здесь. Не могу я так больше. — И, помолчав немного, вызывающе добавила: — Уйду в армию!

— Куда, куда? — удивился я.

— В армию, — упрямо повторила она шепотом, что бы не слышала мать.

На столе появился жареный гусь, разрубленный на куски, и кувшины с прохладным грушевым квасом. Последний луч солнца задержался на стене, позолотил раму на картине, изображающей польского короля Яна Собесского, и угас.

Хозяин минут десять постоял у окна, с сожалением закрыл его и опустил штору из плотной черной бумаги, предназначенную для затемнения.

В комнате сразу запахло табаком и стало темно. Хозяйка зажгла висячую керосиновую лампу. Макогоненко размахивал руками, что-то доказывал своему заместителю, за столом царил гул множества голосов, но я различал в нем пока еще далекие посторонние настораживающие звуки — к городу приближались немецкие бомбардировщики.

Я потянулся за бутылкой, налил вина себе и Зосе, медленно выпил, ощущая, как по жилам потекла приятная теплота. Гул авиационных моторов словно испарился, а может быть, я забыл о нем. Вино многое может сделать с человеком.

— Один ваш летчик рассказывал, что в России собрана армия из поляков. Это правда? — спросила Зося. Она еще хотела что-то узнать, но раздался нарастающий свист, будто навстречу нам, стоящим на рельсах, мчался локомотив. Какая-то сила расколола землю, сорвала черную штору, будто парусом больно хлестнула по лицам, на пол со звоном рухнули стекла вдребезги разбитого окна, за которым вонзались красные молнии разрывов и каких-то неестественных желтых теней. Под потолком, как маятник, качалась лампа.

Все вскочили из-за стола и кинулись прочь, сталкиваясь в дверях, мешая друг другу. Машинистка упала и закричала, как будто кто-то в темноте наступил на нее. Зося тоже рванулась, но я схватил ее за руки, придержал.

— Скорей, побежали, под домом подвал! — разобрал я по движению белых губ.

— Если бомба шарахнет в дом, то достанет нас и в подвале.

Я отодвинул кресло подальше от окна, опустился на мягкое сиденье, успевшее покрыться пылью, посадил ее на колени и крепко обнял. Девушка не сопротивлялась, не возражала, и только слышно было, как бешено стучит ее испуганное сердце.

Косая молния разрыва метнулась от земли в воздух, осветила голые деревья и далекие холмы; теплая, удушливая волна горелого тротила пахнула в комнату, внесла сухие листья, сбросила на пол стаканы.

Я мягко погладил худые руки Зоси, провел ладонью по волосам и коснулся губами виска, на котором билась жилка. Мое спокойствие передавалось ей.

— Свет! — сказала она. — Погасите лампу.

Поднявшись во весь рост и протянув руку к потолку, я прикрутил фитиль настолько, что он, зашипев, погас.

Я подошел к разбитому окну, за которым бушевал желто-красный ураган, и так простоял несколько минут, даже не подумав о том, что испытываю судьбу. Бомбы раскалывались невдалеке с ослепительными вспышками — что-то среднее между грозой и фейерверком, это сходство подчеркивали и химический запах, и клубящиеся облака дымного огня, неистовствовавшего над нами. В небе, словно гигантские мечи, скрещивались острые прожекторные лучи, вспыхивали лохматые звезды зенитных разрывов.

— Отойдите от окна, — потребовала Зося. Но я отошел только тогда, когда она стала рядом.

Неожиданно буря утихла, стало слышно, как со стола на пол падают капли пролитого вина.

— Все сбежали в подвал, и кажется, во всем мире остались только мы с вами, — сказала Зося. Она поставила на стол опрокинутую бутылку и призналась: — Не могу я дальше так жить. Уйду в польскую армию, буду помогать солдатам...

— Зося, ты здесь? — На пороге возник темный расплывчатый силуэт хозяйки. — Ты жива?

— Да, мама.

— Боже мой, какой ужас! В подвал набилось столько людей, нечем было дышать.

— Все испугались, убежали, а вот пан Аксенов остался и сделал так, что и я перестала бояться.

Вошел Миша Слепов, бесстрастным голосом доложил:

— На улице солдата наповал убило; осколок смял на машине левую фару.

Комната стала наполняться виновато улыбающимися людьми. Хозяин приладил к окну измятую штору, бледный Макогоненко засветил лампу.

Стол был присыпан мельчайшей серой пудрой. Напротив окна, в стене, словно нож, воткнутый с размаху, торчал осколок авиабомбы с лиловыми зазубренными краями. Слепов хотел выдернуть его и ожег ладонь. Хозяйка посоветовала ему смочить больное место крепким настоем чая. Шофер полил платок из маленького чайника и, перевязывая руку, поглядел на ручные трофейные часы, но я и без него знал — пора ехать.

Когда мы прощались, я заметил, что Зося смотрит на меня не так гордо, как раньше. Собралось много людей, и я уехал, так и не сказав ей всего, что собирался сказать. Что мог я сказать, если был старше ее почти вдвое.

Окруженная в Тернополе фашистская группировка сложила оружие. Обком партии переехал в разрушенный город.

Фронт продвинулся от Збаража дальше, на запад, но я все же побывал там еще раз. Встретила меня мать Зоси и, потушив глаза, слегка возвысив голос, сказала, что дочь ее больна и не велела к ней никого пускать.

— Вот как?.. Ну что ж, скажите, что явился Иван Аксенов. Если она не захочет меня видеть, я немедленно уеду, — отвечал я.

Пожав плечами, мать ушла, минут через пять вернулась и молча провела меня в полутемную комнату — спальню Зоси.

Ослепленный сумраком, я задержался на пороге, а когда глаза освоились с полумраком, увидел больную, и сердце мое забилося. Она лежала на кровати, накрытая одеялом, поверх которого бессильно вытянулись ее худые руки.

— Я знала, что вы приедете, и ждала вас каждый день, все прислушивалась к звукам проезжающих автомобилей.

— Я тоже думаю о вас каждый день.— Я взял стул и присел у столика, на котором стояли пузырьки с длинными сигнатурками.

— Если это возможно, узнайте, как мне связаться с какой-нибудь польской воинской частью,— попросила Зося.

— Почему польской? Ведь у вас советское гражданство. Вас возьмут в любой советский госпиталь.

— Я полька и хочу к полякам, и не в госпиталь, а к автоматчикам. Я хочу стрелять в фашистов. Как только освободят Польшу, наша семья переедет к Варшаву. Мой папа из Варшавы.— В ее словах прозвучали боль и насмешка над своей судьбой и над своей болезнью.

В комнате послышался шум, и я увидел в самом темном углу монахиню в белом накрахмаленном чепце, стоявшую неподвижно, как изваяние. Шурша длинным черным одеянием, монахиня выбралась на свет, высокомерная, с надменным жестким лицом.

— Пан офицер, не слушайте барышню, она хворая, и все, что говорит, все бред, не больше. Ей надо не воевать, а лековаться.

— Как вы мне надоели с вашими бесконечными нотациями и проповедями,— девушка приподнялась, опершись спиной о белоснежную подушку с кружевами.— Хочу на волю! — и заломила над головой сухо хрустнувшие руки.

В комнату вошла мать, ее явно беспокоило мое появление.

— Пан офицер, дочке вредно разговаривать, — и, вежливо показав на светлый прямоугольник открытой двери, добавила: — Аминь!

— До свидания, Зося, поправляйтесь быстрее,— сказал я, задержавшись на пороге. Почему-то мне показалось, что я никогда больше не увижу ее.

И действительно, когда я уже зимой попал в Эбараж, Зоси там не оказалось.

Отец ее, выйдя на улицу, после того как я позвонил у калитки, сказал:

— Девочка моя в армии.

— В какой армии? — удивился я.

— В польской. Разве вы не знаете? Она ведь собиралась вам написать. У нее в блокноте сохранился номер вашей полевой почты.

Больше старик ничего не сказал. То ли сам не знал, то ли не хотел говорить.

Две польские армии подошли к своей родной, отныне свободной Висле. Они находились на демблинском и магнушевском плацдармах, по ту сторону реки. Я побывал во всех польских дивизиях, все искал Зося и нигде не находил. И вдруг неожиданно встретил ее в старинном замке. Зося была в военной форме, в кокетливой конфедератке, с новенькой медалью на груди.

В замке толклось много народу, а я видел только ее одну, ее непокорные золотистые локоны, падающие на плечи и закрывающие погоны так, что нельзя было разглядеть ее звания. Зося обрадовалась мне.

Она стала еще прекраснее: стройная, легкая, в сапожках на высоких каблучках, но с животиком, ясно обозначившимся под ее узким форменным платьем. Я вздрогнул.

— Я вышла замуж, — поняв мое смущение, сказала она и, взяв под руку на виду множества — я это угадывал — неравнодушных к ней офицеров, провела к своему мужу.

Ему было за пятьдесят, но я не удивился его браку с Зосей. Это был храбрый человек, некрасивый, но значительный и интересный. В Испании он командовал Интернациональной бригадой, а позже оказал немецким фашистам сопротивление под Вестерплатте. Его знала вся Польша.

Генерал позвал ординарца и велел накрыть стол. Появилась официантка с подносом в руках, на котором стояли бутылка, очевидно, трофейного вина с французской этикеткой 1877 года и два тонких бокала.

— Я предлагаю тост за ваши успехи, — откупорив бутылку и разлив вино, сказал генерал, обращаясь ко мне. — Зося говорила о вас. Стоять под бомбежкой на виду у девушки, это стоит многого...

Не знаю почему, но я покраснел и поглядел на дверь, собираясь уйти. Бокал, на котором был изображен герб рода князей Радзивиллов — скачущий всадник на красном поле, дрожал в моей руке.

— Мне пора, — заторопился я.

Генерал пожал мне руку, и мы понимающе поглядели друг другу в глаза. Может быть, чуточку больше, чем надо, я задержал взгляд на его совершенно лысом чере-

пе и чуть-чуть недовольном лице, не умеющем притворяться и лгать. Как-то слишком уж официально поклонился Зосе и, неуклюже ударившись о дверь, стремительно вышел.

Через три дня я прочел в газете сообщение о том, что генерал героически погиб, а вскоре от товарищей узнал подробности.

Бомбежка застала его в том самом старинном замке. На беду окно оказалось раскрытым. Генерал подошел к нему и с минуту смотрел, как рвутся бомбы. Осколок величиной с гривенник попал ему в сердце и сразил наповал.

Так Зося стала вдовой.

...Недавно я посетил Польшу. В Военном музее, где собрана большая коллекция средневекового оружия, среди боевых реликвий последней войны я увидел любительскую фотографию, на которой были изображены генерал и Зося. Я спросил, кто снят с генералом. Мне ответили, что это его жена. Правительство выдало ей персональную пенсию и подарило особняк недалеко от Воли Железовой — родины Шопена. Она безвыездно живет там с матерью и отцом.

Многие известные люди сватались к ней, но она предпочла остаться верной памяти мужа и не снимает черного вдовьего платья. Сын ее, названный в честь отца Августом, учится в военном училище и вскоре в звании лейтенанта будет зачислен в Войско Польское, может быть, даже в дивизию, которая носит имя его отца.

1960 г.

Замок

Старенький туристский пароходик с деревянными плитами, покрытыми зелеными водорослями, причалил к небольшой пристани, расположенной рядом с гостиницей. Пассажиры, покинув палубу, направились в ресторан, откуда вкусно пахло жареным мясом. Цимбал выбрал столик на террасе у самой ограды, украшенной вьющимися стеблями крученого паныча, семена которого, видимо, завезли с Украины. Никто из спутников к нему не подсел, но подошла миловидная девочка лет пятнадцати с корзиной бумажных цветов. Эти места славились в Германии изготовлением искусственных цветов, которые развозили отсюда по всей Европе. Цимбал поднял глаза и обомлел—

он уже видел эту девочку двадцать семь лет назад: то же лицо, те же глаза, те же косы, двумя золотыми ручейками стекающие по груди, тот же рост, те же полноватые крепкие ноги. Так же смущенно опустила глаза, словно стыдится своей красоты.

— Эльза! — воскликнул пораженный редким сходством Цимбал.

— Вы меня знаете? — удивилась девочка и, словно разгадав что-то интимное, чужое, добавила: — Мою маму тоже зовут Эльзой. Вы увидите ее в замке Кёнигенштайн, и она и я прожили там всю жизнь.

— Я тебя вижу впервые, — сказал Цимбал.

— Странно, — удивилась девочка.

Цимбал отобрал три гвоздики — две белые и одну красную. Цветы были как живые, только не пахли.

Принесли завтрак. Расправляясь с яичницей и запивая светлым пивом, Цимбал смотрел через реку на высокий противоположный берег. Левее, на огромной скале, возвышался старинный замок.

Официант, вернувшийся за посудой, проследив за взглядом Цимбала, сказал:

— В годы войны замок служил тюрьмой для военнопленных. В ней томились генералы и особо заслуженные офицеры... Только одному человеку удалось оттуда бежать, но никто не знает его судьбы.

Успевшие позавтракать туристы возвращались на пароходик. Все говорили о замке. Цимбал присоединился к ним. Он слышал разговоры и улыбался — о замке он знал куда больше, чем все они, хотя в руках у многих мелькали проспекты с описанием замка, отпечатанные на немецком языке. Он был узником этого каменного каземата. Проспект лежал и у него в кармане пиджака, но он не стал его даже просматривать.

Когда все пассажиры собрались на палубе, пароходик проворно поплыл вниз по течению и, обогнув величественную, словно собор, скалу, будто короной увенчанную каменным замком, причалил к противоположному берегу.

По тропинке между вековых деревьев гид вывел туристов на мощеную дорогу, подымавшуюся в гору, и вся группа, пройдя километра два, вышла к тяжелым воротам замка, у которого торчали врытые в землю стволы медных пушек, полные окурков.

Неожиданно возник деревянный мост, подвешенный на тяжелых якорных цепях через глубокий ров. На ка-

менном дне его змеился светлый ручей. Перейдя через мост, люди вошли под гулкие своды, напоминающие широкий туннель, круто уходящий кверху. Каких-нибудь сто шагов — и все взмокли, достали носовые платки, пошли медленней, обращая внимание на стены, испаряемые подписями узников, сделанными в начале сороковых годов.

Шли вдоль толстого железного каната, приведшего к лебедке и машине, как заметил гид, подымавшей когда-то наверх кареты.

Наконец выбрались на светлую четырехугольную площадь, окаймленную каменными домами, за которыми шумели высокие деревья. Цимбал хорошо знал этот плац. В центральном доме бывшей резиденции саксонских королей жил комендант с семьей, в правом помещалась казарма небольшого эсэсовского гарнизона. В левом, стоявшем над обрывом, располагались камеры узников.

Туристы сбились стайкой, и гид начал рассказывать полную кровавых злодеяний историю замка, начав ее со времен возникновения германских княжеств. Затем он заговорил о годах войны.

— Двести четырнадцать пленных томились на скале в стенах замка, но только одному счастливцу удалось бежать.

Все изумленно ахнули. Сердце Цимбала замерло.

— Это был русский летчик Герой Советского Союза Иван Семиволос, — объявил гид. — Фотография его помещена в проспекте, который вы купили на пароходе.

Цимбал удивленно приподнял сросшиеся брови. Он развернул проспект, сразу увидел фотографию Семиволоса. Он помнил молодого парня — старшего лейтенанта, с неукротимым нравом, кажется, шахтера из Донбасса. Но Семиволос не бежал, а был расстрелян за неповиновение и дерзкий характер. Произошла ошибка! Почему же назвали Семиволоса, а не того, кто бежал?

Но тут же последовало и объяснение:

— Ни один узник тюрьмы не остался жив. Все погибли в разное время. Даже могилы их не сохранились. Расстреливали на краю обрыва, тела падали вниз, разбивались о скалы, их растаскивали горные орлы.

Гид продолжал рассказ, но Цимбал не стал слушать. Он мог бы поведать куда больше и интереснее, чем гид, ибо, как никто, знал человека, совершившего дерзкий побег. Цимбал отделился от плотно стоявшей группы, не

спеша пошел вдоль невысокой каменной стены, ограждающей площадку от отвесной пропасти. Поверх нее, словно телефонный кабель, лежал железный провод. Он был гладкий, слишком много рук скользили по нему, когда люди обходили по кругу площадку.

С высоты хорошо просматривалась Эльба с ее плавными изгибами, скалами и замками на них. На ближних островах, окаймленных песчаной кромкой, виднелись крестьяне, убиравшие сено косилками. Цимбал споткнулся, вдрогнул. Он дошел до угла тюрьмы, до места, откуда бежал смельчак, кстати, не летчик, как его представил гид, а морской пехотинец. Попад в страшный тюремный замок, он сразу решил бежать. Дерзкий замысел свой обдумывал долго. Малейшая оплошность могла погубить. Война научила действовать наверняка, он боялся сделать необдуманный, пагубный шаг.

Цимбал прислонился спиной к высокому дубу, закрыл глаза и словно увидел всю картину побега. Перед ним возникла пятнадцатилетняя Эльза, дочь начальника тюрьмы, влюбившаяся в морского пехотинца. У него было приятное, красивое лицо, и, несмотря на худобу, он одним своим видом располагал к себе. Она была хороша собой — не женщина и не девочка, с благородным лицом, с вишневым румянцем на щеках, голубыми, какими-то бархатными глазами, изумленно глядевшими из-под черных бровей. Чистое сердце ее, не знавшее любви, готово было раскрыться и полететь навстречу другому сердцу. Цимбал знал, что если в этом возрасте полюбят, то беззаветно, очертя голову. Любовь эта возникла не сразу. Понадобились долгие месяцы, пока девочка обратила внимание на русского парня со смуглым, молодым, веселым и смелым лицом, заговорила с ним, затем постепенно все больше и больше проникалась доверием и, наконец, сама себе бо-ясь признаться, влюбилась в него.

У желчного, всегда раздраженного коменданта тюрьмы было шесть дочерей. Эльза старшая. Матери у нее не было. Ее заменяла мачеха — злая, болезненная женщина, обремененная детьми и хозяйством, издевавшаяся над нелюбимой своенравной падчерицей, еще помнившей мамино внимание и ласки. Мачеха часто ругала ее и даже била, и не только на виду у эсэсовцев, но и на глазах заключенных. Однажды морской пехотинец заступился за девочку, вырвал ее из цепких рук разъяренной мегеры и заслониł собой. При тюремном режиме это был неслы-

ханный бунт. Комендантша пожаловалась мужу, и в тот же день моряку всыпали двадцать плетей.

Девочка видела, как секли ее заступника. Он лежал на деревянной лавке со связанными руками и ногами и, стиснув зубы, не проронил ни слова. Мужество пленного потрясло воображение юной ффрау, не переносившей боли.

Морской пехотинец неплохо знал немецкий язык. В конце тридцатых годов он ходил на вечерние курсы немецкого языка, работал дома со словарями, читал в оригиналах книги немецких писателей. Усилия его не пропали даром, и все, чего он достиг в познании языка Гете и Шиллера, пригодилось ему на войне.

Как-то он помог Эльзе донести тяжелую корзину картофеля. Однажды нарисовал ее же цветными карандашами окрестный пейзаж, который ей понравился, и она с благодарностью унесла его домой. Потом он узнал, что брат ее матери был сослан в лагерь, и это послужило причиной развода отца с ней. У Эльзы все не ладилось в школе с алгеброй и геометрией, и он, с согласия отца, помогал девочке решать трудные задачи.

С каждым днем недоверие пропадало все больше.

Отец заходил к ним в комнату, когда они занимались. Лицо у него было мясистое, красное, дышало спесью, властью, силой. Он нагибал бычью шею, просматривал тетради. Горе ждало того человека, который посмел бы встать на его пути. Пленный уже успел присмотреться к нему. Он был безжалостен к себе, заключенным, охране. Только одна была у него слабость — старшая дочь.

Морской пехотинец сидел со своей ученицей, прислушивался к шелесту ее платья, ощущал тепло, излучаемое ее телом, смотрел и все никак не мог наглядеться на прекрасное матовое лицо. В изломе темных бровей чувствовалась молодая, пробуждающаяся воля, глаза сияли умом, и во всем облике было разлитое детское очарование и прелесть. Все это доставляло узнику томительную радость, пробуждало смутные надежды, а какие, он и сам не знал.

Немецкую девочку покоряли знания русского парня, его внимание и такт. Ни одного лишнего слова, ни одного неосторожного движения, способного сразу разрушить все. Она была поражена, что он наизусть мог читать отрывки из «Нибелунгов», которых не знал даже учитель.

Как-то он прочел из «Фауста» Гете.

Я предан этой мысли! Жизни годы
Прошли педаром: ясен предо мной

Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой! ¹ —

прочел красивым, выразительным голосом и тут же добавил:

— Это любимые строки Эрнста Тельмана.

— Дядю убили, потому что он агитировал за Тельмана,— добавила потрясенная девочка.

Изредка, когда они занимались, в комнату Эльзы, увешанную географическими картами, словно цветными коврами, неслышно входил отец. Он задерживался на пороге и, широко расставив ноги, с любовью смотрел на дочь, затем подходил, гладил ее золотистые волосы, целовал глаза и щеки, вздыхал.

Заключенный почтительно вставал, опускал руки по швам — комендант тоже медленно привыкал к нему.

Дела у гитлеровцев на фронте шли все хуже и хуже, и эсэсовцы, зная, что за все рано или поздно придется расплачиваться, несколько сбавляли свой зверский пыл.

Эльза болезненно относилась ко всему, что касалось родной матери, питала неизъяснимую нежность к бесследно исчезнувшему дяде. Морской пехотинец при случае заводил о них разговор, и девочка любила, когда он произносил хорошие слова о ее близких, о которых никто дома не вспоминал. Он не разговаривал с нею тоном снисходительности и напускной детскости, каким с нею обычно говорили немецкие солдаты, а говорил, как равный с равной.

Как-то он, полный решимости, спросил Эльзу:

— Если бы представилась возможность — помогла бы дяде бежать из тюрьмы?

— И глазом бы не моргнула,— не раздумывая, ответила Эльза, на лету угадывая его мысли.

Русский воспрянул духом.

Однажды мачеха поколотила Эльзу. Вся в слезах, девочка прибежала к своему защитнику, подстригавшему в саду кусты роз, повисла у него на шее, разрыдалась. Он осторожно погладил ее голову, коснулся губами ее виска, успокоил. Так случалось не раз. Девочка проникалась все большим чувством к нему. Это было ее первое, еще не осознанное чувство. Как-то в порыве откровения она сказала ему, что любит его. Он отшатнулся от неожиданно-

¹ Перевод Н. Холодковского.

сти — и она это оценила, — взял ее тонкие руки и, заглядывая в глубокие глаза, сказал просто и откровенно:

— Помоги мне бежать... Русский человек не может любить в неволе, со связанными руками. Придет время, и я вернусь к тебе, если ты не забудешь меня...

Он никогда не был счастлив так, как теперь, держа в своих ладонях ее горячие тонкие руки.

— Я понимаю твою жажду к свободе, но не могу подвести отца. Ведь он за всех заключенных в ответе, — с суровой холодностью сказала она. — Благополучие отца — это спокойствие нашей семьи, моих сестер. — Надув губки, она начинала сердиться. — Я ведь не змея, готовая кусать отцовскую грудь. — Спокойная и надменная девочка закусил губу, сверкнула глазенками, и было похоже, что она не на шутку разозлилась.

Безысходное отчаяние охватило русского.

Эльза позвала мачеха, и она, даже не взглянув на него, умчалась, проворная, как коза, и скрылась в доме. Серый фасад комендантского дома, украшенного старинными гербами, всегда закрывало стираное белье, сушившееся на веревках под солнцем. Издали оно напоминало стаю яхт, распутивших белоснежные паруса. Девочка воспитывалась в фашистской семье и о просьбе пленного могла рассказать отцу. Морской пехотинец не видел ее два дня и все это время думал: скажет или не скажет? Приходила мысль: а вдруг уже сказала? Начнется следствие, и неизменная кара — расстрел над каменным обрывом.

Она ни разу не спросила, есть ли у него жена, дети. Он бы не солгал ей, и как бы она отнеслась тогда к его затее — бежать с ее помощью?.. Самые ревнивые существа на свете — девчонки.

Эльза никому ничего не сказала: все-таки сильным в ней было чувство к несчастному пленному, поразившему ее долготерпением, лаской, нежностью. Его слова о политике, сказанные в разное время, многое распатали в ней, поколебали, сдвинули с привычных мест. Боялась даже самой себе признаться, что у нее родились робкие сомнения в Гитлере.

Заключенные, днем выполнявшие разную работу в замке, ночевали в казармах. Это была особая тюрьма. В ней содержалось много англичан, французов, датчан, греков, югославов. В камерах сидели люди, за которых где-то шел вечный торг. Десять англичан обменяли на

гитлеровских генералов. Все узники ждали, что и их обменяют. Только русские ни на что не надеялись.

На ночь заключенных запирали в замок. Бежать можно было только ночью, предварительно распилив железную решетку на окне, выходящем к обрыву. Морской пехотинец просто, без обиняков, попросил у Эльзы ножовку. Она не знала, что это такое, и ей надо было долго объяснять, пока она поняла. Она тайком отдала ему украденные в слесарной мастерской два новых стальных полотна, завернутых в газету, вынув сверток из складок блузы.

Пленный приступил к работе. Глубокой ночью, когда вся тюрьма спала, он перепиливал прутья, изрядно подточенные временем. Работа увлекла его, но он не торопился, опасаясь, как бы не заметил часовой, дремавший в коридоре.

Когда прутья были в достаточной мере подпилены, он попросил у девочки веревку.

— Ну спустишься ты вниз, а что дальше? — засомневалась Эльза.

И она предложила ему свой план. Видно, думала о нем не одну бессонную ночь. У нее есть собственный автомобиль, маленький красный БМВ — подарок отца. Она ездит на нем в город Пирну в школу. Иногда остается в Пирну, ночует у своей подруги, родители разрешают. Она достанет ему офицерскую форму, будет ждать в машине, а затем, когда он спустится на землю, отвезет его на узловую станцию. А там уж как ему повезет... Русские наступают на всех фронтах.

План был разумен, и морской пехотинец согласился. Побег назначили в ночь с субботы на воскресенье, когда половина охраны отправлялась в ближайший городок, а вторая, упившись пивом, вволю натанцевавшись на днище пивной бочки, дрыхла в казарме. В подвалах замка хранилась, пожалуй, самая большая бочка в мире, вмещавшая двести пятьдесят тысяч литров вина. Ее стягивали тридцать пять обручей, на бочке была устроена танцплощадка на тридцать пар, которая никогда не пустовала в субботние и воскресные вечера. Беззаботные эсэсовцы любили танцевать с крестьянскими девушками, приходившими в замок.

В субботу Эльза с не присущим ей беспокойством передала русскому моток бельевой веревки, и он отнес ее в свою камеру.

Днем часовые редко заглядывали к своим подопечным, работающим во дворе, и морской пехотинец проверил веревку. Видимо, у Эльзы не было возможности ее размотать, в пяти местах она была разрезана, и он скрепил ее надежными морскими узлами. Длина веревки, как ему показалось, вполне достаточна.

С вечера небо покрылось тучами, надвигалась гроза. Часов в десять первые капли дождя со звоном рассыпались по жестяной крыше. У русского от ожидания замирало сердце. Дождь усиливался и, нарастая, перешел в ливень. Косые молнии, вырывая из темноты отдельные здания, таинственно озаряли замок. Беглец засомневался, станет ли Эльза ждать его в машине в такую непогоду, да и смогут ли они проехать по дороге, которую наверняка пересекают потоки воды, рушащейся со скал. Тревога охватила его, будто спешил он навстречу своей гибели. Может, стоит отложить побег на день? Но для этого надо повидаться с Эльзой, предупредить ее, а это невозможно.

«Один раз помирать», — успокоил он себя. В назначенное время выломал подпиленную решетку и бросил вниз, гул при ее падении слился с грохотом падающей воды. Затем он добрался до окна, прикрепил короткий отрезок веревки и спустился на площадку. Он сразу промок до костей. Прикрепив конец мотка к крюку, через который проходил громоотвод, полез вниз, держась за веревку, упираясь ногами о скалу. Главное теперь — сохранить ясность мысли и силу. Огромная стая ворон, напуганная его появлением, поднялась со скалы, рождая своим криком злое щемящее эхо. Затем он услышал, как высоко над ним не сбежавшая прошел часовой, остановился: видимо, закурил. Беглец ждал выстрела. В руке у него был конец веревки, а ноги не достигали земли. «Что за черт? — выругался он. — Неужели Эльза ошиблась в расчетах, ведь знает, что замок стоит на высоте триста шестьдесят метров». Он повис над бездной. Смертельная усталость овладела им. Делать было нечего, и, не зная, сколько под ним метров, он прыгнул. Веревки не хватило метра четыре, и он мягко коснулся каменного грунта. Перебравшись через ручей, бушующий, словно горная речка, он вышел на дорожку, увидел озаренную молнией красную машину и в ней два силуэта. «Что за дьявол! Кто может сидеть с девчонкой? Не отец ли ее поджидает беглеца с автоматом на коленях?»

Матрос никогда не терял присутствия духа, взял в ру-

ку булыжник — оружие заключенных, открыл дверцу. Эльза представила его своей подруге, сидевшей в машине, которая, оказалось, все знала.

Эта девчонка с косичками, о существовании которой он даже не догадывался, могла проговориться, могла похвастать перед семьей или сверстниками, наконец, польститься на награды, которые полиция щедро раздавала за поимку убежавших из лагерей заключенных.

«Боже мой, какая непростительная неосторожность! — подумал морской пехотинец. — Впрочем, девочка совершила подвиг, и ей нужен свидетель. Да, наверное, с подругой вернуться в Пирну тоже будет безопасней: куда-то ездили, непогода задержала в пути...»

— Ты не боишься? — спросил он, забираясь в машину.

— Переодевайся. Мы не будем смотреть. Я привезла тебе белье, военную одежду и пистолет.

— Чья эта форма, отца?

— Нет... Хауптмана, который порол тебя плетью за то, что ты заступился за меня перед мачехой. Я взяла у него в комнате. Пускай позлится.

Беглец переоделся, и ему сразу стало тепло и сухо. Лил ливень, а ему хотелось пить.

Он сел за руль и легко повел машину по размытой дороге.

Они добрались до узловой станции. Беглец посоветовал:

— Вернешься домой, не забудь поднять веревку и положить ее на место.

Ему запомнились рассыпавшиеся вдруг влажные косы.

...Гид остановился в центре площади против дома коменданта, где, наверное, когда-то происходили рыцарские турниры, сказал:

— Замок посещали Петр Великий и Наполеон. Он был государственной тюрьмой, в которой сидел русский анархист Бакунин.

Из дома вышла женщина с тазом и, созывая желтых цыплят, стала кормить их пшенной кашей. Женщине было лет сорок, но она очень напоминала Эльзу. То же веселое лицо, те же светлые глаза, и лоб, и брови с разлетом. Ее тотчас окружило шесть мальчиков, наперебой кричавших: «Мама, мама...» Все мальчики были одеты в пионерские и комсомольские костюмы, повязаны синими

галстуками. На груди поблескивали значки с изображением Ленина. Женщина подняла самого маленького сорванца на руки, словно хотела показать его туристам.

Цимбал подошел к ней:

— Я возвращаю вам ваши три гвоздики, которые вы подарили мне на счастье.

Она вяло взяла неживые стебли, согнала с венчика мохнатого шмеля, привлеченного правдоподобием красок.

— Да, эти цветы сделаны моими руками. Вы купили их в ресторане, у моей дочери. Здесь все в окрестностях изготавливают цветы. Это наш хлеб насущный.

— Вы узнаете меня?

— Да, Иван.

Не зная его настоящего имени, она всегда так звала его.

Говорить было не о чем. У нее своя жизнь, у него своя, а то, что было, давно поросло травой забвения.

Громко на реке загудел пароходик, напоминая, что время возвращаться.

Гид позвал задержавшегося Цимбала. Он с жаром поцеловал пахнущую мылом руку зардевшейся Эльзы и побежал нагонять товарищей. Взгляд его скользнул по отвесным, поросшим кустарником кручам замка. Теперь-то он, конечно, не смог бы бежать: и возраст не тот, и сила не та. Женщина смотрела ему вслед, заслонив сощуренные, опаленные глаза ладонью, словно глядела на солнце. У туннеля он порывисто оглянулся, встретился с ее растерянным взглядом, и оба поняли, что больше не увидятся никогда.

1970 г.

Братья

Маршал авиации в своем служебном самолете летел в черноморский город, празднующий двадцатипятилетие своего освобождения. В салоне вместе с ним находился генерал-полковник, бывший начальник политотдела одной из армий, защищавших город в 1942 году. Весь путь спутники играли в шахматы. Оба не уступали друг другу в настойчивости и мастерстве, но чем ближе подлетали к цели, тем большее волнение охватывало их.

— Хорошо бы пролететь вдоль берега, взглянуть на места, где довелось воевать,— предложил генерал-полковник.

Маршал согласился, отправился в кабину летчиков и оставался там, пока самолет не оказался над Туапсе. Генерал-полковник, прильнув к окну, смотрел вниз. Слово огромная льдина, по морю плыл белый теплоход, на рейде дымили танкеры, сновали проворные катера. Справа горстью рассыпанной соли заискрились светлые домики знакомого поселка и растаяли, словно растворились в синеве неба. Среди тронутых осенней позолотой лесов замелькала небрежно брошенная на невысокие горы лента шоссе. Показалось полукружие курортного городка с Толстым и Тонким мысами. Через несколько минут открылось сверкающее лукоморье, и возник город, куда спешили военные: огромная бухта, перегороженная каменным молом, голова господствующей высоты, расцветенные флагами суда, ровные кварталы и площади до боли знакомого и в то же время выглядевшего чужим большого города.

Лирически настроенный генерал-полковник посмотрел на трубы цементных заводов:

— Дымят, как эскадра, готовая в далекий поход.

— Дом Юккерса. Единственный дом, уцелевший в городе во время войны. Я несколько раз просил артиллеристов не обстреливать его. Облицованное золотистой глазурью здание служило нашим летчикам великолепным ориентиром при налетах на город. Сейчас в этом доме горком партии.

Самолет с ревом прошел над городом и поплыл над виноградниками совхоза шампанских вин. Среди пожелтевших лоз, как цветы, мелькали косынки женщин, убиравших урожай.

Маршал не сказал своему спутнику, что родился в этом городе, провел в нем детство, окончил фабзавуч, работал на цементном заводе, по путевке комсомола ушел в авиацию.

Самолет резко пошел вниз и мягко опустился на бетонные плиты аэродрома. В середине войны в генеральском звании маршал командовал авиационным корпусом, его люди сражались с фашистскими летчиками.

Гостей, прибывших из Москвы, как положено в таких случаях, встретили и повезли в город. Ехали молча. И маршал, и генерал-полковник прильнули к открытым окнам автомобиля. Каждый поселок, мост, поворот шоссе напоминали забытое, казалось, навсегда прошлое. Новое

все разрасталось, старое ветшало, отмирало, гибло. Прошло четверть века, как они были здесь в последний раз.

Незаметно въехали в город, обсаженный высокими молодыми деревьями, в ветвях бились бумажные мальчишечьи змеи. В центре толпами ходили ветераны войны—пожилые люди в пиджаках, обвешанных орденами и медалями: бывшая морская пехота, моряки, летчики, артиллеристы, танкисты, стрелки, санитары...

Приезжих поселили в двухместном еще пахнущем масляной краской «люксе» недавно построенной гостиницы. Маршал подошел к открытому окну, выглянул на празднично разукрашенную широкую улицу, на восторженную молодежь, с любопытством разглядывающую необыкновенных гостей, собравшихся со многих мест Советского Союза, и пожалел, что не взял гражданский костюм. Хорошо бы заправить в брюки белую рубашку и, не застегивая ворота, никем не узнанным бродить по шумным улицам своего детства. Впрочем, знакомых улиц нет и в помине, их слизал огненный шершавый язык войны. Но разрушенный до основания завод, на котором он работал, восстановили, поставили новые цеха и более мощные вращающиеся печи для обжига клинкера, размазываемого на цемент. Еще в Москве он постановил: обязательно сходит на завод.

В дверь постучали, вошел секретарь горкома партии, молодой, но с военной медалью, украшающей человека. «Подростком воевал»,— про себя отметил маршал. Секретарь поймал взгляд, объяснил: мальчиком упросился в бригаду морской пехоты. Вместе с Красниковым последним отходил с клочка земли, который впоследствии окрестили Огненной землей.

Генерал-полковник помнил эту прокаленную на огне каменистую почву. Он тоже уходил последним, шел рядом с командиром бригады Митей Красниковым, которого уже нет в живых.

— Пойдемте в горком. Там собралось много народа. Вам будут рады,— предложил секретарь.— Человек десять упоминали ваши имена.

— В дом Юнкерса? — улыбаясь спросил маршал, но секретарь не знал, кто такой Юнкерс, и впервые слышал о его доме. Много забывается с годами, и время безжалостно стирает имена и названия.

В горкоме было полным-полно народу. Люди всегда

инстинктивно стремятся собраться вместе. От стены отделился широкоплечий пахнущий табаком росляк, протянул маршалу тяжелую руку:

— Сколько лет, сколько зим...

Им уступили стулья, и они сели рядом, счастливые тем, что видят друг друга.

— Четверть века как не бывало. Я давно на пенсии, а мне все еще снятся бои над бухтой, над городом, над Огненной землей...

Об Огненной земле вспоминали во всех концах обширной комнаты, но постепенно вокруг маршала и его друга образовался плотный круг людей.

— А помните, как первая немецкая танковая армия неожиданно исчезла из Прикубанья? На ее поиски посылали разведсамолеты, и ни один не вернулся, а вы выпорхнули на трофейном «мессершмитте» и нашли.

— Такое не забывается,— ответил маршал, и перед его глазами встал никогда не вспоминавшийся в мирной жизни боевой эпизод. Он увидел раскрашенное желтой краской осиное туловище трофейного самолета, отремонтированного усилиями технарей и летчиков, и то, как он осваивал его, как впервые поднялся над землей в немецкой машине, а затем получил задание — полететь и найти ускользнувшую танковую армию фашистов. На него напялили узковатую, с чужого плеча, некрасивую, пахнущую каким-то противным запахом немецкую форму.

Начиналась увлекательная игра в темную, и полет мог показаться чем-то средним между выполнением долга и шуточной забавой. За линией фронта на переднего советского летчика не обращали внимания, хотя он и был один-одинехонек. Нагруженные фашистские самолеты летели в сторону русских, облегченные возвращались. Почти рядом продымил подбитый «юнкерс» и с размаха врезался в пшеничное поле. «Не дотянул до аэродрома»,— равнодушно подумал советский ас. После долгих блужданий он нашел задернутые облаками пыли колонны танков, кратчайшими путями уходящих на Сталинград, и сердце его радостно затрепетало. Дело было сделано, оставалось только доложить начальству.

На обратном пути к нему приблизился проворный «мессершмитт», и он увидел горбоносое, перечеркнутое осколочным шрамом лицо пилота. Немец показал рукой кверху, в шлемофоне раздался резкий возглас предупреждения:

— Над нами пять яков! — Самолет стремительно пошел в облака, только на фюзеляже мелькнул намалеванный киноварью бубновый туз.

Русский летчик обрадовался якам. Теперь можно не бояться, он среди своих. Но свои бесцеремонно навалились на него со всех сторон и, не навязывая боя, повели на аэродром, но не на тот, с которого он взлетел, а на другой, в сторону, и, все прижимая ниже и ниже, заставили опуститься на прогибающиеся под тяжестью самолета металлические полосы. Он сел, с облегчением вылез из кабины, смахнул со лба капли пота. Со всех сторон прорвorno бежали возбужденные люди, кричали:

— А, попалась, гадюка!

— Важную птицу зацапали!

Летчик взглянул на свою грудь и с удивлением увидел, что на мундире у него прикреплен «железный крест», сделанный из фибры, окантованной серебряным ободком.

— Я свой... товарищи... свой, — обрадованно кричал он подбегавшим к нему парням.

— Как свой?

— А, проданся фашистам, — бравый старшина с ходу залепил ему оплеуху.

— Я советский генерал, летал в тыл с важным заданием. — К нему вернулось обычное равновесие. Он назвал свою фамилию, которую знали.

Офицеры угомонили разбушевавшихся солдат. Повели подозрительного человека в штаб. Последовала серия телефонных звонков, и недоразумение прояснилось.

Маршал зарумянился и спустя четверть века почувствовал ожог на щеке. Старшина умел бить.

Еще несколько раз летал смелый ас на обжитом «мессершмитте» в далекие опасные рейсы. Но теперь всякий раз в сопровождении своих истребителей, поджидавших его возвращения в условленной зоне.

Могучий пенсионер не выдержал — предложил пройти на Огненную землю. В шумном вестибюле гостиницы к ним присоединились еще люди, пошли оживленной группой человек в двенадцать, по дороге многое переживая заново. Сердца охватила волнующая буря чувств, мыслей, воспоминаний.

Словно ливнями, омытая кровью земля обновилась и расцвела. Там, где проходил передний край, высились новые дома, с балконами, украшенными коврами. Повсюду алели красные флаги — все вокруг словно замело

маковыми лепестками. Не было разбитой радиостанции, где помещались штабы; срезанный артиллерийскими снарядами лагерный сад разросся, и куда только достигал глаз, зеленели квадраты виноградников. Нигде не виделось ни одного дота, ни одной нитки колючей проволоки. Маршал знал: доты разобрали на строительство домов, из проволоки наделали гвоздей.

По Огненной земле бродили мужчины, как дети клали в карманы ржавые осколки, которые могли их сразить наповал. Каждый искал свой окоп и не находил, все засыпало отжившее свое время. Встречались холмы братских могил с именованными, набранными золотыми буквами, и многие находили в них имена своих товарищей. Дорога была как бы проложена вдоль бесконечного кладбища, и маршал думал, что ряды безмолвных могил способны говорить — они как бы строки в страшной книге войны, по которым и через сто лет можно прочесть о жестокости оккупантов, о мужестве защитников Родины.

Пригреваемые нежарким сентябрьским солнцем незаметно дошли до виносовхоза, называемого теперь «Огненная земля». В прохладной столовой рабочие угощали молодым вином красавца адмирала — бывшего командующего Черноморским флотом и уцелевших командиров батальонов морской пехоты.

У двери висела чугунная доска. Генерал-полковник прочел: «Здесь помещался штаб 255-й бригады морской пехоты», улыбнулся, сказал:

— Штаб этой бригады и не ночевал тут, он помещался на радиостанции.

Кто-то пожалел:

— Как жаль, что не оставили развалин радиостанции.

Маршал слушал и думал, что время перепутывает события, даты, цифры. Сотрудница городского музея и директор совхоза обещали все написать заново, так, как было.

Весь день маршал с любопытством бродил по земле, над которой провел не менее сотни воздушных боев. До этого он никогда здесь не был, но каменистая, красноватая, словно впитавшая в себя кровь, почва была ему дорога. Над ней гибли его товарищи.

Вернувшись в город, он, никого не предупредив, отправился на цементный завод. В его время там выпускали простой портландский цемент, теперь, он слышал, производят пуццолановый, тампонажный для горячих

нефтяных скважин, быстротвердеющий для бетонов гидроэлектростанций.

Он ехал на задней площадке в полупустом трамвайном вагоне.

— Обратите внимание, здесь проходила линия фронта, — восторженно сказал ему бородатый человек. — На бетонном пьедестале как напоминание о годах величайшего проявления человеческого духа стоял железный остов товарного вагона, снизу доверху источенный пулями. Какой-то любознательный мальчишка насчитал в нем одиннадцать тысяч пробоин. Вагон этот перегораживал шоссе и, как баррикада, разделял две враждующие армии.

Маршал сошел на остановке у завода. До проходной оставалось каких-нибудь сто шагов. Работала вечерняя смена. Невысокого роста дежурный инженер со смуглым решительным лицом узнал маршала — в заводоуправлении висел его портрет при всех звездах и орденах. Инженер стоял у стены, украшенной электрической схемой диспетчерского щита. На схеме, как в зеркале, отражалась работа завода, и маршал понимал, что веселые зеленые огоньки утверждают: все вращающиеся печи работают полным ходом.

Инженер охотно повел гостя по высоким, просторным цехам, показал, как происходит помол, превращая мергель в сметанообразный шлам, как шлам насосами подается в чудовищно вместительные горизонтальные бассейны.

— Машин и всяких механизмов у нас больше, чем людей, — похвастал инженер. Закрывая кепкой загорелое лицо от жара, он прошел к огромным железным печам, поставленным с едва уловимым на глаз уклоном в сторону головки, где бушевал огонь с температурой в 1500 градусов. В гигантских печах, наполненных смесью сырья, возникали новые химические соединения, и маршал почувствовал в них то же величие, что в мартенах и домнах. Здесь тоже люди имели дело с огнем, им надо было налаживать ритмичную, постоянную работу, «чувствовать» печь, знать ее особенности, считаться с капризами. Постояли у пульта управления, где разумные измерительные приборы контролировали работу печи: скорость вращения, температуру, силу горячего воздушного дутья. Печь медленно вращалась, в ее железной утробе шумело разноцветное пламя, глухо бился о металличе-

ские стенки спекшийся клинкер, и в этом движении и звуках был вечный круговорот жизни.

Маршал все оглядывался вокруг: искал свое рабочее место, но не находил, как десантники сегодня на Огненной земле не находили своих окопов. Было жарко. Хотелось пить. Инженер вывел гостя из цеха, повел на карьер. С подножия господствующей высоты хорошо просматривался вечерний порт, теплоходы и военные корабли, украшенные мозаикой красных, желтых, зеленых ламп. На длинных пирсах, как на бульварах, гуляла молодежь. Морской ветер гнал с бухты медные волны музыки духового оркестра.

— Смотрю на вас, товарищ маршал, и кажется, что я вас уже где-то видел,— с замиранием сердца признался взволнованный инженер.

— Да, и у меня такое впечатление, будто вы когда-то приснились мне,— переплетая пальцы обеих рук, с ноткой насмешливо добродушной снисходительности ответил маршал, и было непонятно: сказал всерьез или в шутку.

Инженер показал кратчайший путь в порт, пожал собеседнику руку, и маршал, попрощавшись, зашагал по тропинке, круто сбегаящей между валунами к морю. Через полчаса он был на пирсе, у которого фашистские бомбардировщики потопили лидер «Ташкент». На эту обгрызанную бомбами и снарядами полоску бетона в сентябре 1943 года высадился десантный полк.

На пирсе маршал встретил генерал-полковника. Он стоял у самого уреза воды, смотрел в черную даль и видел то, что происходило тут более четверти века назад. Во время отступления на этом, уже отрезанном врагами пирсе, садясь в торпедный катер, пришедший за ним, он попал под страшную бомбежку. Одной из причин, заставивших его приехать на торжества, было острое, никогда не покидавшее желание взглянуть на место, где его могли убить, да не сумели.

Маршал положил на плечо товарища руку, вывел его из прошлого в настоящее.

— Вот мы гуляли по Огненной земле, и каждый мог наступить на забытую мину и взорваться. Чем не сюжет для рассказа? — сказал генерал-полковник.

Корреспонденты во время войны не написали о нем ни строчки, хотя он постоянно находился в передовых цепях. Он не только переживал все подробности боев, но и знал в лицо сотни солдат и матросов. Ему хотелось пове-

дать другу о своем поведении в боях за город, но он смолчал. Собственные подвиги ему казались бледными по сравнению с крылатыми победами маршала. Они вернулись в гостиницу и, утомленные переживаниями дня, легли в прохладные постели и моментально уснули.

На другой день на Огненной земле состоялся митинг. Пришли стар и млад — все население города. Выступали участники обороны и штурма. Секретарь горкома партии просил маршала выступить, но тот наотрез отказался — он не любил, да и не умел говорить перед народом.

Люди называли имена погибших товарищей, говорили о мужестве, о войсковом товариществе, о стойкости, о том, как бойцы, испробовав свои силы в бою, становились коммунистами.

Затем моряки продемонстрировали высадку морского десанта у мыса Любви, стараясь повторить все, как было во время штурма. Среди разрывов и цветных дымов спешили мелкие суда. Молодые люди с оружием бросались в воду, выскакивали на каменистый берег, кидали гранаты и палили из автоматов в белый свет как в копеечку.

— На самом деле все было не так красочно и картинно, — сказал генерал-полковник. — Бой невозможно повторить. Никогда не бывает два одинаковых боя.

— Тогда, двадцать пять лет назад, подожженные суда пылали жаркими кострами, на море горел разлитый бензин и по горячей воде хлестал свинцовый ливень, — припомнил маршал. Он видел штурм родного города с неба, затянутого облаками дыма. Штурм длился пять суток, и пять суток он во главе своих летчиков дрался с фашистскими самолетами.

Ему снова довелось встретиться с «мессершмиттом», размалеванным бубновым тузом. Фашист узнал его, на секунду опешил и это удивление стоило ему жизни. С холодным спокойствием советский генерал пустил длинную пулеметную очередь и сбил врага, упавшего в море, задернутое покрывалом траурного дыма, сносимого с берега. Он вспомнил, что до этого было одно randevu с горбоносым асом и подумал, что, если вечером на торжественном заседании в городском театре его принудят выступить, он расскажет об этой памятной ему встрече.

И вот он на торжественном заседании в театре, заполненном до отказа. Никогда маршал не видел сразу столько орденов, как в этот вечер. Защитники Огненной земли награждались по четыре, по пять раз. Он сидел в пре-

зидиуме. Член Политбюро ЦК КПСС говорил о военной и трудовой славе города, оглашая фамилии, давал оценки подвигам и характеристики людям, назвал и фамилию маршала; затем, под гром аплодисментов, на знамя города прикрепил лучезарный орден.

На трибуну выходили ветераны. И оттуда лились воспоминания, воспоминания, воспоминания — живой, кипящий поток слов, пригодных для стихов. Сотрудница музеев едва успевала стенографировать.

Председательствовавший секретарь горкома партии назвал фамилию маршала. Маршал, покачиваясь от волнения, вышел на трибуну, напомнил о своих летчиках — живых и мертвых, — на минуту задумался. Его величественную фигуру из лож рассматривали в бинокли, как в театре.

— Ну, что вам еще поведать? Расскажу, как сбили меня. — Двумя фразами он нарисовал портрет горбоносого фашистского летчика: — Ну так вот, после одного боя над Огненной землей я замешкался и последним возвращался на аэродром. Над морем меня настиг горбоносый. Мы узнали друг друга и завязали неравный бой. Я уже расстрелял боезапас, оказался безоружным, и, как всегда бывает в таких случаях, как ни крепился — плюхнулся в море. Открыл фонарь самолета и вывалился в холодную воду. Берег едва проглядывался, но я поплыл кролем, сделал несколько резких движений и почувствовал свежую рану. Море окрашивалось в розоватый цвет. Остановить кровь было нечем, она вытекала в воду, а с нею казалось вытекала и сама жизнь. Я наверняка знал, что до берега мне не добраться. Но инстинкт самосохранения заставлял плыть. Один взмах рук, второй, третий, сотый. Не хватало дыхания. Быстро темнело, а может мутилось в глазах. Берег, вместо того чтобы приблизиться, исчез. Последние силы покидали тело. И тут я услышал шум мотора, даже подумал, что это гудит в голове. Рядом застопорил торпедный катер. Меня подняли на борт, я потерял сознание и очнулся в далеком госпитале... Прошла целая вечность, а я до сих пор не знаю, кому обязан жизнью.

В зале стояла тишина, и в этой напряженной тишине, словно удары колокола, раздались энергичные слова:

— Это был я, товарищ маршал! — В конце зала поднялся мужчина в белом пиджаке, на котором поблескивал орден Красного Знамени. Все взоры обратились к че-

ловеку, стоявшему неподвижно, как памятник. Маршал узнал в нем вчерашнего инженера с цементного завода.

— Идите сюда, на сцену,— позвал председатель, и все в президиуме замахали руками, приглашая его к себе.

Человек под аплодисменты пошел армейским шагом. Его осыпали цветами. Он не торопясь поднялся в президиум, стал рядом с маршалом, низенький, щуплый, похожий на мальчугана. Несколько минут они стояли молча, заново узнавая друг друга, улыбаясь и радуясь столь необыкновенной встрече.

— Расскажите, как все это произошло,— попросил председатель.

— Обыкновенно. Наш корабль возвращался на базу. Видим: упал советский самолет. Ну мы и помчались к месту происшествия с надеждой, что летчик жив. Конечно, было не по себе: слишком близко город. Подошли к масляному пятну, и, когда подняли человека на борт, тут нас с берега взяла в работу фашистская батарея. Снаряды рвутся вокруг, а мы маневрируем среди разрывов. Как видите, не оплошали, ушли без потерь...

Затем за городом, в уютной гостинице виносовхоза, был банкет. Маршал и инженер-цементник сидели рядом, пили сухое вино и все не могли наговориться. Генерал-полковник поглядывал на инженера; ему казалось, что этот человек был командиром катера, под огнем увезшего его с разбитого бомбами пирса.

Произнося тост, маршал сказал несколько слов о своем потерянном и вновь обретенном друге:

— Вчера я встретился с ним на заводе, видел его в работе. Большое беспокойство за порученное дело, присутствие героям обороны и штурма города, не исчезло и продолжает жить в рабочих цементных заводах, заново построенных на земле, обильно политой кровью.

Маршал обнял инженера, и они, как братья после долгой разлуги, поцеловались на глазах у сотен людей, знающих подлинную цену жизни.

1970 г.

ЭЛЬ-АЛАМЕЙН



I

Хлебников оперся на лопату, подставил вспотевшее небритое лицо под морской ветер, огляделся вокруг. С холма, у которого он рыл противотанковый ров, виднелось море, покрытое белыми бурунами, набегающими на песчаные отмели и остовы разбитых, почерневших от воды барок. Он оглянулся, увидел убогую краснокрышную деревушку, превращенную в лагерь военнопленных: несколько черных от дождя домов, приютившихся под тенью дубов и вязов; стога сена, сложенные на каменных тумбах; поля под паром; мужчин, одетых в оборванную военную форму, роющих землю, покрытую чахлой солонцеватой травой, отливающей серебром под порывами ветра.

— О чем загрустил, парень? Тоскуешь по Родине? — раздался за спиной Хлебникова веселый голос.

Хлебников оглянулся. В двух метрах позади стоял молодой человек с обожженным лицом, обтянутым розовой прозрачной кожицей, в рубцах и шрамах. Лицо казалось бы отталкивающим, если бы не черные, необыкновенно блестящие глаза.

— Вот она какая грустная, страна Франция — вроде большой погост. Кругом одно запустение. И травы все какие-то, как на подбор, кладбищенские: желтоцветник, плевел, папоротник, кукушечный горлицвет, перекаати-поле. Сюда бы бабку мою, она бы враз на целую аптеку набрала тут всяких лечебных трав. Очень понятливая старушка к медицине, декокт против любой хвори могла приготовить. В детстве помогал ей — одной ромашки за лето пуда три собирал. Бабка ее в больницу продавала, четвертак за фунт... Ребята допекали меня, а вот поди же ты, пригодилась мне бабкина наука. Лицо мое в плену гнить стало. Так я его крепким настоем чая излечил — в одном доме нашел непочатую пачку. Конечно, и молодость помогла. В молодости раны заживают быстрее, а мне двадцать два года... Вот остролист, помогает при резах в желудке. — Отломил веточку с красными ягодами, растер, понюхал.

Хлебников посмотрел в лицо парню, смущенно отвернулся. Ему стало неловко за свою красоту, как бывает иногда неловко здоровому в присутствии инвалида.

— Пускай тебя не смущает мой портрет. Его в Москве починят. Читал в газете — научились... Главное, чтобы душа уцелела. Давай о России помечтаем. Почитай русские стихи, если знаешь, — попросил парень, провожая глазами немецкого часового, подминающего сапогами цветы.

Хлебников ласково взглянул на собеседника.

— Я тоже люблю стихи... Был у меня боец Ваня Родников, лет восемнадцати, не более. Как-то выхватил из полевой сумки тетрадку и прочел о камне, на котором сидел со своей любимой. Стихотворение кончалось тем, что взял бы с собой тот камень, если б не был он тяжелым. И еще о том читал, как любимая уходит на свидание к другому. Ни одной строчки не напечатал поэт, а запомнился. Помню с детства: «Весело сияет месяц над крестом, белый снег сверкает синим огоньком». Убили Ваню, и тетрадка пропала. Иван Родников! Фамилия-то какая светлая, чистая, и имя тоже. Родится у меня сын — обязательно назову Иваном... Я вот все смотрю, где мы, что перед нами — Атлантический океан или только пролив? — спросил Хлебников.

— В нашей бригаде есть англичанин, так он рассказывает: Ламанш. Да вон и сам он. Эй, Давид, ком хир!

Толкая тачку с землей, подошел высокий худой человек.

— Скажи, это пролив? — спросил Хлебников.

— Да, в тридцати километрах отсюда Британские острова. Я побережье знаю как свои пять пальцев, тут я и в плен попал, служил при штабе генерала Александра — славный малый, последним покинул Дюнкерк, только не знаю, добрался ли он домой.

— Раз перед нами пролив, надо удирать, — решительно сказал Хлебников.

— На чем? На палочке верхом? — спросил обожженный парень. — Тут тридцать километров — не одолеешь. Да и море здесь никогда не бывает спокойным.

— Убьют, — пробормотал англичанин. — Или на берегу застрелят, или в море. Кругом эсэсовцы.

— Двум смертям не бывать, одной не миновать. А жить стреноженным я не могу, — поддержал Хлебникова парень.

— Лучше быть в плену, — процедил сквозь зубы англичанин. — У меня на этот счет своя программа. Самое выгодное на войне — жить в плену. По крайней мере, можешь быть гарантирован, что останешься цел. — Человечек согнулся и покати тачку дальше.

— Как можно так, по-скотски, рассуждать в тридцати километрах от дома? — спросил Хлебников парня.

— Бежать! Все могу вытерпеть, кроме рабства. Ты какого рода войск будешь?

— Я танкист.

— И я танкист, старшина Шепетов, командир танка КВ, — как бы рапортуя, обрадованно проговорил обожженный. — Здесь в плену человек десять танкистов, все из нашей дивизии.

— Меня зовут Александр Сергеевич Хлебников. Не слышал такого?.. Тоже старший сержант, командир машины.

— У нас командир дивизии был Хлебников, полковник. Раскрасавец парень, косая сажень в плечах, твоих лет был, годов тридцати пяти, не больше. Погиб под Новой Ушицей, на Украине. Я с ним, вот как с тобой, за ручку здоровался. Любил с солдатом потолковать.

Хлебников внимательно взглянул на собеседника, улыбнулся краешком полных, хорошо очерченных губ.

— Много в России Хлебниковых, и все, видно, краснеют за меня. Опозорил хорошую фамилию, в плен попал. Как подлец, когда все уже было кончено и догорали шесть последних танков, снял военную форму, напялил на себя барахло с чужого плеча.

— А ты, Саша, милоч, не убивайся. Не было еще такой войны, чтобы без пленных. Меня, к примеру, немцы из горящего танка выхватили без сознания.

— Поговори со своими приятелями танкистами. Сколотим плот, благо здесь повсюду на берегу валяются доски с разбитых барок. У меня есть крепкая русская плащ-палатка, смастерим из нее парус — и айда. Нужны веревки и гвозди... — Завидев приближающегося часового, Хлебников прыгнул в ров и принялся старательно подрубать цепкие корни дикой жимолости.

Часовой остановился возле русских, молча постоял несколько минут, закурил тоненькую сигарету, пустил голубые колечки дыма и зашагал дальше.

— Сегодня я принимаюсь за дело. Увидимся вечером в деревне, в крайней избушке, там я и живу, и все мои

дружки танкисты квартируют там, — проговорил Шепетов и, бросив на плечо кирку, пошел по краю рва, который немцы начали рыть вдоль моря, придумав ему пышное название — Атлантический вал.

Весь день Хлебников пребывал в возбужденном состоянии, обращая взгляд свой то к морю, пена которого взлетала выше прибрежных скал, то к затянутому облаками небу, то на окруженную вереском и колючим терновником приморскую батарею. Впервые он поделился сокровенной мыслью — бежать из плена. Говорить об этом опасно, так как люди, узнавшие его тайну, могли предать, выдать гестаповцам, но для такого рискованного дела нужны соучастники. То, что не под силу одному, преодолимо для десяти. Мысль о бегстве появилась давно, еще в первый день пленения, на Украине, но подходящего случая не подвернулось. Каждый час удалял его от Родины. В первый день плена было легче бежать, чем на второй. Его везли на запад и после долгих мытарств и унижений поселили на северном берегу Франции, среди военнопленных всех государств Европы. Близость свободного, вечно взволнованного моря с новой силой возродила никогда не угасавшую мечту о побеге.

Хлебников представлял себе опасность задуманного. Пойманных беглецов эсэсовцы расстреливали. Без карты и компаса пуститься на плоту ночью через бурный пролив — на это требуется бесстрашие, на которое не каждый решится. Дело-то ведь добровольное. Приказать нельзя. Пойдут ли за ним на риск люди, которых он еще не видел в глаза? Кто они, эти танкисты? И потом, что ждет их, если они доберутся до Англии? Дадут ли им оружие и возможность продолжать борьбу? Но как бы там ни было, англичане — союзники СССР в борьбе с немецким фашизмом, а союзникам положено верить. Быть может, среди пленных англичан отыщется лодман, знакомый с проливом?

День тянулся долго, наконец солнце опустилось в море. Наступили сумерки. Военнопленных построили в колонну и по пыльной дороге погнали в деревню, огороженную колючей проволокой. Хлебников уже давно заметил, что охрана здесь не такая многочисленная и строгая, как в лагерях, в которых ему пришлось побывать краткое время. Население из прибрежной полосы выселили, и это, видимо, усыпило бдительность охраны.

После ужина к Хлебникову с котелком в руке подошел Шепетов.

— Согласны бежать одиннадцать, все русские, я двенадцатый, ты тринадцатый. Набралась чертова дюжина. Гвозди нашли, есть веревки, три топора и молоток. Среди охотников бежать два сапера, берутся быстро соорудить плот. Собираемся у обгорелого дуба. Бежим сегодня: ночь темная и ветер попутный. В проволоке, ограждающей лагерь, я уже проделал дыру. Как старший по званию, команду беру на себя. — Шепетов внимательно взглянул в лицо товарища. — А ты что опустил, ходишь невеселый, небритый? Так, брат, не годится. Советский солдат нигде, даже в полоне, не должен терять достоинства.

— Ну, хватил через край. Просто бритвы нет.

— Пойдем, у нас найдется.

Они прошли к темному дому, сложенному из разбитых барок на сваях. У дома, сидя на поваленном бревне перед куском картона, уставленного самодельными фигурками, молодой русский военнопленный и лысый немецкий солдат играли в шахматы.

— Это Агеев, тоже танкист, — словно представляя игроков, сказал Шепетов. — А немец — чемпион города Лигниц по шахматам. Самолюбив, как черт, если проигрывает, бьет Агеева по лицу. Но Агеев упрям и терпелив и ни одной партии еще не сдал, хотя режутся они каждый вечер. Вот видишь, и сейчас немцу каюк, через два хода мат.

Хлебников рассмеялся. Шепетов ему нравился.

Вошли в дом. Дерево сильно подгнило, стены покрылись зеленоватой плесенью, которую уже ничем нельзя было вытравить. На каменном полу разостланное сено, закрытое рваными шинелями; на кухонном столе надраненные до блеска солдатские котелки, ложки с вырезанными на них инициалами.

— Вот здесь мы и квартируем... Чередниченко, бегом ко мне! — крикнул Шепетов в окно, затененное кустом сирени.

Вошел высокий белобрысый человек с добрыми уставшими глазами василькового цвета. На выгоревших петлицах гимнастерки его зеленели следы от снятых треугольников.

— Тоже старший сержант, — отметил Хлебников.

— Знакомься, Чередниченко, это наш попутчик, стар-

ший сержант Хлебников. У тебя еще остался бензин? Надо побрить товарища, привести его в божеский вид, как-никак в гости к англичанам собираемся. Надо не ударить лицом в грязь.

— Та ще е трохи, — ответил Чередниченко и пошел в угол, где висела написанная маслом мадонна. Шепетов намочил в ведре полотенце.

— Что же это вы, а? Богородицу выставили, молитесь, что ли? — спросил Хлебников.

— То не божая маты, то жинка. Важко в плену без жинки, а глянешь — все на душе легче, дуже вона схожа на мою Приську. — Высокий украинец поднес в огромной ладони бензин, проворно смазал им колючие щеки Хлебникова. С необыкновенной быстротой вытащил зажигалку, чиркнул ею, борода вспыхнула. Шепетов приложил к лицу товарища мокрое полотенце, охладившее кожу.

— Вот и готов. Одеколона нет, на то не серчайте. Если бы даже и был, все равно ребята бы выпили.

— Ця у нас хлопцы звать свинячим способом, — смеялся Чередниченко, всматриваясь в чистое, открытое лицо своего клиента с вертикальной морщинкой на лбу, свойственной настойчивым людям.

«Смеется! В плену, а так весело и заразительно хохочет. Да с такими орлами можно пуститься через океан, не то что через пролив, и я еще сомневался, верить им или нет. Да и как может быть иначе!» — думал Хлебников, испытывая чувство неловкости и стыда за свое минутное сомнение в этих простых и смелых людях.

— Поспи, старший сержант, и ты, Чередниченко, ложись. Вам надо отдохнуть, а в полночь я вас разбужу. Пойду заготовлю пресную воду и хлеб, — сказал Шепетов и скрылся.

— Лягай со мной, вдохов завжди теплиш. На двори серпень мисяц, а тут холодно. Чудна якась ця Франція. Буду розсказувать дома, ніхто й не повірить.

«Будет рассказывать дома! Значит, верит, что доберется домой». Хлебников лег рядом с Чередниченко, и вместе с теплом его тела передалась Хлебникову и жизнерадостная уверенность украинца. Он стал думать о доме, о дочери и жене. Было время, когда Хлебников считал себя навсегда потерянным для семьи, но сейчас, прислушиваясь к легкому храпу танкиста, верил, что еще обнимет и дочку Машеньку и Зою Ивановну — свою жену.

Он слышал, как в дом входили люди и, не зажигая огня, ложились рядом на пол. Один говорил по-английски, другой по-французски, но он не прислушивался: мысли его находились далеко, дома, в Москве.

В первые дни плена, когда он испытал весь ужас своего положения, всю горечь унижения человеческого достоинства, Хлебников жалел, что его не убили, завидовал мертвым товарищам. «И хорошо, что не убили, — думал он сейчас, — я еще буду жить, еще уничтожу не один вражеский танк». Как настоящий танкист, он привык измерять ущерб, нанесенный врагам, числом уничтоженных танков.

Незаметно Хлебников уснул.

— Вставай, друг, — разбудил его Шепетов. — Пора! Пей побольше воды: в море пресной не будет. А кто знает, сколько придется болтаться по волнам.

В избе горела стеариновая плашка; при скудном свете ее укладывали в мешки свои тощие пожитки. Широко разбросав ноги, на полу сидел длинный англичанин.

— Значит, не передумали? — спросил он. — Берегитесь, как бы не случилось беды. Ведь вас тринадцать. Тринадцать — зловещее число, чертова дюжина.

— Самое страшное, что с нами могло случиться, уже случилось: мы в плену, — ответил Шепетов.

— Раз вы все-таки упорствуете, то возьмите письмо к моей невесте, опустите в любой почтовый ящик в Англии, и оно дойдет к ней в руки. Пусть узнает, что я жив, а то еще спутается с каким-нибудь янки. Вся Британия сейчас переполнена американскими солдатами... Слушай, Шепетов, ты умный малый, а я, как друг, не советую отплывать сейчас. Ну куда ты торопишься? Разве нельзя бежать завтра?

— Такие решения откладывать нельзя, Давид.

— Я видел сегодня на земле дождевых червей и слышал звон колокола, доносившийся издалека, и вечером слишком оготело чирикали воробьи — все это верные признаки, что ночью будет туман, а туман вызывает в два раза больше кораблекрушений, чем бури, — предупредил англичанин.

— Ребята, нам нужен переводчик, а то как же мы будем изъясняться в Англии? Но раз Давид боится, возьмем его силком, кстати, нас тогда станет четырнадцать, — предложил один из танкистов.

С криками «Мала куча, верха дать!» на англичанина накинулись несколько человек, как бы в шутку, крепко связали ему руки за спину...

Агеев торопливо совал в карман шахматные фигурки.

Последние минуты ожидания оказались самыми томительными. Хлебникову казалось, что план их раскрыт, сейчас войдут эсэсовцы, отберут зачинщиков, поставят к стенке.

— Пошли! — приказал Шепетов, по-хозяйски задул на столе огонь, сунул теплую плешку в карман.

Шепетов пошел первым, Чередниченко дружелюбно подталкивал англичанина. Подошли к проволоке, поодиночке пролезли в дыру, заблаговременно отмеченную куском бинта, и торопливо направились к морю.

— Ложись! — прошептал Шепетов.

Люди легли, охлаждая разгоряченные лица холодной травой. С земли на фоне неба Хлебников увидел часового. Опираясь на винтовку, немец мурлыкал под нос детскую песенку.

— Уберем? — спросил старшина.

— Возьмем с собой, все-таки «язык», — посоветовал Хлебников.

Оставляя за собой след в росистой траве, Шепетов подполз к часовому, дернул его за ноги, бесшумно свалил. Немца связали, заткнули рот и, подталкивая его, пошли дальше на шум прибоя, напоминающего о свободе.

С берега раздался легкий свист. Пошли левее, на свист. На песчаной отмели стояли два человека, чернел поставленный на железные бочки квадратный плот.

— Плот добротный, мы даже руль к нему присобачили, нашли на берегу шесть весел, но вот беда: через равные промежутки времени море освещают два прожектора, — доложил один из поджидавших на берегу.

— Знаю, — ответил Шепетов. — Натягивай плащ-палатку!

Слева из-за скалы на море упало широкое лезвие глубокого света, осветило вбитые по мелководью железные кольца с натянутой на них колючей проволокой, медленно прошло по темным прыгающим волнам направо, потом налево. Свет погас так же внезапно, как и появился, и ночь показалась еще чернее.

— Все за работу! Сталкивай плот на воду! Садись! — отрывисто командовал Шепетов.

Замочив ноги выше колен, Хлебников оттолкнулся от берега, упал на мокрые, пахнущие смолой доски, почувствовал, как над головой у него с треском надулась плащ-палатка, глубоко вдохнул бодрящий запах моря, улыбнулся.

— Налегай, ребята, на весла!

— Тише ты! Орешь, фрицы услышат.

Хлебников с силой опустил весло в воду, почувствовал, как плот качнулся, упал с волны на волну, подвинулся вперед. Он ударил еще несколько раз веслом, оглянулся — берег скрылся из глаз в темноте. Справа, с прибрежной скалы, пустили осветительную ракету; описав дугу и не долетев до воды, она погасла.

Плот держался высоко над водой, морские брызги не долетали до людей, но Хлебников всем телом почувствовал в воздухе сырость, подумал, что Давид прав: приближается туман.

Луч прожектора упал с берега, пробежал по курчавым волнам и, не задерживаясь, скользнул по плоту, на мгновение осветив нахохлившихся от холода, прижавшихся к доскам людей. Хлебников, как ребенок, закрыл глаза: ему казалось, если он не видит прожекторного луча, то и люди, пустившие этот луч, не увидят его.

— Пронесло, — сказал Шепетов, натягивая на себя изодранную шинель. — Скорей бы начинался туман. В нем наше спасение, не ровен час, заметят, или разобьют из пушек, или отбуксируют сторожевиком. Да развяжите Давида, пускай поработает веслами, согреется.

Англичанина развязали. Он дрожал, сквозь свист ветра слышен дробный стук его зубов.

Люди, сидя на краях плота, усиленно гребли. Никто не разговаривал, как будто немцы на берегу могли услышать слова. Непроглядная темнота придавила людей.

Прожектор вспыхивал и гаснул, напоминая огонь маяка. Когда беглецы были уже далеко от берега, голубоватый луч прошел над ними, тотчас вернулся, задержался на плоту, и сразу же с другой стороны берега на плот упал луч второго прожектора. В пыльном, дымящемся свете Хлебников увидел испуганные лица товарищей, заметил на гимнастерке Шепетова пришитую гарусной ниткой медную пуговицу со звездой.

— Греби, греби, ребята! — закричал старшина. — Туман приближается. В тумане исчезнем, как камень в море.

Хлебников нахмурился, хорошо зная, что даже самолет, попавший в луч прожектора, не скоро уходит от беды.

Беглецы налегли на весла. Англичанин выхватил из рук Шепетова весло и с необыкновенной быстротой погружал в море.

С берега раздался выстрел — один, второй, третий. Люди на плоту согнулись, всем телом чувствуя приближение снарядов. Распарывая воздух, снаряды не долетели до плота. Второй залп — перелет, третий залп — снаряды разорвались где-то справа.

— Погано стріляють, наши артиллеристы куды краще, — с задором сказал Чередниченко.

Слыша мелодичные украинские слова, Хлебников подумал, что храбрец лучше всего виден под огнем.

Давид сунул руку в карман, отыскал за подкладкой головку чеснока, раскрыл ее и, проявив невероятную щедрость, дал каждому товарищу по зубку. Чеснок спасал от цинги и множества других болезней и ценился в лагере дороже золота.

— Люблю чеснок: он колбасой пахнет, — сказал Шепетов и рассмеялся.

Плот приближался к какой-то серой стене, смутно белевшей во мраке, и беглецы не сразу сообразили, что на них наползает туман. Ветер внезапно утих, плащ-палатка, приспособленная под парус, обмякла. Стало холодно, плот как бы вошел в сырое облако. Туман становился все плотнее, и вскоре нельзя было различить людей, ничего не было видно, даже черной воды.

Оба прожектора погасли. Пушки прекратили стрельбу.

— Вот и ушли от беды, — громко сказал Шепетов.

— Как бы не заблудиться в этом киселе, — забеспокоился Хлебников. — Сам черт не разберет, где здесь юг, где север. Кто там на руле, держи все время прямо!

— Давай, давай, разговаривать будем на том берегу — на британском. Гребни, видишь, парус болтается, как тряпка. Теперь вся надежда на руки.

— Пролив узкий, ветру негде разгуляться.

Через полчаса Шепетов положил на колени весло, вытянул шею, прислушался, попросил:

— Потише, ребята... Как будто мотор тарыхтит.

Беглецы подобрали весла, насторожились.

— Катер идет, — подтвердил Давид. — Нас ищет. Катера у них проворные.

— Не найдет. Мы в этом тумане как иголка в сене,— нарочито громко, чтобы успокоить товарищей, сказал Шепетов.

Справа мелькнула зеленоватая вспышка. С катера пустили ракету.

Вначале звук приближался, потом как бы остановился на месте, стал удаляться и, наконец, исчез. Но не прошло и десяти минут, как вновь возник стук мотора одновременно справа, слева и позади. Не один, а несколько катеров искали плот.

— Греби, греби! — не выдержав, стал командовать Хлебников, поминутно оглядываясь и напряженно всматриваясь в темноту.

Беглецы старались изо всех сил. Волны силились вырвать у них весла, сломать руль, опрокинуть плот.

— Ложись! — крикнул Шепетов, сорвав плащ-палатку, и повалил жердь, приспособленную под мачту.

Люди прижались к мокрым бревнам, их окатило холодной водой, и все же от напряжения всем было жарко.

Растянувшись на краю плота, Хлебников приподнял голову, увидел, как метрах в пятидесяти от них прокрался темный силуэт катера...

— Пронесло! — вздохнул с облегчением Давид и перекрестился.

Часа два подряд стук мотора то приближался, то удалялся, словно дразнил людей, напоминая Хлебникову похоронный марш, слышанный в детстве во время метели. Ветер крутил тогда печальные звуки, мешал со снегом, то уносил их прочь, то бросал в самое ухо.

Наконец наступила устойчивая тишина, прерываемая всплеском волн, облизывающих бревна.

— Атлантика слева. Держать надо правее. Поблизости у берега должны быть острова, а их не видно. Как бы не занесло нас в открытый океан, — забеспокоился Давид.

— Держать правей, — приказал Шепетов и спросил, ни к кому не обращаясь: — Интересно, сколько мы уже на море, часа четыре?

— Пожалуй, больше, — ответил Хлебников, посмотрел на небо. — Начинает сереть.

Все время молчавший Агеев, сидевший у руля, сказал:

— Скорей бы утро. Умирать днем не так противно, как ночью.

Потянул холодный предрассветный ветер. Туман редел. Все отчетливее вырисовывались фигуры людей, и вскоре можно было различить их радостные лица. Люди эти не могли жить без цели, и целью их жизни сейчас был побег и продолжение борьбы. В свете, разбавляющим темноту, было что-то радостное: с уходящим мраком как бы удалялись лагерь, фашисты; с наступлением утра приближался желанный берег, освобождение, свобода.

Показался горизонт, над ним, словно ростки новой жизни, пробилась первые солнечные лучи, зеленоватые, как трава. Хлебников встал во весь рост, потянулся, сделал несколько гимнастических упражнений. Он не прекращал гимнастику даже в лагерях. Чередниченко умылся холодной водой.

— Теперь-то мы спасены! — крикнул Шепетов и вдруг увидел испуганные, растерявшиеся глаза Давида, проследил за их взглядом и обмер. Сердце его захолонуло: навстречу плыло суденышко, оставляя за кормой белую полосу пены. Оно было крохотным, едва различимым на водной глади, но с каждой минутой приближалось и вырастало в размерах. Весь интерес людей сосредоточился на этом кораблике, от него зависела их жизнь. Наступила томительная, выжидающая тишина.

— Немцы, — уверенно сказал Чередниченко, с отчаянием хватаясь за голову.

Хлебников посмотрел в светлые, налитые слезами глаза Шепетова и скривил лицо, собирая все свои силы, чтобы не заплакать от горькой обиды на судьбу, которая вновь собиралась лишить его свободы.

— Что ж, выходит, опять плен? — возбужденный опасностью, спросил Шепетов, сжимая жердь. — Так пускай же лучше стреляют здесь. Тут и умрем, на море, но не как пленные, а как солдаты.

— Постой, постой! — опомнившись, вымолвил Хлебников, прилаживая ладони, свернутые в виде бинокля, к глазам. — На корме флаг с какими-то крестами.

— Известно, какие у немцев кресты — проклятая свастика.

— Нет, кресты красные, даже вроде не кресты, а какие-то лучи вверх и вниз красные, синие... Братцы, да это британский флаг! Ей-богу, британский! — Хлебников от радости запласал на плоту, поскользнулся, упал.

Рассеялись последние клочья тумана.

— Катер-охотник «Масби!» — уверенно крикнул Давид. — Такие катера оборудованы «асдиком» — прибором обнаруживания подводных лодок. Я их в Портсмуте видел дюжинами сразу. Да, флаг наш, английский, — подтвердил Давид. Губы его, похожие на раскрытую рану, дрожали, он готов был расплакаться.

Катер подошел вплотную к плоту, застопорил машину. Вода окрасилась радужными красками пролитой нефти. Матросы с любопытством рассматривали людей на плоту. Офицер в безукоризненном кителе на плохом французском языке спросил, кто такие.

— Удрали из плена, — ответил Давид.

— Кто старший по званию? — спросил офицер.

— Я, старшина, — испытывая детский восторг и веселье, ответил Шепетов, молодежато выпячивая худую грудь.

— Старший по званию здесь я — полковник танковых войск, — произнес по-английски Хлебников, подходя к краю плота.

Товарищи оглянулись на него. Он стоял, выделяясь среди них, высокий, красивый, мужественный и волевой. Скуластое лицо его с резкими чертами до мельчайшей морщины освещалось молодым солнцем.

II

Беглецов доставили в Портсмут, главную военно-морскую базу Англии, а оттуда отвезли в Лондон. Город оказался сильно разрушенным и возникал отдельными кадрами, будто в кинематографе. Запомнилась разбитая бомбой колокольня церкви, над которой испуганно кружила стая разномастных голубей. Птицы лишились крова, но, как люди, не отваживались покинуть место, где родились.

В целях маскировки таблички с названиями улиц были сняты, но по описаниям, читанным раньше, Хлебников узнал Пиккадилли, колонну Нельсона...

Вырванное с корнями дерево торчало на крыше высокого дома. Листва на нем уже увяла. Повсюду стоял знакомый запах пожарниц.

Давид, ни с кем не попрощавшись, остался в Портсмуте, Хлебников вспомнил о нем, нащупав в кармане письмо для его невесты. Он опустил конверт в почтовый ящик, покрытый толстым слоем каменной пыли.

Русских, дивясь их худобе, вымыли, побрили, переодели в гражданскую одежду, поместили в двухэтажном коттедже.

Хлебникову отвели отдельную комнату на втором этаже, видимо недавно служившую кабинетом. Тяжелые портьеры, громоздкая мебель, толстые ковры были пропитаны запахом крепкого табака. От дворника, жившего в подвале, Шепетов узнал, что дом освободили от жильцов для американских офицеров, партиями прибывающих из-за океана. Находится дом в западной части города, у Кенсингтон-гарденс.

Выходить на улицу никому не разрешили, у ворот стояли двое часовых, вооруженных куцыми винтовками. Пожилой невысокий денщик, приставленный к Хлебникову, по утрам приносил пачку газет, напечатанных на тонкой бумаге, клал на стол, почтительно наклонив старательно причесанную голову, уходил. Ничего утешительного в газетах не было. Коротко сообщалось об отступлении советских войск в глубь страны, более подробно — об оборонительных боях в Северной Африке.

Истосковавшийся по книгам Хлебников нашел в шкафу несколько толстых томов энциклопедии, с жадным вниманием изучал карты Алжира, Триполитании, Ливии, Египта, на листке бумаги делал пометки. Он и раньше интересовался Северо-Африканским театром военных действий и знал, что англичане в начале войны надеялись, что Левант, находившийся под французским мандатом, Палестина и дружественно расположенное к Англии правительство Турции спасут Египет от вторжения врага. С падением Франции надежды увяли. Капитуляция генерала Ногеса в Северной Африке и генерала Миттельхаузера в Сирии, подчинившихся приказу Петэна сдать оружие, открыла путь итальянцам из Ливии к западным границам Египта.

У Хлебникова, как у всех волевых людей, была отличная память, и, вспомнив замысловатые фамилии французских генералов, он не удивился, что они сохранились в мозгу. В последнее время в памяти воскресали самые незначительные события из его жизни. То вдруг вспоминался маленький курчавый барашек, принесенный отцом домой перед пасхой. Барашка собирались зарезать, но трехлетний Саша воспротивился и спас его от гибели, играл и спал с ним. То вспомнилось, как с сестрой Катей хоронил в саду сдохшую кошку Мурку, устилал ямку

цветами яблонь, а потом над крохотным могильным холмиком поставил маленький крестик из двух палочек, скрепленных гвоздем. Память до мельчайших деталей восстановила последний танковый бой у Новой Ушицы. Хлебников даже как бы снова ощутил вкус зеленоватой воды из лужи, которую жадно пил тогда.

К Хлебникову заходил Шепетов, останавливался в дверях, жаловался:

— Из одного плена вырвались, попали в другой. Вот уж действительно из огня да в полымя. Просился в советское посольство — не пускают.

— Просился и я. Да все как об стенку горох, — говорил Хлебников. Ему вспомнились строки, неизвестно где и когда читанные: «И человек, как маленькое царство, ходил объятый роem диких смут».

Он успокаивал Шепетова.

— Отдыхай. Все в свое время. Кормят неплохо, а пока и это хорошо: в плену-то мы вон как отощали. Посмотри на себя — худущий, как скелет.

На третий день к Хлебникову приехал хромой английский бригадный генерал с женой. В комнату вошла дородная высокая женщина с большими ногами. Она была чем-то раздражена. Может быть, супруг не брал ее с собой, но она настояла, чтобы посмотреть на советских солдат, попавших в их страну, да еще смельчаков, бежавших из плена. На желтом подрумяненном лице женщины было написано столь живое любопытство, что Хлебников подумал: она согласилась бы пройти десять километров пешком, лишь бы поглядеть на него.

Перед ним сидели англичане, о которых он мог судить по романам Диккенса. Правда, в детстве маленький Саша видел живого англичанина — хозяина шахты, в которой работал его отец. Сейчас Хлебников силился припомнить лицо англичанина, но видел только сплошные золотые зубы. Хозяина убили рабочие в 1911 году. Труп положили на лед и ждали, что из Лондона примчится убитая горем жена, заберет с собой тело. Но она не приехала.

Вот так всегда: память подсунет давно позабытое, бросит тень на ни в чем не повинных людей. Хлебников внимательно посмотрел на своих гостей.

Генерал был любезен и, как понял Хлебников, говорил по поручению крупного чиновника военного министерства, хстя и не называл его имени. Он вежливо поин-

тересовался обстоятельствами пленения, поговорил о начавшихся оборонительных работах на французском побережье, искренне пожалел об отступлении советских войск на всех фронтах. Разговор был бесполезный, ничего не давал Хлебникову.

Привыкнув высказывать мысли по-военному прямо, без дипломатических тонкостей и намеков, Хлебников поднялся с кресла и потребовал, чтобы его с товарищами отправили на Родину.

— Немедленно, сейчас, первым транспортом.

Генерал мельком взглянул на жену, улыбнулся, обнажив крупные зубы, сказал:

— Я ведь говорил: первое, что потребует от меня полковник, — это немедленно отправить его в Москву. Каждому русскому кажется, что без него не могут обойтись на войне, что только он спасет страну... К сожалению, — генерал развел длинными худыми руками, — у нас нет надежной связи с Россией.

— Тогда я попрошу вас устроить мне свидание с советским послом.

— Господин посол улетел в Москву и пробудет там три месяца. У вас не хватит терпения ждать столько. Мы сообщили о вашем прибытии в посольство, но чиновники посольства не проявили интереса к вам и будут ждать возвращения посла.

— Я не верю вам, — Хлебников вспыхнул.

— Это как вам будет угодно, господин полковник, — генерал привстал и вежливо поклонился.

Наступило продолжительное, тягостное молчание.

— Не могу же я сидеть сложа руки во время драки! — Хлебников сжал кулаки и прошелся по комнате. — Понимаете, не могу.

— Вам надо поправиться, набрать свой вес, — осторожно вставила в разговор англичанка. — Вы больны nostalgia — тоской по родине.

— Во всем надо ждать подходящей погоды, — заметил генерал. — Но если полковник скучает по родине, мы можем передать письмо вашей жене. — Генерал взялся за трость и фуражку. — Я завтра буду у вас и возьму письмо. А пока отдыхайте и, главное, не думайте о войне.

— Я ничего не стану писать, — Хлебников заломил пальцы так, что они затрещали. — Бойцы из моей дивизии считают, наверное, меня убитым. Пусть то же самое думает и семья. В понимании советского человека

плен — позор, и надо очень много сделать, чтобы искупить этот позор.

— Даже если вы ни в чем не виноваты? — спросила женщина.

— Вы преувеличиваете, полковник, — сказал генерал. — Плен — неизбежное порождение войны. Пленные всегда были и всегда будут. Я сам едва не влип под Дюнкерком.

— Поймите: я хочу бить фашистов, и, поверьте, я умею это делать.

— Если вы хотите, если у вас есть желание, я доложу и полагаю, вам не откажут поехать в восьмую армию. О, эта армия — отпрыск «армии Нила»! — Генерал поднял кверху обкуренный указательный палец. Лицо его нездорового свинцового цвета оживилось. — Восьмая армия родилась в критический момент Британской империи. Под командованием генерала Уэйвелла она уничтожила итальянскую армию в Ливии, а затем сама едва избежала полного разгрома. В этой армии вы сможете проявить себя на все сто процентов, показать, на что способны русские, да и сами посмотрите на томми в бою. Обмен опытом для союзников очень важен — ведь англичане и русские совместно били и Наполеона и кайзера. Поезжайте в восьмую армию, а мы поставим в известность вашего посла, как только он появится в Лондоне. У нас уже были такие случаи, к нам уже бежали советские военнопленные из Франции, всех мы их послали в Северную Африку, и ни разу русский посол не возражал. Чего ему возражать? Враг-то у нас один — фашизм... Хлебников... Хлебников... — генерал собрал кожу на лбу, припоминая. — Не вы ли критиковали работы нашего военного теоретика генерала Фуллера?

— О, это было давно! — Хлебников удивился, что генерал знал о нем такую, даже им позабытую, подробность. Это насторожило. Откуда такие сведения?

— Я советую вам забрать своих людей и, не мешкая, ехать в Африку. — Генерал вновь положил на стол трость и фуражку с красным околышем и сел рядом с женой, поправив на коленях тщательно отутюженные брюки. — Очень интересный театр. Как вы, наверно, знаете, тринадцатого сентября итальянцы начали наступление на Египет. Генералу Уэйвеллу ничего не оставалось, как отступить, сил для сопротивления оказалось недостаточно, танки требовали капитального ремонта... Саперы из

кожи лезли, чтобы замедлить продвижения врага: минировали дороги, солили колодцы, взрывали прибрежные шоссе. Во главе наступающих итальянских отрядов мчались мотоциклисты: их бросали как приманку для привлечения на себя нашего огня. За мотоциклистами двигались главные колонны: группы танков впереди, затем грузовики с пехотой и скорострельными орудиями на прицепе. Обратите внимание, иногда небольшие танки к месту боя доставлялись в автомашинах. Пехота закрепляла и обороняла местность, захваченную танками. Двигалась она «ежом», — генерал растопырил пальцы и двинул рукой вперед, — большими пачками в грузовиках.

Генерал увлекся. Хлебников внимательно слушал рассказ. Генеральша, не спуская глаз с русского, понимала, что волнение его продиктовано лишь любопытством профессионала, не больше. Идеи англичан не захватили его, хотя она знала: муж ее умел говорить.

— Грациани занял маленькую деревушку Сиди Баррани — дюжину разрушенных хижин. Оттуда шла хорошая асфальтированная дорога на Мерса Матрух и Александрию. По ней можно было без передышки подкатить к Суэцкому каналу. Но Грациани остановился и, к счастью для нас, неожиданно стал окапываться. Почему это взбрело ему в голову, никто не знает. Итальянский маршал не смог воспользоваться опытом абиссинской кампании, дававшим его армии значительное преимущество. На поверку он оказался военачальником вялым и нерешительным. Мы быстро опомнились и припили в себя. Наши моторизованные патрули — «песчаные крысы», как их называла армия, — принялись обшаривать пустыню во всех направлениях, передавая свои наблюдения по радио. Сил у противника оказалось меньше, чем показалось вначале. В строжайшей тайне Уэйвелл готовил ответный удар. Наступление началось в ночь на девятое декабря. Королевский флот обстрелял Мактилу и Сиди Баррани. Снаряды тридцативосьмисантиметровых орудий заставили противника бежать из Мактилы. Черт возьми, там была хорошая музыка! После стремительной атаки мы взяли сорок тысяч пленных, перешли западную границу Египта и, преследуя врага на его территории, атаковали естественную крепость Бардию, которую итальянцы укрепляли три года. За ее стенами томились от безделья сорок тысяч солдат. Бар-

дия — райский городок североафриканского побережья, с белыми домами в итальянском колониальном стиле, прилепившийся на скалах Соллумского залива, на высоте ста двадцати метров над уровнем моря. После войны я обязательно поеду туда с женой. Мы будем предаваться воспоминаниям, удить рыбу и отдыхать. Жена это заслужила. Не правда ли, Мэри, мы поедem?

В знак согласия женщина кивнула головой, опустив массивный подбородок на грудь, и вдруг встрепенулась. Она раньше других на какую-то долю секунды услышала пронзительный сигнал воздушной тревоги.

— Быстро в бомбоубежище! — заторопился генерал.

— Далеко ли оно отсюда? — поинтересовался Хлебников.

— Вы разве еще не были в бомбоубежище? — удивленно спросила генеральша.

— Я ведь и так под охраной, — кивнул он на часового.

Втроем они поспешно спустились на улицу и, смешавшись с толпой, побежали на площадь, где виднелась бетонная громада бомбоубежища с огромной черной стрелой, показывающей в землю. Человек десять у входа в бомбоубежище, задрав головы, рассматривали небо. Бежать было опасно. Воздух звенел от падающих на город осколков, шумевших, как дождь.

Несмотря на хромоту, генерал бежал резвее своих спутников. Генеральша едва поспевала за ним.

Хлебников приостановился, взглянул на ярко-синее небо, выдохнул:

— Опоздали!

Немецкие бомбардировщики закрыли солнце, от них отделились черные капли. Капли вытянулись и исчезли.

Впереди Хлебникова, задыхаясь, бежала худенькая женщина с грудным ребенком на руках. Девочка лет восьми, держась за ее платье, семенила рядом.

— Ложись! — крикнул Хлебников, но женщина изо всех сил продолжала бежать. Он нагнал ее, пригнул к земле, схватил на руки ребенка и накрыл его своим телом. Сзади, спереди и с боков рвануло почву. Закрытыми глазами Хлебников увидел клубы огня невероятной, невиданной еще расцветки. Мотнув черной гривой дыма, тротуар поднялся на дыбы и, проскакав по мостовой, унесся прочь. Кусок кирпича больно ударил Хлебникова в спину. Он надолго, как в воде во время ныряния, за-

держал дыхание, и все же легкие обожгло жаром. Через минуту вдохнул воздух, наполненный густой каменной пылью, закашлялся.

— Молли! Где Молли? — заныла женщина.

— Мама! — жалобно позвала девочка. Платье ее было в крови.

Хлебников поднялся на ноги.

— Скорей в бомбоубежище! За первым налетом следует второй и третий, уж я их повадки знаю! — кричал генерал.

— Скорей, скорей, — торопила женщина.

Схватив раненую девочку на руки, Хлебников побежал. Над городом разворачивалась вторая группа бомбардировщиков.

У входа в бомбоубежище валялись убитые с рюкзаками за спиной.

— Дураки, погибли из-за глупого любопытства, — выругался генерал.

Из бомбоубежища пахло грибной сыростью. Света не было, но генерал вынул электрический карманный фонарик. Освещая каменные ступени, свет вырывал из темноты бледные, напуганные лица, баулы и рюкзаки.

— Пройдемте сюда, — генерал провел Хлебникова к двери, у которой стоял часовой.

Увидев генерала, часовой козырнул и почтительно открыл дверь. Они вошли в комнату, освещенную горячей лампой. Хлебников увидел три койки, письменный стол, портрет короля Георга.

— Комната-люкс. Можно умыться и отдохнуть, — сказала генеральша.

Бережно передав девочку женщине, Хлебников вымыл под краном исцарапанное лицо и руки, опустился в кожаное кресло. Гул бомбежки доносился сквозь многометровую толщу земли.

Генерал тоже сел, помолчал. Потом достал сигару.

— О чем это мы говорили с вами? — спросил он.

— О штурме крепости Бардии, — напомнил Хлебников.

— Бардия, Бардия! — Генерал постучал пальцами по деревянной ручке кресла. — После тщательной подготовки в канун Нового года, — он тяжело вздохнул, — мы предприняли атаку. Начали ее перед самой зарей. Быстроходные танки навалились с запада и разрезали осажденный лагерь на две части, как разрезают хлеб, — ге-

перал провел ребром ладони воображаемую линию. — Пехота, ворвавшаяся в центр крепости, рассыпалась веером и ударила в штыки, опрокидывая все на своем пути. Гарнизон крепости частично был уничтожен, а большинство взято в плен. Пожалуй, ни одна армия не сдавалась так охотно, как итальянская. Итальянцы подымали руки и хлопали в ладоши, будто в театре от избытка охвативших их чувств. — Англичанин передохнул, потемневшими глазами внимательно посмотрел на собеседника, стараясь угадать впечатление, произведенное своим рассказом, и, видимо оставшись довольным, продолжал: — Впереди был Тобрук, армия устремилась туда. Интенданты сбились с ног: надо было доставлять много воды, пищи, бензина. Только танки расходовали сто тысяч литров бензина ежедневно. Воду возили из Бардии. В сутки солдат получал на умывание и питье пятьсот граммов. Штурм Тобрука начался на заре, в жестокую песчаную бурю, переворачивавшую грузовики.

Женщина перебила мужа.

— Бомбят, — сказала она.

Генерал посмотрел на часы.

— Да, бомбят, уже полчаса как бомбят...

Генеральша неумолимо мерила шагами убежище, болезненно прислушиваясь к звукам, раздававшимся над головами, страдая молча, как страдают герои.

— Перед нами было великолепное зрелище, черт возьми, — говорил генерал. — Итальянцы валялись на земле, умирая от жажды, жевали свои куртки, протягивали бумажные лиры, умоляя продать пинту воды. В последний день января, после трехдневного боя, девятнадцатая австралийская бригада ворвалась в Дерну — милый курортный городок с белыми виллами, окрещенными женскими именами. Итальянцы отходили, взрывая повороты зигзагообразной дороги, спускавшейся по склону к морю. Дорога эта была важна, как мост.

— Извините, откуда вы знаете такие подробности? — спросил Хлебников, рассматривая крохотные ордена и медали на груди генерала, дублирующие настоящие, стараясь угадать, какие из них получены за африканскую кампанию.

— Как же ему не знать этого? — вмешалась генеральша. — Мой муж командовал артиллерийской бригадой и был ранен в бою при Бэда Фомме, о котором премьер сказал, что операция эта навсегда останется образ-

цом военного искусства. Корпусной командир О'Коннор, руководивший наступлением, при солдатах поцеловал моего Мортонна в губы, — с гордостью сказала она. — Такой поцелуй стоит ордена.

— Бэда Фомме? — вслух припоминал Хлебников. — Я знаю об этом по газетным сводкам. Кажется, там противник отступал вдоль моря, а наперерез ему была послана колонна бронемашин, встретившая головную дивизию итальянцев и уничтожившая ее?

— Йес, — коротко ответил генерал и пожевал губами. — Бэда Фомме — вершина моего успеха, мое последнее сражение. — Он вытянул вперед неслышавшуюся ногу, и Хлебников понял, что нога ранена в бою при Бэда Фомме.

— Там принимали участие танки? — спросил он англичанина.

— А как же?

Над головой зачастили глухие удары.

— Бомбят! — вздохнула женщина. — Как бы я хотела уехать куда-нибудь, где нет войны!

— Танкисты получали всегда одну и ту же задачу: обходное движение в тыл врага с целью остановить или хотя бы замедлить его отход. Там было настоящее наступление. В бою, длившемся тридцать шесть часов, убили итальянского генерала Таллера. Его гибель окончательно сломила волю итальянцев к сопротивлению. Киренаика, черт подери, очутилась в наших руках. Но кампания еще только начиналась. Перед нами лежали полторы тысячи километров безлюдной и безводной пустыни, не нанесенной ни на какие карты, прегражденной бесконечными грядами сыпучих дюн, достигающих ста двадцати метров вышины. Горячий ветер пес тучи песка, разъедал трущиеся части машин. У меня до сих пор скрипит на зубах этот чертов песок, — генерал вытащил носовой платок и сплюнул в него. — Люди бредили от жары. Патрули дальнего действия отправились вперед и неделями бродили по мертвым пескам, обжигающим глаза. Один из таких патрулей, под командованием капитана Митфорда, перевалив через песчаное море, за шестьсот километров от нашего переднего края, в Ливии перехватил колонну итальянских грузовиков. На одном грузовике в мешках солдаты обнаружили военную почту. Нам повезло. По адресам удалось выяснить всю диспозицию врага во внутренней пустыне.

Англичанин говорил, будто читал заученную лекцию, ни одного лишнего слова, образа, отклонения в сторону от хронологического пересказа событий. Но какое-то оживление, появившееся в лице, выдавало его. Рассказывая, он как бы заново переживал все пережитое. Хлебников слушал с интересом.

— Я был ранен, но оставался при армии. Никогда не забуду неожиданную танковую атаку неприятеля, поддержанную пикирующими бомбардировщиками, артиллерией и пехотой, и свое крайнее изумление, когда на ближайшем танке увидел свастику. Грешным делом, я подумал: уж не кошмар ли мне снится, но бегущие офицеры и несколько снарядов, разорвавшихся вблизи, вернули меня к действительности. Трудно было верить своим глазам, но перед нами был авангард немецкого Африканского корпуса.

— Пойду узнаю, как здоровье девочки, которую вы спасли, — сказала генеральша и исчезла за дверью.

— Мы громили итальянцев у Бэда Фомме, а Эрвин Роммель, этот выскочка, любимчик Гитлера, уже сидел за картами разваливавшейся Итальянской империи в Африке, пытаюсь шить ее, как расплзшийся по швам сюртук... После первого боя мы почувствовали разницу между Грациани и Роммелем. У немцев было преимущество перед нами в бронесилах, и наступали они стремительно, без передышки, как заводные, стараясь обойти наш левый фланг — пустыню, окружить нас и уничтожить. Мы поспешно оставили Бенгази, — генерал вздохнул. — Было жаль бросать склады с продовольствием. Беспорядок при отступлении был ужасный, хуже, чем у легионеров Муссолини. Армии умеют наступать, но ни одна армия в мире отступать как следует не умеет. Это парадокс, но это так.

Вернулась женщина, сказала:

— Девочка жива!

Хлебников внимательно посмотрел на некрасивую англичанку, подумал, что на таких женщинах женятся из деловых соображений, и ему стало жаль генерала.

Раздалась серия глухих ударов, будто в землю били тысячепудовые кувалды. Где-то в углу, ударяясь о графин, жалобно застонал стакан. Брови англичанки поползли вверх:

— Когда же кончится этот ужас? Люди живут в бомбоубежищах или ютятся поблизости от бомбоубежищ.

Москвичам лучше, у них колоссальное метро и, наверное, нервы покрепче наших.

Хлебников снова взглянул на женщину, она как бы раскрылась и стала ближе.

— В довершение ко всему немцы сожгли при Чарруббе две большие колонны автоцистерн, и мы испытывали недостаток горючего, — как бы не слыша жену, продолжал генерал. — Неразбериха была полная. Генерал-лейтенанты О'Коннор и Ним глупо, как мальчишки, попали в плен.

Генерал поморщился, подошел к шкафу, вделанному в стену, достал с нижней полки карту, развернул ее на столе, ткнул пальцем в маленький кружок на берегу моря.

— Как видите, крепость Тобрук оказалась единственным местом перед Египтом, где можно было остановиться и оказать настоящее сопротивление. Она находится на асфальтированном шоссе по дороге к Нилу. К тому же это последний порт на нашем театре, где можно выгружать боеприпасы. Тобрук годился как опорный пункт для маневрирования при нашем повторном наступлении. Роммель все это понимал, бестия, и попытался взять крепость с ходу, но ему это не удалось. Тобрук до сих пор в наших руках. Поезжайте в Тобрук... — Генерал посмотрел на своего собеседника.

— Это совсем не то, — сказал Хлебников с досадой. — Воевать надо не в Африке, а во Франции, нужно поскорее форсировать пролив, открывать второй фронт, чтобы помочь Красной Армии. Вся эта история, рассказанная вами, лишь задерживает на неопределенный срок вторжение в Европу, распыляет силы. Так воевать нельзя.

— Я целиком с вами согласна, — поддержала Хлебникова генеральша.

— Атака на укрепленное немцами побережье Европы будет безуспешна. Наступление против Атлантического вала сейчас подобно стратегическому самоубийству, — ответил генерал.

Взглянув на него, Хлебников понял, что англичанин высказал не свои, а чужие слова, повторяемые где-то довольно часто, и пожал плечами.

— Атлантический вал — миф, созданный Геббельсом. Пустая затея! Ширма! Я сам городил его своими руками. Несколько тысяч военнопленных лопатами копают землю. Мы не видели ни одной строительной машины.

Из репродуктора, висящего на стене, прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги. За дверью зашумел народ.

— Вы жаждете бить фашистов. Какая вам разница, где вы будете колотить их: на Дону или на побережье Средиземного моря? — спросила женщина.

— Разница большая, мисс, — ответил Хлебников. — Лучше драться за населенные города Европы, чем за тысячи километров бесплодной пустыни. Ну что ж, спасибо вам за рассказ, господин генерал. — Его лицо выразило страдание, красивый рот перекосясь. — Если вы не хотите отпустить меня в Советский Союз и не будет высадки во Франции, я готов ехать в Тобрук. Может, это хоть в какой-то самой маленькой степени поможет моей Родине. Все лучше, чем сидеть в Лондоне. Только обязательно передайте о моем отъезде советскому послу. Дайте честное слово солдата, что передадите.

— Даю, даю! — сказал англичанин с чувством облегчения. Он вздохнул, как человек, отбывший, наконец, неприятную повинность.

III

Транспортным самолетом по трансафриканской воздушной линии Хлебников, Шепетов, Чередниченко и Агеев со своими товарищами-танкистами, одетые в английскую военную форму, в мае 1942 года прилетели в Египет. Кто из них когда-либо думал попасть в эту далекую и такую, по книгам, загадочную страну? Но во время войны все бывает, и никто не удивился, увидев на горизонте пирамиды, похожие на донбасские терриконы. Солнце светило по-летнему. Под легким морским ветерком дрожали широкие листья пальм. Египтяне ходили в белых сорочках, без пиджаков.

Прилетев в Александрию, окруженную сетью трюсов с аэростатами заграждения, русские узнали, что после недельного ожесточенного боя гарнизон Тобрука, включавший 70-ю дивизию, польскую бригаду и 32-ю бронеполк, прорвал кольцо окружения у Эль-Дуде и соединился с авангардом новозеландской дивизии, сделавшей вылазку ему навстречу.

Худущие мальчишки-арабы — продавцы газет — орала во все горло на обсаженной пальмами набережной Корниш: «Тобрук освобожден!» За газетами стояли очереди, покупатели не брали сдачи.

Шепетов ворчал:

— Выходит, напрасно мы болтались в воздухе тысячу километров, прибыли к шапочному разбору.

Чередниченко, посмеиваясь, успокаивал друга:

— Булы б руки, работа найдется.

В порту русские увидели, как гигантские подъемные краны выгружали нивелировочные машины для устройства дорог, новые танки — «валентайны» и «матильды», предназначенные для поддержки пехоты.

Хлебников осмотрел вооружение, пощупал броню. Советские танки были лучше. Солдат с белой жестяной кокардой, прицепленной с левой стороны черного берета, горделиво заметил:

— Эти машины обеспечат нам победу. Броня на них толще, чем на танках-крейсерах. Немецкие снаряды будут отскакивать, как горох.

Чередниченко ухмыльнулся.

Город поражал цветной рекламой на арабском, английском и французском языках, двухэтажными трамваями, гортанными криками шарбатли — босых уличных продавцов с бутылками холодного лимонада и призмами искусственного льда, призывно гремящих в медные тарелки.

От двух раненых зенитчиков, доставленных морем из Тобрука, Шепетов узнал, что крепость защищают австралийцы. Дела у них из рук вон плохи. Солдаты обороняются гранатами, изготовленными из пивных бутылок, налитых бензином; пушки все трофейные, захваченные у итальянцев. Людей донимает чертовская жара, блохи, мухи и мельчайшая пыль, губящая зрение, портящая оружие. Пикирующие бомбардировщики с утра до вечера висят над портом. Команды грузчиков при налетах прячутся в прибрежных пещерах. Суда разгружают ночами, но немцы бомбят и ночью, сбрасывая мелкие бомбы.

Хлебников, у которого было письмо из военного министерства Великобритании к командующему 8-й армией генералу Охинлеку, узнал от коменданта Александрии, что командующий находится при штабе корпуса, обороняющего Сиди Резех.

Хлебников решил ехать туда.

Утром с колонной автомашин, нагруженных артиллерийскими снарядами, русские танкисты и сопровождав-

ший их английский майор поехали к фронту, туда, где небо затянули черные тучи дыма.

Блестящее под солнцем недавно заасфальтированное шоссе тянулось вдоль железной дороги, несколько раз пересекая ее, то подымаясь над ней, то опускаясь. Хлебников внимательно присматривался к местности и до первой остановки, находившейся в 80 километрах от Александрии, насчитал несколько аэродромов со множеством бомбардировщиков «балтимор».

Первый привал колонна сделала у маленькой станции. На одноэтажном бетонном здании под медным колоколом висела небольшая табличка с надписью «Эль-Аламейн».

Солнце, подымаясь, жгло нестерпимо, жара усиливалась с каждым часом. На небе не виднелось ни облачка, не ощущалось даже дуновения ветерка, густое марево горячего воздуха слепило глаза. Металлические предметы накалились, к ним нельзя было прикоснуться.

«Взять бы охапку мокрых осенних листьев, сунуть в них лицо на весь день», — тоскливо думал Хлебников.

Начальник колонны, обливаясь потом, махнул рукой, приказал шоферам отдыхать до вечера и полез в тень, под кузов машины.

Хлебников с Шепетовым пошли размяться, взобрались на ближайший снежно-белый песчаный холм. Хлебников внимательно оглядел окружающую местность.

Раскинувшийся перед ним ландшафт заставил его выпрямиться во весь рост, быстрее погнал кровь по жилам. Минут пятнадцать полковник стоял не шевелясь. Худые щеки его залил густой румянец. Перед ним расстилалась идеальная местность для обороны. Слева у горизонта параллельно морю высился гористый кряж; два зубчатых гребня, изогнув звериные спины, замерли на западе, словно приготовились к прыжку. Никогда Хлебникову не приходилось окидывать взглядом столько земли. Здесь можно было, заранее сделав укрепления, заманить фашистов в долину между двух гребней, навалиться на них и уничтожить. Продвигаясь вперед, противник как бы вползал в бутылку с узким горлышком. Лучшую позицию для контратаки трудно было представить. Огромная западня для целой армии, уготовленная самой природой. Оглядываясь вокруг, Хлебников выбирал позиции для батарей, направление для атаки танковых колонн, испытывая при этом отчаяние охотника, вы-

шедшего без ружья на прогулку и встретившего на пути долгожданного зверя.

— Шепетов, ты ничего не видишь?

— А что здесь увидишь? Песок, товарищ полковник. Ничего, кроме песка.

— В этом песке можно загубить Роммеля... Как англичане не заметили этой позиции? — Впервые за время плена Хлебников почувствовал себя вновь командиром дивизии. — Мы остаемся здесь, старшина, и поедем отсюда не скоро.

— Что же мы будем тут делать? — Шепетов непонимающе пожал плечами.

— Работать. Если майор разрешит. Как следует изучим местность, и, если она окажется такой же хорошей, как на первый взгляд, я составлю диспозицию сражения. Оно должно произойти у этой станции. Необходимость этого надо доказать англичанам. Я буду отстаивать перед ними свою точку зрения.

На станции оказался пост связи. У начальника поста, добродушного пожилого лейтенанта, был «виллис». Он отдал его Хлебникову, и тот в сопровождении прикрепленного к нему майора и двух капралов за неделю объехал громадное пространство вдоль хребтов, делая бесчисленные пометки в своей тетради. Там, где он проезжал, не было человеческих следов. Никто не интересовался пустыней вдали от дорог.

Изучив местность, Хлебников за три дня, проведенных на станции, набросал план сражения. План был несовершенен, требовал еще большой и вдумчивой работы штаба, но в нем были свежие мысли, излагались новые для англичан способы ведения войны. Не заинтересоваться этими набросками было нельзя.

Покончив с планом, оживший Хлебников отправился дальше на попутной машине. Над головой то и дело пролетали английские бомбардировщики, возвращавшиеся на свои базы. За весь день никто не видел ни одного немецкого самолета. По-видимому, фронт находился далеко.

У Мерса Матрух железная дорога оборвалась. На станции стоял санитарный поезд, ярко размалеванный красными крестами. На соседнем пути высокие полуголые арабы разгружали состав с какими-то ящиками.

Все это Хлебников заметил на ходу.

Проехали разрушенную деревушку Сиди Баррани, о

которой с таким увлечением рассказывал в Лондоне хромой генерал. Хижины были уничтожены, но огонь все еще находил пищу: развалины дымились, и казалось, горят камни. Видимо, сюда наведывались немецкие самолеты.

Здесь, впервые после долгого перерыва, русские услышали отдаленную канонаду, как всегда напоминающую грозу. Чередниченко даже посмотрел на небо, нет ли там туч.

Английский майор сказал, что впереди Бардия, а за ней Тобрук, у которого идут бои.

С каждым километром, оставленным позади, канонада слышалась все громче. Сбоку от шоссе стали попадаться бомбовые воронки; машины запрыгали на ухабах; мимо, как паутина бабьего лета, летели белые нити телефонных проводов.

Не доезжая Капуццо, услышали знакомый гул бомбежки, а через несколько минут на большой высоте прошла эскадрилья немецких бомбардировщиков «штукас». Где-то впереди, за поворотом дороги, образовалась пробка, и колонна остановилась.

В стороне от шоссе, на выжженной солнцем земле, покрытой желтой пылью, в тяжелых суконных костюмах сидели безразличные ко всему пленные. Хлебников подошел к ним. Не вставая, немцы нехотя отвечали на его вопросы. Они были из 21-й танковой дивизии и дивизии «Арьете», попали в плен накануне, в битве за Сиди Резех.

Атлетически сложенный пруссак с «железным крестом» на накладном кармане суконного френча на вопрос Хлебникова: «Большие ли у Роммеля силы?» — ответил, что сил много, но они убывают, а пополнения не будет: фюрер бросает все силы на восточный фронт, в Россию.

— На Украине, кажется, планируется крупное наступление, — болезненно морщась, сказал сидевший рядом немецкий солдат.

Хлебников внимательно посмотрел в красные от бессонницы, опущенные выгоревшими ресницами глаза немца, желая узнать по их выражению — врет или не врет. Добродушное лицо солдата внушало доверие.

Раздалась команда, пленные поднялись и устало побрели дальше. Пробка на дороге образовалась плотная. Русские прошли вперед, шагая напрямик; сокращая кру-

тые петли на спадающем вниз шоссе, вышли к бетонному мостику, разбитому бомбой, по обе стороны которого собралось несколько сотен машин. Возле грузовиков суетились бородастые сикхи в цветных повязках на головах, из-под которых, как у женщин, виднелись длинные черные космы волос. Поглядывая на небо, пленные итальянские саперы с понтонными значками на грязных пилотках поспешно чинили мост.

Капрал в мягкой широкополой шляпе, из новозеландской части, шутил, глядя на саперов:

— Грациани рассчитывал, что они ему мост через Нил построят.

Солдаты, стоявшие вокруг, дружно расхохотались.

— Пистолет в тряпку замотан, лежит в кобуре. Видать, бережет от пыли, — сказал Шепетов, показывая рукой на новозеландца.

Беспорядок у моста был ужасный. Несколько бомбардировщиков могли бы перебить на шоссе уйму людей, сжечь много машин.

Темнело, когда починили мост и движение возобновилось. Отыскав машины, на которых ехали, русские отправились дальше. Шепетов нашел в небе Большую Медведицу; увидев Полярную звезду, определил направление движения: машины ехали на северо-запад.

— Не знаю, что бы отдал, лишь бы увидеть Красную площадь, — неожиданно признался Агеев.

Ему не ответили, хотя у каждого в голове роились подобные мысли. Тоска по Родине терзала сердце.

В полночь приехали в Капуццо и узнали, что штаб-квартира генерала Охинлека находится юго-западнее, километров за тридцать, в Бир Гибни. Шатаясь от усталости, вышли на перекресток и через полчаса уже лежали в теплых грузовиках, идущих в Бир Гибни. Хлебников, развалившись на снарядах, закрыв глаза, видел перед собой сражение у незаметной станции Эль-Аламейн. «Только Эль-Аламейн погубит Роммеля, задушит его армию», — думал он.

Машины быстро добрались до Бир Гибни. Генерал Охинлек еще не спал и, узнав о прибытии русских, сразу же принял Хлебникова у себя в землянке, вырытой в песке. Это был пожилой, высокий, морщинистый человек с крупными чертами лица и глубоко спрятанными в складках загорелой кожи светлыми глазами. Потрогав щеточку колючих усов под широким носом, он протянул

крупную, обнаженную по локоть руку Хлебникову и, пригласив его сесть на походный стул, сказал:

— Я предупрежден о вашем приезде. Погода портится. Я хочу сказать, наше положение становится серьезным, — он постучал толстыми пальцами по столу, накрытому картами Северной Африки. — Вылазка этих юбочников — шотландских горцев — из Тобрука захлебнулась на полпути к Эль-Дуде. Только что получено неприятное известие: пятнадцатая танковая немецкая дивизия заняла Сиди Резех. Моя пятая южноафриканская бригада уничтожена до последнего солдата, седьмая поддерживающая группа потеряла три четверти личного состава. Армии нет. Удержать захваченные позиции невозможно — нечем. Батальоны имеют по пять-шесть противотанковых пушек. Да что там говорить: английская пехота не подготовлена к боям в пустыне. Наши артиллеристы подбили около двухсот танков, но поле боя осталось за противником. Через неделю мы снова будем иметь дело с этими машинами: им зантопают прорехи и снова бросят в бой. У Роммеля основной тип танков: Т-IV с семидесятимиллиметровыми пушками. Танки этого типа во многом превосходят наши и нередко подбивают их на дистанции в полтора километра. Как видите, бронесилы немцев нам явно не по плечу.

— Как же вы, зная об этом, пытаетесь наступать? — чувствуя стеснение и неловкость, спросил советский полковник.

Охинлек, поправив коротко стриженные седые волосы, сказал:

— Запасы Мальты истощились. Как воздух, нам нужны аэродромы в Киренаике. В стратегическом, а еще больше в политическом смысле мы не имеем права отступать. Нельзя, нельзя, нельзя! — Он забарабанил пальцами по кожаному ремню, стягивающему живот.

— И все-таки отступать придется, — уверенно, как уже о решенном деле, сказал Хлебников и, чтобы смягчить свои слова, улыбаясь, добавил: — При таком положении, как вы охарактеризовали, трудно отступать. Но отступать надо немедленно, с потерей времени отступление превратится в бегство.

— Вы, русские, привыкли бегать и хотите этому научить нас.

— Вас не надо этому учить, генерал, вспомните Дюнкерк. Я проехал вдоль моря от Александрии и считаю,

что вам надо отступать до станции Эль-Аламейн, соединиться там с подкреплениями, идущими из Египта, дать генеральный бой, разбить корпус Роммеля и, преследуя его, очистить всю Северную Африку.

Охинлек вздрогнул.

— Эль-Аламейн! Я обратил внимание на эту позицию, но она скоро забылась. То, что вы, не зная моих мыслей, тоже заметили ее, заставляет меня вновь пересмотреть мое первоначальное решение — дать сражение у Эль-Аламейна.

— У Эль-Аламейна низина Каттара надежно обеспечивает ваш левый, а море — правый фланги. К тому времени танк утратит главенствующую роль в пустыне. Эта роль перейдет к стрелку, пушке и мине. Пехота — вот кто решит кампанию! В Англии я узнал, что в пути сейчас находятся сорок четвертая и пятьдесят первая дивизии. Отдайте им приказ сосредоточиться у Эль-Аламейна. — Хлебников не спускал глаз с энергичного лица генерала, как бы впиваясь ему в душу.

— Эль-Аламейн, Эль-Аламейн! — машинально выбивая пальцами вечернюю зорю, Охинлек задумался, желтое лицо его говорило о смертельной усталости. — Может, лучше Матрух? Там у меня на всякий случай заготовлена позиция.

— Матрух? — воскликнул Хлебников, качнувшись, как от удара. — Но разве вы не видите, что деревня Матрух без прикрытия бронечастями — готовая ловушка для вашей армии? Роммель только и ждет, чтобы вы остановились на этой позиции.

— Не зная наших болезней, погодите давать рецепты, — ледяным голосом возразил Охинлек. Морщинистая щека его дернулась. — Простите, вы, собственно, с какими полномочиями пожаловали в мою армию?

Охинлек был задет, самолюбие его уязвлено. Хлебников отвел сузившиеся глаза от командующего и вдруг увидел на стене освещенный мягким светом аккумуляторной лампы кусок картона с нарисованным на нем маслом букетиком фиалок. Живая прелесть бархатных лепестков, густые лиловые тона, кое-где тронутые синевой, прохладные капельки жемчужной росы, собравшиеся в венчиках цветов, — как все это было прекрасно в чудовищно-дикой, необозримой ржавой пустыне! Глядя на фиалки, раздувая трепетные ноздри, Хлебников почувствовал их по-зимнему тонкий, дурманящий аромат, сме-

шанный с запахом влажной земли. 8 Марта он приносил своей Зое купленный у памятника Пушкину букетик свежих фиалок, привезенных из Крыма, — первый подарок пробуждающейся весны. Казалось, это было давным-давно, может быть, во времена Пушкина. Куда уж тут было сердиться после таких воспоминаний!

— Я приехал бить фашистов, — Хлебников, улыбаясь, поднялся с походного стула.

— В таком случае отправляйтесь в бронедивизию к генералу Лессерви. В конце мая его штаб попал в плен. Он нуждается в офицерах, да и солдаты ему тоже нужны. Он подыщет для вас дело, а советчиков у меня и без вас хватает. — Командующий встал из-за стола, давая понять, что беседа окончена.

Охинлек презирал низкорослых, но и людей выше себя не мог терпеть, а советский полковник был на голову выше его. И потом эти горящие глаза, решительные линии подбородка настораживали.

— Вот здесь наброски моей диспозиции сражения под Эль-Аламейном. Прочитайте их как-нибудь на досуге. — Хлебников положил на стол тетрадь. — Роммеля следует заманить в долину между Химейматом и голым хребтом...

— Я уже говорил: мы сами думали об этом, — коротко ответил генерал.

Едва русский переступил порог землянки, Охинлек, сбрасывая на пол ненужные карты, отыскал на столе двухкилометровку с изображенной на ней станцией Эль-Аламейн и углубился в ее изучение. Морщины на его лбу разгладились, крупные губы стали влажными. Четыре глаза видят больше, чем два. Лучшего места для оборонительного сражения невозможно найти на всем североафриканском театре. Как же это произошло? Почему он, зная об Эль-Аламейне, отказался от него сам?

В юности Охинлек учился писать маслом. Однажды он долго и мучительно создавал портрет хорошо знакомого человека. Все было похоже — глаза, рот и высокий лоб, но изображение на полотне было мертво; пришел мастер, одним взглядом увидел недостатки и несколькими мазками кисти вдохнул в полотно жизнь; в глазах заблестел ум, к щекам прихлынула кровь — человек на портрете ожил.

— Да, это как раз то, что мы все время бесплодно

ищем во всей этой кампании! — с облегчением сказал Охинлек и закрыл глаза.

Да, черт возьми, он разобьет Роммеля у Эль-Аламейна и получит от короля в награду высокое звание лорда.

Отныне его будут называть Охинлек — лорд Эль-Аламейн! Ради этого стоит рискнуть.

Командующий сел к столу и, уже не колеблясь, написал приказ генералу Уиллоуби Норри отходить с 30-м корпусом к Эль-Аламейну и круглосуточно вести там оборонительные работы. Второй приказ такого же содержания был направлен частям, снятым с Ближнего Востока; 9-й австралийской и 2-й новозеландской дивизиям, а также 18-й индийской пехотной бригаде и нескольким бронированным подразделениям.

Английские войска начали отходить к Эль-Аламейну.

Появление советских танкистов в британской бронедивизии было встречено с восторгом.

Англичане обнимали, дружески хлопали по спинам русских, угощали их шоколадом и водой, совали в карманы им сигареты. Были укомплектованы три танковых экипажа. Шепетов, Агеев и Чередниченко стали командирами только что отремонтированных американских танков «Генерал Грант», команды которых погибли накануне. Русским хотелось поскорее вступить в бой, показать себя перед новыми товарищами, испытать меткость глаза, смелость и хладнокровие.

Так же как солдаты обрадовались появлению Шепетова, Чередниченко и Агеева, генерал Лессерви, пятидесятилетний добряк, обрадовался прибытию Хлебникова.

Генерал жид один в небольшой полотняной палатке и распорядился рядом со своим походным ложем поставить койку для русского. Койки не нашли и приволокли санитарные носилки, застланные одеялом.

— Вы бы ложились, — предупредительно предложил Лессерви, поминутно вытирая платком лицо. — Черт знает, что такое, на дворе ночь, а воздух так же горяч, как в полдень.

— Расскажите, что у вас здесь творится? — попросил Хлебников. Ему не терпелось проверить сведения, полученные у Охинлека.

— Рассказывать нечего, завтра вы все будете знать не хуже меня. Идет сражение за Найтсбридж — пере-

кресток, господствующий над всеми дорогами, по которым на фронт поступает снабжение. Вот смотрите, — англичанин развернул потертую на сгибах карту. — Три германские бронедивизии обошли Бир-Хакейм с юга. Гарнизон его окружен, там дерутся французы и индусы. Пятнадцатая танковая дивизия немцев в десяти километрах от Эль-Адема. Это в двадцати милях у меня за спиной. Там творится черт знает что. Похоже, что Роммель намеревается выйти к морю восточнее Тобрука. Если это ему удастся, вся армия очутится в кольце. Комбинация не из приятных, но вам не привыкать. Русские бывали в переплетах похуже.

Хлебников внимательно взгляделся в карту.

-- Армия уже в мешке, — сказал он. — Его остается только завязать. Надо немедленно отступать на более выгодные позиции, не теряя ни одного часа, уходить на восток, к Эль-Аламейну.

— Вся беда в том, что даже командующий не знает, что делать, если не получит приказа свыше. А приказов нет, приказывают из Лондона, как будто им там виднее. — Полупечальное, полунасмешливое выражение мелькнуло на лице англичанина. Он сел на заскрипевшую койку, снял ботинки, подбитые толстыми подметками, высыпал из них песок, не раздеваясь лег, погасил электрический фонарь на ящичке, заменявшем стол, но в палатке все же было светло. Где-то недалеко горели танки, и зарево от них дрожало в небе. — Если бы вы знали, как надоела эта чертова пустыня! Несколько месяцев не видел живого дерева с корой, с листьями. Вместо воды пьем какую-то отвратительную бурду. Армия ворчит, всех тянет в Европу, солдаты хотят помогать Советам, а здесь... — генерал вдруг спохватился и начал рассказывать, как в конце мая он вместе со своим штабом попал в плен, но умудрился удрать.

— Я сорвал с себя отличительные знаки и с тех пор не надеваю их — так безопаснее. Офицеры предпочитают носить солдатскую форму, ходят в коротких штанах и рубашках. И я понимаю их...

Генерал незаметно уснул, но Хлебников не мог сомкнуть глаз. Его тревожила судьба дивизии, как будто он отвечал за нее. Перед глазами встала карта, разрисованная синими стрелами, напоминающими лапы паука. Лапы эти охватывали дивизию со всех сторон. Он испытывал незнакомое ощущение смятения и тревоги, видел

гибель армии и искал пути, чтобы спасти ее, увести десятки тысяч людей от смерти. Эти люди — друзья его Родины, они нужны общему делу союзников. Почему же они должны так нелепо погибнуть в песках?

Всю ночь издали доносились минометные разрывы и пулеметная стрельба. Изредка стрельба затихала, и тогда слышно было, как в соседней палатке стонал раненый, где-то неутомимо стучала пишущая машинка и, словно комар, на одной ноте зуммерил телефон. Ночью небо остыло, но зной исходил от земли.

Хлебников уснул, но тревожное напряжение не покидало его даже во сне. Когда он проснулся, было светло: наступил день. Лессерви в палатке не оказалось. В углу денщик готовил завтрак, штыком вскрывая консервные банки. Хлебников встал, оделся, спросил:

— Где можно умыться?

Денщик приветливо улыбнулся, обнажив крупные зубы.

— Третьи сутки не привозят воду. Недавно каждый солдат получал в день триста граммов воды, а теперь и того меньше.

Вошел Лессерви. Небритое лицо его было озабоченно.

— А, проснулись! Давайте завтракать.

Сели к ящику, заменяющему стол, проглотили по ломтику безвкусного бекона.

Приподняв полу палатки, вошел офицер, спросил:

— Разрешите доложить армейскую сводку?

— Валяй, — ответил генерал. Принюхиваясь к беко-ну, сказал: — Во-первых, дерьмо, во-вторых, мало. Американские излишки.

— За ночь произошли большие события. К сожалению, печальные для нас, — начал офицер и, поднеся к близоруким глазам лист бумаги, принялся читать: — «Контратака, предпринятая нашей армией на севере, провалилась. Танки напоролись на немецкие минные поля, пехота рассеяна. Полностью погиб сто седьмой полк Королевской конной артиллерии. Горношотландская легкая пехота и полк «Балудж» сражались до последнего солдата. В полночь генерал Ритчи на свой страх и риск приказал эвакуировать Бир-Хакейм. Оставив раненых, бросив все пушки, авангард гарнизона вырвался из поселка. Генерал Кенинг вывезен на «виллисе» Сузанной Траверз. Машина ее получила дюжину пробоин. Девушка-шофер представлена к награде...»

Хлебников слушал внимательно.

— Что на участке нашей дивизии? — нетерпеливо спросил генерал.

— Дивизия удержалась на прежних позициях. На левом фланге противник на рассвете в стык между первым и вторым батальонами бросил пятнадцать танков. Два из них подбиты экипажем советского танкиста Шепетова, — офицер с удовольствием произнес русскую фамилию.

Лицо Хлебникова просияло: для его товарищей жизнь опять обрела ценность.

— Из танков вытащили двух пленных. Один показал, что служил в сто тридцать третьей итальянской бронедивизии «Литторио». Второй пленный — немец.

— Два подбитых танка — единственное радостное известие за ночь. Ясно одно: предпринятая армией контратака не удалась. Инициатива потеряна. — Генерал безнадежно махнул пухлой старческой рукой.

— Что показал второй пленный? — спросил Хлебников.

— Он не танкист, а корреспондент в звании лейтенанта. — Офицер заглянул в бумажку. — Зовут его Отто фон Тидеманн. Мы не стали его допрашивать.

— Нельзя ли доставить пленного сюда? — попросил Хлебников. — Как правило, корреспонденты на войне — самые осведомленные люди.

— Стоит ли терять время на допрос какого-то паршивого писаки? — усомнился Лессерви.

Офицер вышел и вскоре вернулся с пленным молодым человеком, державшимся так, словно был не в плену, а в гостях. Тщательно выбритый немец поправил на голове резинку, поддерживающую светлые волосы, чтобы они не падали на лоб. Немец произвел хорошее впечатление.

— Хотите пить? — спросил Хлебников.

— Благодарю. Я привык обходиться стаканом воды в сутки, — хвастливо ответил пленный.

— Результат тренировки?

— Да. Корпус пустыни обучался в двух тренировочных лагерях, в Шлезвиг-Гольштейне и Баварии, в казармах и тренировочных зонах, приспособленных к тропическим условиям. Там с помощью пара и подогретого воздуха ученые создали настоящую Сахару. Солдаты, прошедшие подготовку, привыкли обходиться ничтож-

ным количеством воды. В корпус отбирались наиболее выносливые спортсмены.

— Что вы делали в Африканском корпусе?

— Четыре последние недели я находился при штабе фельдмаршала Роммеля, — с гордостью отрапортовал самовлюбленный корреспондент.

— Расскажите, что вы знаете о фельдмаршале.

Отто фон Тидеманн благодушно улыбнулся. Впервые спрашивали его мнение о таком большом человеке. Он знал, что по его ответу будут судить о Роммеле.

— Роммель — генерал-непоседа, — ответил он и улыбнулся столь меткой характеристикой. — В течение одного боя он десять раз изменяет свои приказы, отменяя предыдущие... Фон Рундштедт как-то назвал Роммеля клоуном, управляющим цирком Адольфа Гитлера... — Корреспондент повторил чужие слова с удовольствием. Будучи сам униженным и унижая командующего, он как бы становился с ним на одну доску.

Хлебников слушал не перебивая. Немец потер лоб, припоминая все, что знал о Роммеле.

— Его в буквальном смысле можно назвать гитлеровским генералом, в противоположность фон Фритчу и фон Рундштедту — прямым отпрыскам кайзеровской армии. В молодости Роммель не располагал ни родственными связями, ни капиталом, которые могли бы помочь ему сделать карьеру. Он достиг высокого положения благодаря своей твердости и решительности. Чем больше препятствий возникало на его пути, тем больше разгоралось его честолюбие. В прошлую войну за бой под Капоретто его наградили высшим германским орденом «Пурле мерит», равнозначим английскому кресту Виктории. Уже в то время он придавал огромное значение рекламе собственных заслуг. Его не любили, и после войны ему пришлось идти учиться в высшее техническое училище в Тюбингене. Там он руководил первым штурмовым студенческим отрядом и оказал немало услуг начинающему Гитлеру. Впоследствии это дало ему возможность стать начальником личной охраны фюрера. Роммель написал книгу «Атака пехоты» — компиляцию материалов, собранных им в бытность преподавателем Дрезденской пехотной школы. Я читал эту книгу и нахожу ее посредственной... Северная Африка интересовала его давно. В 1937 году во время отпуска по болезни он на автомобиле объехал побережье Средиземного мо-

ря, посетил Бенгази, Дерну, Тобрук и Бардию. В качестве туриста побывал в Египте, ездил на Суэцкий канал... Кампания во Франции дала Роммелю «рыцарский крест». Он командовал тогда седьмой бронетанковой дивизией, за стремительность и быстроту прозванной «Дивизией духов». Он говорит, что прорывал «линию Мажино», и это похоже на правду...

— Назовите наиболее способных генералов Африканского корпуса, — потребовал Лессерви.

— Потомок канцлера Георг фон Бисмарк, Шмидт, фон Раненсберг, Штумме, начальник снабжения Крювель, командир корпуса Ритер фон Тома.

— Не тот ли Тома, который воевал во время гражданской войны в Испании? — спросил Хлебников.

— Так точно. Авиацией руководит фельдмаршал Кессельринг. Все это цвет немецкой армии. Роммель — мастер прикарманивать чужие заслуги. План покорения Северной Африки, созданный генералом Шмирером, он приписал себе. Он блестящий тактик и плохой стратег...

Корреспондент увлекся, но Хлебников поднялся и, не глядя на немца, сказал дежурному офицеру:

— Уведите.

Смущенного оборвавшимся допросом Отто фон Тидеманна увели.

Несомненно, корреспондент верно обрисовал характер Роммеля. Хлебников закрыл лицо руками, сядясь полнее представить облик противника.

— Я готов поклясться, Роммель не станет преследовать вашу отступающую армию и крушить ее по частям, — полковник встал. — Он не умеет ждать и всеми силами навалится на Тобрук. Взятие крепости — это новый орден, похвала Гитлера, деньги и новые поместья. «Роммель хороший тактик и плохой стратег». Господин Лессерви, вы обратили внимание на эту фразу корреспондента? В ней ключ к происходящим событиям. Это разгаданный шифр. Черт подери, Роммель возьмет крепость, но упустит стратегическую победу, которую мог бы одержать, продолжая преследовать отходящую восьмую армию! Тобрук должен держаться как можно дольше. В этом спасение всей кампании.

Лессерви не спускал с Хлебникова светлых задумчивых глаз. В общем советский офицер говорил дельные вещи.

— Какое сегодня число?

— Тринадцатое июня, — ответил Хлебников.

— Черт бы его побрал, это роковой день для восьмой армии! Я, кажется, послушаюсь вашего совета и на свой страх и риск начну отходить... — Генерал сделал жест, как бы отодрал от себя что-то липкое. Видимо, ему трудно было решиться. — Лейтенант, передайте начальнику штаба мой приказ: по дороге на Капуццо отходить на Эль-Дуда и дальше на Матрух. Сообщите о моем решении в штаб армии.

Через час дивизия снялась с занимаемых рубежей, оставив в заслоне один батальон. Путь на Капуццо оказался забитым отступающими частями. В дороге выяснилось, что генерал Охинлек одновременно с Лессерви отдал приказ по армии — отступить на Матрух.

Пехота обгоняла машины 200-й гвардейской бригады, двигавшейся со скоростью черепах.

— Найтсбридж — ключ позиций. Пока мы держали его, немцы не могли добиться стратегического успеха. С падением Найтсбриджа вся линия Сиди-Муфта, Бир-Хакейм непригодна для обороны, — жаловался Лессерви шагавшему рядом с ним Хлебникову.

— Важна не линия, важно спасти армию от уничтожения... Кажется, Охинлек понял это. Он спасет армию, но накличет на себя опалу. Его прогонят, а армию отдадут другому... Плоды победы пожнет тот, другой.

Так переговаривались между собой англичанин и русский, шагая на восток, утопая по щиколотки в сухом песке. Песчаная пыль дымилась в воздухе, и было похоже, что она никогда не опустится на землю. Да никакой земли, собственно говоря, и не было: под ногами, как битое стекло, хрустел песок.

За день отошли на двадцать километров, поминутно отдирая от тела мокрую одежду.

Вечером Лессерви дал прочесть Хлебникову армейскую сводку. Она сообщала о катастрофе. Разбросанные в пустыне опорные пункты пали все до одного. 12-й пограничный и 6-й Раджпутанский стрелковые полки уничтожены на три четверти. Вустерский полк вырвался из окружения и пробился к Тобруку. Авиация перелетела на столь дальние аэродромы, что истребители не могут охранять отходящие части.

Ночью Хлебникову вручили шифровку. Командующий армией приказывал ему с русскими танкистами на связанном самолете отправиться в Тобрук.

— Это предписание в рай, -- проговорил Лессерви, прочитав телеграмму.

Он попрощался с Хлебниковым так, как прощаются навсегда.

На рассвете Хлебников и его товарищи были в воздухе. Самолет летел в дыму, как в облаках. Нечем было дышать, кружилась голова. Сухие звуки сплошной канонады приближались, заглушая рев мотора. Когда самолет под обстрелом приземлился на посадочную площадку, покрытую воронками от снарядов, совсем рассвело. Аэродром окружали высохшие пеньки — остатки деревьев, срубленных осколками.

По улицам города слонялись злые небритые офицеры без оружия. Покрытые копотью пожаров солдаты грабили на пристани продовольственные склады. Люди в выцветшей военной форме, как листья, сорванные с деревьев, носились по улицам; их то собирало в кучу, то расшвыривало в стороны.

На минуту Хлебников остановился у огромной воронки, куда арабы стаскивали трупы убитых, успевшие высохнуть под лучами солнца. Немецкая авиация облегчила работу похоронных команд: не надо было рыть ям, воронки глубиной в несколько метров служили могилами.

На окраине пылал склад с горючим. Восточный ветер гнал дым на крепость. Часы показывали семь утра, а на улицах было темно, как ночью. Догорали какие-то здания. Возле них, корчась от жары, умирали пальмы. Огромные серые листья сворачивались и высыхали. Эти обреченные пальмы вызывали в душе Хлебникова щемящую жалость, напоминали ему людей, прикованных долгом службы к крепости: они не могли покинуть ее так же, как и деревья.

Раненый сержант, приняв Хлебникова за английского полковника, с трудом раскрывая распухшие лиловые губы, сказал ему, что генералы тайком бежали ночью на самолетах, бросив на произвол судьбы свои части. Несколько офицеров застрелились. Врачи покинули госпитали. Раненые провели ночь без воды. Целые батальоны самовольно оставляют оборону. Сражаться нет смысла: все пропало! Говорят, получен приказ — сдаваться на милость немцев.

Хлебников пошел дальше. Обгоревшие дома зияли пустыми окнами, закопченные стены были побиты оскол-

ками — повсюду виднелись следы длительного сражения. Чудом уцелел только белый минарет.

С большим трудом удалось разыскать командующего южноафриканскими войсками генерала Клоппера, который оказался в Тобруке старшим по званию. Клоппер находился на берегу в штабе, расположившемся в древней римской гробнице. Перед ним на полу пылал костер. Генерал, не просматривая, швырял в огонь пачки документов, карт, шифровок и донесений. У штаба не было даже часового.

Генерал обрадовался Хлебникову и протянул ему полученный почью краткий приказ Охинлека: пробиваться из крепости, а если это уже невозможно, сражаться до последнего человека.

— Соппротивление бесполезно, — бормотал Клоппер, перво одергивая рубаху цвета хаки с короткими рукавами. — Гарнизон долгое время жил надеждой, что армия рано или поздно выручит нас, и вдруг мы узнаем, что армия разбита и панически бежит неизвестно куда. Поневоле опустятся руки. Треть всех солдат заражена бадьхарзией — заболеванием крови, от которого люди становятся сонными, как осенние мухи. Я отдал распоряжение войскам сжечь склады и сдать в плен.

— Вы не правы, генерал! — воскликнул Хлебников. — Крепость обязана держаться.

— Ах, зачем вы мне все это говорите?! Нас бросили на произвол судьбы, — бормотал Клоппер. — Кстати, здесь имеется около двухсот советских солдат, в свое время разными путями бежавших в Англию из плена. Есть также польские артиллеристы Карпатской бригадной группы. Они будут рады вас видеть.

— Назовите боеспособные части, которые могут еще сражаться, — потребовал Хлебников. У него мелькнула дерзкая мысль взять все в свои руки, остановить панику, удержать крепость.

— Периметр обороны прорван на всех участках. Немцев на некоторое время остановили минные поля. Как только их разминуют, они войдут сюда. Противника пока еще сдерживают Вустерский и гвардейский Колдстримский полки, южноафриканцы и несколько артиллерийских дивизионов, которым я не успел послать приказ о сдаче в плен, но они смогут продержаться до вечера — не дольше. Двадцать пять тысяч солдат, выполняя мой приказ, сложили оружие; они уже не бойцы, а сброд. В крепости не

осталось ни галлона воды. Диверсанты взорвали последние цистерны. Какой-то мерзавец посалил колодцы. Понимаете, я, командующий, хочу пить, пить, пить!..

— Вода есть в Дерне, за сто двадцать миль отсюда. Перед войной итальянцы возили в Тобрук питьевую воду наливными судами из Италии, — раздался голос офицера, появившегося в дверях. — Господин генерал, батальон чехословаков, защищающий форт С-19, отказался выполнить ваш приказ о сдаче в плен и продолжает сражаться.

— Да, вот еще есть чехословаки. Они защищают форт, получивший условное наименование «Гонза». Он стоит на краю глубокого оврага. Очень выгодная позиция, — сказал Клоппер.

Известие о чехах, отказавшихся сдаться в плен, перевернуло душу Хлебникова.

Понимая, что гарнизон Тобрука обречен, он решил хотя бы на сутки удержать крепость.

В продолжение всей кампании Гитлер требовал взятия Тобрука. Роммель по-прежнему видел перед собой только свою непосредственную цель — Тобрук. Все войска свои он бросил сюда.

— Мне кажется, судьба Египта зависит от судьбы Тобрука... Кто может проводить меня к советским солдатам? — спросил Хлебников.

— Русские дерутся в составе Колдстримского полка. Они оставлены в арьергарде. Мой адъютант отвезет вас туда. Скажите, ваш самолет исправен? — с какой-то нервностью поинтересовался Клоппер. — Все, что может летать, сегодня ночью покинуло крепость. Все улетели, остался один я... Обстрел настолько силен, что из города улетели даже птицы.

— Самолет к вашим услугам. Мне он больше не нужен. Я остаюсь здесь. — Хлебников посмотрел на Клоппера, подумал: «Вряд ли он спасет свою шкуру. Если даже улетит, его все равно собьют. Ведь лететь он хочет немедленно, не дожидаясь ночи».

— Желаю удачи, полковник! Я отправляюсь на аэродром. Мне надо подумать, я еще ничего не решил, как быть, куда деть себя. — Клоппер выбежал из штаба, и через минуту «виллис» его исчез в дымке, застилающей солнце.

Проехать на позиции Колдстримского полка оказалось нелегко. По обстреливаемой дороге мимо стен, на

которых краской было написано: «Веди себя всегда так, как будто на тебя смотрит дуче», в крепость плелись толпы усталых, измученных солдат. Сбоку от дороги валялись убитые и умирающие от ран. На них не обращали внимания. Люди шли с раскрытыми ртами, жадно, как воду, глотая горький, отравленный дымом воздух. Шофер непрерывно сигнализировал, солдаты неохотно уступали дорогу.

Дважды «виллис» Хлебникова попадал под минометный обстрел. Приходилось выскакивать из машины и ложиться в раскаленный песок, набивавшийся в нос и уши. В воздухе беспрепятственно почти на бреющем полете шныряли «мессершмитты».

У гряды белых камней «виллис» оставили и дальше отправились пешком. Напуганный адъютант не совсем точно знал расположение войск, к тому же смешавшихся за последнее время, и Колдстримский полк нашли лишь к полудню. Там уже знали о приказе командующего, и один батальон, бросив на землю оружие, в полном составе с поднятыми руками сдался в плен.

— И вы не стреляли им в спину?— спросил Хлебников окруживших его солдат.

Никто не ответил. Все заранее принимали его власть, как нечто само собой разумеющееся. К нему подошло человек десять. Узнав в нем советского офицера, все сразу заговорили по-русски. Это были воины Красной Армии, попавшие в плен и бежавшие оттуда к союзникам.

Хлебников, не скрывая наивысшей опасности, объяснял создавшееся положение.

— Защиту Тобрука мы берем в свои руки. Будем стоять насмерть, как в России. Конечно, мы не сможем его удерживать, но чем дольше крепость будет держаться, тем больше шансов на спасение английской армии, иначе она погибнет... Отступать некуда — позади море, а путь на Родину лежит через пустыню, и надо пройти ее с кровавыми боями, сквозь огонь.

Его поняли, сказали, что советские солдаты сведены в одну роту. Командует ею майор Натаров.

Хлебников вызвал Натарова. Явился невысокий средних лет человек с необыкновенно синими глазами. Видимо, из приписников. Он стоял как-то не по-военному, боком, покусывая ровными зубами американскую резинку. Выгоревший чуб закрывал лоб, доставал до

бровей, тонких, девичьих, будто нарисованных. На такие лица приятно смотреть, и Хлебников, не скрывая улыбки, не сводил глаз с Натарова.

— Ни один боец моей роты не согласится вторично попадать в лапы фашистов. Мы продолжаем защищать крепость, а когда надо будет, последуем за вами. Многие англичане присоединятся к нам. Австралийцы — артиллеристы двух батарей на моем участке скорее умрут, чем подымут руки.

Весь день Хлебников провел на переднем крае, приводя в порядок оборону, рассредоточивая поредевших защитников по траншеям и сангарам, обложенным какистрами с песком. Натаров и несколько английских офицеров помогали ему. Советская рота и два взвода чехов были выдвинуты на главное направление, куда немцы вот уже второй день наносили решающий удар.

К вечеру удалось привести в порядок части, согласившиеся драться, и Хлебников предпринял контратаку. Фашисты, не встречавшие в последние дни сопротивления, потеряли всякую осторожность и подтянули к переднему краю множество танков, автомашин, артиллерийских парков. Вся эта техника находилась в походных колоннах и не могла принять участия в отражении лобовой атаки. Машины были лишены маневра и стояли на дорогах, будто мишени.

Английский лейтенант, руководивший вылазкой, уничтожил со своими людьми дюжину танков и сжег около двух десятков автомашин. Остовы их загородили узкую дорогу. Продвижение немцев приостановилось.

Наступила ночь и продолжалась невыносимо долго, как затянувшаяся болезнь. До утра совершенствовали оборону, орудия легких систем выдвигали на прямую наводку, минировали подступы. Саперы упрямо и молча натягивали колючую проволоку. Тонкий звон ее стоял в теплом воздухе. Английские солдаты наворачивали упущенное. Их как бы обновили. Они охотно подчинялись воле советского полковника, заражавшего их своей энергией.

На рассвете под страшный грохот канонады фашисты начали общее наступление. Весь день слышался сухой хруст артиллерийского грома. К вечеру немецкая атака была отбита на всех участках, но сколько было на это затрачено почти нечеловеческих сил!

«Тобрук продержался еще одни сутки,— с удовлетворением подумал Хлебников.— Весь мир узнает об этом».

На второй день взбешенный Роммель, как по расписанию, все повторил сначала. С утра палетела авиация, затем началась артподготовка, и танки с пристроившейся к ним пехотой пошли в атаку на участок советской роты. Красное горячее солнце, выкатившееся, как из доменной печи, жгло нестерпимо. На песок было больно смотреть: под солнечными лучами он сиял и переливался, словно жидкая сталь в мартене.

«Как не похож он на бархатный волжский песок!»— думал Хлебников, щуря глаза, чувствуя на плечах невыносимую тяжесть.

Земля тряслась, будто в лихорадке. Мелкая пыль поднялась над ней и стояла плотная, как стена. Снаряды летели, перегоняя друг друга. Пахло железом, горелым маслом, краской—пылали танки, окрашенные в цвет кофе с молоком. Все вокруг напоминало поверхность Луны— сплошные зияющие кратеры с обожженными краями.

Пустыня пришла в движение. От горизонта во всех направлениях к Тобруку двигались колонны грузовиков, набитых стрелками, гудели танки, по дорогам медленно тащились пушки. Цистерны с водой, походные кухни, санитарные автобусы, интендантские повозки, запряженные мулами,— все это создавало плотные заторы, ползло черепашьим шагом, мешало продвижению атакующих войск, представляло удобную мишень для крепостных орудий. Скрип колес, скрежет гусениц, ругань, удары, крики команд, гул тысяч раздраженных голосов покрывали все звуки боя.

Фашисты наступали волнами, скошенных пулеметным огнем сменяла новая волна, вторую— третья, и так до бесконечности, как на море. Наступающие войска сливались с волнистой линией холмов на горизонте.

Хлебников, прислушиваясь ко все усиливающемуся грохоту боя, отметил, что в пустыне нет звонкого голосистого эха, как в России. Эха не порождали даже оглушительные разрывы бомб. При воспоминании о Родине сердце Хлебникова болезненно сжалось.

Он прислонил горячий лоб к выщербленной амбравуре дота и вдруг увидел белые поля и березы, по поясу

занесенные снегом. Рядом хрустнул ледок. Хлебников раскрыл глаза, догадался — пуля расколола стекло на «виллисе», стоявшем невдалеке.

Он так и не понял, почудилась ему или приснилась зима, — давно уже не удавалось поспать несколько часов сряду.

Наблюдая за разгорающимся боем, он мучительно обдумывал план прорыва немецких войск; решил продержаться еще сутки и ночью под прикрытием пушечного огня уходить в автомобильной колонне с советской ротой, англичанами, чехами, поляками, согласными разделить с ним судьбу. Для этого уже были найдены машины, горючее, артиллеристы, согласившиеся поддерживать отчаянную вылазку. Ощущение великого товарищества и братства, возникшее в бою, избавляло солдат от необходимости уговаривать друг друга, чтобы решиться на прорыв и марш через неизведанную пустыню.

Фашисты с невиданной злостью упрямо шли по дороге, атакуя в лоб наиболее укрепленный участок во всей системе обороны. Весь день центр боя клочкотал у небольшого обвалившегося моста, по обе стороны которого в траншеях оборонялась наполовину разбавленная англичанами рота советских солдат. Никто не поднял рук. Да сдаться и нельзя было: в плен никого не брали.

Поднося к воспаленным глазам бинокль, Хлебников все чаще поглядывал на мост, но, кроме клубившейся пыли, прорезаемой желтыми вспышками орудийных выстрелов, ничего там не видел. Иногда порыв ветра раздвигал золотистый, затканый красными цветами разрывов занавес пыли, и тогда виднелись полуразрушенные бетонные доты, будто памятники на забытом кладбище.

В десяти шагах, в осыпавшейся бомбовой воронке, полковник увидел радостно блеснувшие глаза василькового цвета, которые только и могли быть у Чередниченко.

Хлебников выполз из развалин дота.

— Ты чего валяешься, боишься?

— Що вы, боишься! — Чередниченко засмеялся. — Бажаєте, так я зараз помру. Все равно войне кинця не видно. Когда-нибудь обов'язкого уб'ють. — Он вылез из ямы, встал во весь рост, оперся на винтовку.

— Чудак, умереть легко, а жить трудно, — сказал Хлебников, обращаясь больше к себе, чем к Чередни-

ченко, ибо сам неоднократно спрашивал у себя позволения умереть в бою — раз и навсегда покончить с нестерпимой тоской по всему, что зовется Родиной.

Он отодвинул тело убитого пулеметчика, лег за пулемет и пустил несколько коротких настильных очередей в фашистов, по-пластунски переползающих вперед.

Ему вспомнился страшный момент пленения. Когда фашисты на опушке рощи окружили его, он, расстреляв в них обойму, поднес к поседевшему вдруг виску пистолет с последним патроном. Оказавшийся рядом сержант вырвал оружие, швырнул в пруд, по глади которого пошли круги. Хлебников явственно увидел сейчас эти широкие круги, напоминающие большую мишень.

— И хорошо, что не застрелился,— проговорил он, сплевывая песок, набившийся в рот.

— По-нашему научились переползать,— сказал Чердниченко, стреляя в фашистов.

В два часа дня к Хлебникову подполз раненый связной, англичанин, подал окровавленную записку.

Натаров просил подбросить ему хотя бы взвод. Резервов не было, пришлось связного отправить назад ни с чем.

Через час приполз второй связной, изможденный, усталый. Запекшимися от жажды губами на словах передал вторичную просьбу Натарова помочь людьми.

— Раз так, посылаю последний резерв,— Хлебников горько улыбнулся и пошел сам к мосту. Земля кипела от пуль. Половину пути ему пришлось ползти. Обдав его камнями, рядом разорвалась мина. Секунда страха захватила дыхание и прошла, как печальный вздох.

У сангары — наскоро построенного укрепления, обложенного мешками с песком,— Хлебников увидел раненого в грудь и живот умирающего Натарова. Синие глаза его слиняли, стали серыми, неживыми.

— Один англичанин хотел закрыть Натарова своим телом, да не успел. Вон он лежит, бедняга.— Заросший курчавой бородой чех показал на убитого, лицо которого было закрыто клетчатый платком.

Хлебников посмотрел на толстые подошвы ботинок убитого. Да, в такой битве все становятся братьями.

— Полковник,— зашептал Натаров, узнавая начальника, — я из Куйбышева. Там, на Рабочей улице, моя семья...— Он помолчал, собираясь с силами.— Вернегесь в Союз, напишите моей жене...— Розовая пена окраси-

ла бескровные губы умирающего.— Полковник, вы коммунист?..

— Да,— ответил Хлебников.

— Я тоже,— непослушными пальцами Натаров достал из кармана свернутый в трубочку первый листок партийного билета.— Здесь все: и фамилия, и фотография, и год рождения— вся моя жизнь. Я знал: фашисты казнят коммунистов. Раненым попал в плен, посмотрел на партбилет, подумал: партийный билет могут выдать второй раз, а жизнь никто не даст... Но спрятал документ, и в плену, когда дубасили меня до смерти, пащупывал я партбилет, и ко мне возвращалась сила... Я и бежал потому, что коммунист... А сейчас амба мне. Вышел в расход...

— Вы не умрете! Вы, вы...— горячо зашептал Хлебников, страстно веря в то, что Натаров выживет. Горькая спазма сдавила горло. Он слышал, как отчаянно билось, сляясь удержаться за жизнь, сердце раненого.

— Пить...— простонал Натаров, царапая руками песок, и повернулся бледным, зеленеющим лицом вниз.— Я весь состою из боли... Ничего во мне не осталось... Одна боль.

Солдаты, лежавшие поблизости, отцепили от поясов фляги. Один потряс флягой над ухом; второй отвинтил крышку, опрокинул посудину горлышком вниз, но даже капли не пролилось оттуда; третий с сожалением взглянул на флягу и выбросил за ненадобностью. Рота героев не имела ни капли воды.

Собрав последние силы, Натаров достал из кармана очки с черными стеклами, хотел сказать: «Возьмите— пригодятся в пути от солнца и пыли»,— но язык уже не повиновался ему.

— Коммунист?— спросил лежащий за пулеметом английский лейтенант.

— Да!

— Я так и думал,— сказал англичанин.

Хлебников до вечера командовал остатками роты и Колдстримского полка.

Несмотря на тропическую жару, солдатам от предчувствия близкой смерти было холодно. Мелко дрожа в ознобе, смотрели они на черное лицо Хлебникова, а он как бы шутил со смертью, хорошо зная, что на него отовсюду глядят люди. Теперь было не страшно даже по-

гибнуть. Поставленную задачу он выполнил: Тобрук, скрывая большие силы немцев, держался.

Невиданное доселе упорство осажденных беспокоило Роммеля. Ему сообщали о сожженных танках, о немецких ротах, уничтоженных пулеметным огнем до последнего человека, и, наконец, доложили о взятии в плен двух раненых русских солдат.

«Вот оно, откуда такая стойкость! Не появились ли в Тобруке советские части? Это, пожалуй, самое страшное, что может случиться здесь со мной»,— с холодеющим сердцем подумал немецкий фельдмаршал.

Напряжение боя достигло высшего предела. Не верилось, что на свете существует тишина, легкие звуки: воркование голубей, звон дождя.

«Продержаться бы дотемна, фашисты не умеют воевать ночью»,— думал Хлебников, с надеждой следя за тускнеющим солнцем, медленно опускающимся в море.

Разбитый вдребезги мост остался за ним. Повсюду валялись трупы.

Солдаты с нетерпением ожидали заката солнца, но наступившая ночь не принесла облегчения. Из Сахары по-прежнему дул раскаленный ветер, от которого никуда нельзя было скрыться. Комары жгли лица, будто крапива. Люди с жадностью смотрели на жестяные четырехугольные банки, наполненные тепловатой водой, отдающей хлором. Ничего в мире не было для них прекрасней воды. Они честно заслужили сегодня по стакану этой влаги, но пришел Хлебников — приказал залить радиаторы автомобилей. Будто в насмешку сказал, что вода дороже бензина.

В час ночи, после взлета двух красных и одной зеленой ракет, как было условлено, артиллерийский дивизион открыл стрельбу по притихшим немецким частям. Это была последняя вспышка сопротивления. Обреченные, остающиеся в Тобруке артиллеристы не жалели снарядов. На раскаленных стволах орудий пузырилась и горела краска.

Люди Хлебникова быстро снялись с позиций, заполнили автомобили, сосредоточенные в укрытии на переднем крае, и поехали впритирку за огненным валом, переносившимся все дальше и дальше. Последние защитники покинули крепость. Только артиллеристы, прощаясь с товарищами из южных фортов, продолжали вести огонь. Что-то напоминающее погребальные аккорды бы-

ло в звуках замирающего боя. И вдруг, словно удар в гигантский барабан, раздался оглушительный грохот. Это англичане взорвали главный склад с горючим — тот самый, к которому так неудержимо рвался гитлеровский фельдмаршал.

Грузовики тащили на прицепах дюжину расчехленных, готовых к бою пушек. Солдаты были хорошо вооружены, на каждой машине стоял пулемет, но никто не стрелял — прорывались молча, со стиснутыми зубами. Что ждало их впереди, никто не знал.

Когда колонна тронулась в свой опасный путь, несколько малодушных спрыгнули с грузовиков, но места не остались пустыми, их заняли другие английские солдаты, подцепившиеся на ходу. Вопрос шел о жизни и смерти, а никто не мог сказать, где раньше наступит гибель — в крепости или в пустыне. «Остановить немцев сумели, — значит, сумеем и уйти», — так думали многие англичане, и Хлебников знал об этой возродившейся вере.

В голове колонны двигалось четырнадцать танков под командованием Шепетова. В башне передней машины, приоткрыв люк, легкий и свежий, стоял Агеев, не спускающая прищуренных глаз с английского сапера, проводившего колонну через разминированное поле. Агееву стало жаль Тобрук, как если бы он оставлял врагу советский город.

— Вынули все мины! — крикнул сапер и, легко вспрыгнув на броню, вытер рукавом высокий потный лоб с залысинами. — Теперь валяй полным ходом.

Он был рыжеволосый, с плоским лицом, усеянным веснушками и синими угольными пылками, вевшимися в кожу. Звали его Эрик Хэй. Было ему уже за тридцать.

Над головами просвистел снаряд, но ни русский, ни англичанин не пригнулись, испытывая друг друга в храбрости. Снаряды посыпались чаще, песчаные столбы разрывов вставали со всех сторон, машины пробирались между ними, как через рощу. Агеев долго оглядывался на уменьшенную расстоянием, словно игрушечную крепость, завязанную в красный узел огня.

Из зарева, охватившего Тобрук, вырвалась кроваво-красная луна, зловеще осветила людей, казалось идущих в свой последний предсмертный путь.

Хэй сказал Агееву:

— Вдоль моря нам не пробиться. Надо пересечь пустыню, а там жажда, смерть.

— Смерть, смерть.. Не бросайся зря такими словами,— недовольно протянул Агеев, который успел полюбить привязавшегося к нему сапера, не раз спрашивавшего его о доме, жене и детях, о том, как в Советском Союзе живут рабочие. Болтая с англичанином на том странном международном языке-суржике, родившемся в концентрационных лагерях, включавшем слова разных народов, Агеев предавался воспоминаниям, отводя душу, думал: «Сколько на свете таких прекрасных людей, как Хэй!»

Хлебников двигался со всеми предосторожностями, выслал вперед разведку, головной и боковые дозоры.

Машины, не зажигая фар, пересекли многочисленные вади — пересохшие русла ручьев — и шли не по дороге, а напрямик, через пустыню, в рыхлом песке, строго на юг, в район оазиса Джарабуб. По дороге туда не было ни рек, ни мостов, ни высоких гор.

Полковник рассчитывал пополнить в оазисе скудный запас питьевой воды, но не это было главным. В мыслях у него созрел столь дерзкий план, что стоило подумать о нем — холодок пробежал по коже. В Тобруке Роммель, конечно, быстро поймет, что его ловко одурачили, и стремглав кинется к Эль-Аламейну. Как только он втянет в сражение свою армию, Хлебников ночью ударит по нему с тыла и правого фланга, смешает карты, наведет панику. Правда, сил маловато, всего семьсот девять бойцов, но зато каких — все обстрелянные в том же Тобруке, побывавшие в боях. Не люди — орлы, советские ребята, поляки, чехи да солдаты Вустерского и Колдстримского полков — гордость Британии, на них можно положиться! Уже то, что они предпочли свободу плену, подымало их в глазах требовательного командира.

Роса не выпала, и колеса грузовиков поднимали тучи едкой пыли, затруднявшей дыхание. Песок набивался в глаза, уши, ноздри, проникал сквозь обмундирование, тысячько острых игл колот грязное, давно не мытое тело.

Ветер крепчал. Рыжий песок вырвался из-под скатов и побежал, словно вспугнутая лисица, за ней вторая, третья. И вот уже мчится целая стая, распушив над землей хвосты. Впереди колонны крутилось несколько невысоких песчаных смерчей. Пустыня зашевелилась и вскоре превратилась в сплошной, стремительно несущийся навстречу песчаный поток. Солдаты нахмурились, послышались про-

клятья, и только Хлебников повеселел — песок заметет следы, ни один немец не узнает, куда исчез отряд.

Машины буксовали и двигались с трудом. Агеев посоветовал остановиться и переждать песчаную метель. Но Хлебников торопил вперед, чтобы поскорее выбраться из зоны действия немецких войск. В раскрытых жерлах орудий свистел ветер. Хлебников приказал надеть чехлы, но артиллеристы где-то их потеряли.

— Теперь только вперед,— отвечал Хлебников на уговоры сделать привал.

И машины шли все дальше, углубляясь в песчаный океан, где не было ни маяков, ни ориентиров, ничего, кроме пылящих песчаных барханов.

Наступил день. На земле свирепствовала буря, а небо было ярко-синим, солнце плавало в нем, как в воде. В полдень Хлебникову доложили, что два человека умерли от жажды, один сошел с ума — бросился под танк и раздавлен гусеницами. Обессиленные люди подталкивали машины, точь-в-точь как в снегах России. Полковник закрывал глаза и, как в бреду, видел сугробы и леса, покрытые холодным инеем.

Наконец Хлебников не выдержал и приказал остановиться на час, выдать каждому по сто граммов воды, почистить моторы от набившегося в них песка.

Люди, уставшие бороться с ветром, падали у песчаных сугробов и засыпали мертвым сном. Шепетов прошел вдоль колонны и вдруг увидел полузасыпанный скелет верблюда и человеческий череп. Белые кости на желтом фоне зыбучих песков напоминали о том, что ждет их всех впереди.

Через полтора часа людей подняли и все началось снова. Мутна была даль, ничего впереди не видно — глаза воспалены. И у всех проклятый вопрос: хватит ли сил дойти до оазиса? А вдруг там немцы? Был бы самолет, послать бы разведку.

Хлебников взял с собой одну из лучших походных радиостанций Тобрука с опытными радистами, знающими секретный код немцев. Вскоре радисты принесли расшифрованную телеграмму Роммеля, посланную Гитлеру. В ней было сказано: «Сегодня мы находимся на расстоянии ста километров от Александрии и Каира и держим в своих руках ключ от Египта, имея твердое намерение проникнуть туда. Если мы зашли так далеко, то не для того,

чтобы нас оттуда вытеснили. Вы можете быть уверены, что мы крепко держим то, что однажды захватили».

Через сутки приняли и расшифровали ответ. Гитлер благодарил за взятие Тобрука, торопил наступать на Суэцкий канал, намекнул на свое решение прорваться к Волге.

Хлебников закрыл глаза и представил, как далеко он от Волги, сколько тысяч километров лежат между ними. Жена — волжанка, и непрошенные мысли овладели им. Как она там со своим слабым сердцем, с дочкой, ждет ли его? И дождется ли?.. Ведь вот жена Натарова не дождалась — ясноглазый майор скончался. Он и в смерти оказался таким же прямым и честным, как в жизни: умирая, широко выбросил вперед руки, будто обхватывая чужую землю, — даже мертвый не желая ее отдать фашистам.

Воспоминания настигали полковника.

— Зоя, милая, хорошая, родная! — распухшими, черными губами шептал Хлебников, и не так больно ныли трещины на них, заносимые соленым песком.

Никогда он, казалось, не был так близко к жене, как сейчас. Ему улыбалось лицо Зои, он видел пробор посредине головы и тяжелые золотые косы, опущенные на высокую грудь. А над Зоей березовые ветви в белом инее, как кружева. Как всегда, жена была рядом. Даже острые мгновения опасности в бою не могли отделить от него ее маленький, детский, тысячу раз целованный рот, полные руки и мокрые волосы, пахнущие Волгой.

Хлебников думал о ней всегда, даже во сне. Он спал, и блаженная улыбка порхала на его губах, обметанных лихорадкой.

Поддерживая под руку жену, Хлебников шел по широкой аллее парка культуры и отдыха, прислушиваясь к приятному шуму машин, доносившемуся от Крымского моста. словно гигантские ландыши, над ними свисали белые чашечки плафонов на столбах, с зажженными электрическими лампами. Вышли к гранитной набережной. Хлебников нетерпеливо сбежал по ступеням к Москверекке, стал на колени, зачерпнул в фуражку воды и принялся пить. Боже мой, какая вкусная вода! Никакое вино никогда не сможет с нею сравниться. Ничего подобного он никогда не пил. С каждым глотком освежающая прохлада вливалась в тело, растекалась по мускулам, в каждой трепещущей жилке разбавляла сгустившуюся кровь. Вода, вода!.. Как он истосковался по воде там, в далекой-

далекой пустыне! Хорошо, что это осталось позади и он снова со своей Зоей, у себя дома, в Москве! Можно претерпеть любые муки, вынести многодневный голод, но жажда, жажда убивает человека наповал. Было время, мечтал о глотке влаги, какой угодно, готов был пить из болота, из лужи — и вот у ног его течет широкая река. Пей сколько хочешь! Он пьет воду, фуражку за фуражкой, льет себе на голову, за пазуху, а воды не убавляется — река все течет, и все переливаются в ней московские огоньки. Пустыня? Но пустыня далеко позади, а здесь Москва, Зоя, толпа молодежи и сколько хочешь воды!..

— Зоя, дорогая, если бы ты знала, что такое вода! В ней спасение всего живого...

Раздался выстрел, такой нелепый среди сладкой музыки парка. Хлебников повернулся на звук, увидел раскаленное солнце цвета крови. Впереди образовался затор, машина ткнулась в передний грузовик и остановилась.

— Почему стреляют? — услышал свой голос Хлебников, давно потерявший ощущения здорового человека, временами бредивший и принимавший бред за действительность.

— Сержант Джон Уолдис застрелился... Люди хотят пить, — ответили ему с соседней машины.

— Сбросьте труп! — полковник отряхнулся и окончательно пришел в себя. — Ненавижу самоубийц!

Уже третьи сутки отряд с трудом двигался на юг. Зыбкая почва как бы уходила из-под колес машин. Ветер все гнал и гнал песчаную зыбь. Многие солдаты лежали в грузовиках в обмороке, большинство находилось в полузабытьи. Почти всех мучили головокружение и рвота. Дышать было трудно: казалось, песок царапает легкие. Жалкие остатки воды давно уже были выпиты. Люди жевали платки, чтобы слюной смачивать пересохшее небо. Свирепое солнце весь день стояло над головой. Шенетов из танка пересел в машину полковника, долго и внимательно смотрел вперед. На горизонте песчаного моря только дымка передвигающихся песков.

— Никаких запахов, никаких красок, желтый унылый цвет. Пустыня, будь она трижды проклята! — выругался танкист, вспоминая полузабытый уже пресный запах дождя. Горло его заскорузло от жажды, голос напоминал птичий клекот.

Хлебников, прислушиваясь к шуму мотора, возразил как можно мягче:

— Ты не прав, Шепетов. Видишь, возле той дюны песок черноватый, как потемневшее золото, а правее, словно куски латуни. Все здесь есть: и краски, и запахи — огромный в тысячи километров пляж. Пустыня очень красива, о ней можно писать стихи. На нас смотрят англичане, и нам нельзя растревлять себе душу неверием.

— Не вижу я конца пути. Кажется, не выдержу больше ни минуты. Мой мозг высох от жары.

— И это бубнишь ты, подговоривший меня бежать из плена! Вооружись мужеством, нам остается не больше часа пути. Впереди оазис, кокосовые пальмы, вода. — Хлебникову было трудно говорить, распухший от жажды язык едва помещался во рту. Ощущение было такое, будто летел в самолете.

Миновал час, два, три, а горизонт оставался все так же чист и ровен, как лезвие ножа. Казалось, там и был конец света.

Несколько раз перед воспаленными глазами Шепетова, поддерживая его истощенные силы, возникал мираж: деревья, озера, караваны верблюдов. Наконец старшина не выдержал, сполз в кузове на прямоугольные жестянки, накрытые брезентом, прошептал:

— Можете списать меня, начальник. Больше не могу терпеть...

Во рту его не было ни капли слюны, и если бы он заплакал, то не выжал бы из себя ни слезы.

Он слышал, как шевелился и шелестел песок, будто шептал: «Смерть, смерть, смерть...»

Хлебников в который уже раз взглянул на спидометр, никогда километры не были столь длинными. Моторы перегрелись, машины хрипло дышали, словно выбившиеся из сил животные. Хлебников думал: «Как бы не пришлось бросить грузовики и дальше брести пешком».

Колонна остановилась. Пар бил из радиаторов. К Хлебникову подошли несколько мрачных английских офицеров, упавшим голосом заявили:

— Дальше ехать нельзя: в радиаторах испарилась вода.

— Залейте радиаторы, — приказал Хлебников.

— Чем?

— В мою машину погружено сто банок воды.

При слове «вода» Шепетов поднял отяжелевшую голову, тусклые глаза офицеров заблестели, все они, как по команде, облизнули губы.

— Мы хотим пить, — твердо сказал один из них.

— Если мы сейчас не напьемся, мы умрем.

— Нас семьсот человек. Если каждый выпьет по глотку, мы не доберемся до оазиса. Спасение наше там, — проговорил Хлебников.

— Мы — герои Тобрука, мы заслужили по стакану воды, — забормотал худой голубоглазый офицер.

— Меняю все свои медали на кружку воды! — выкрикнул другой.

— Вы, русские, захватили нашу воду, сами пьете, а нас заставляете умирать от жажды.

— Если ты не дашь нам воды, мы убьем тебя! — закричали сразу несколько человек, сорвав с лиц платки, которыми были завязаны их рты и ноздри.

Шепетов вдруг оживился, привстал. Он внимательно смотрел на англичан.

Со всех сторон к машине Хлебникова приближались солдаты, небритые, с обожженной, потрескавшейся кожей, просвечивавшей сквозь дыры лохмотьев, в которые превратилось их военное обмундирование. Ежедневно готовые к гибели, они ничего не боялись. Несколько человек перелезли через накалившийся железный борт кузова. Один из них поднял жестяную банку, пробил ее штыком и, подняв на уровень лица, проливая живую струю воды, начал жадно пить. Кто-то сбил его ударом приклада.

— Офицеры, ко мне! — скомандовал Хлебников.

Несколько английских офицеров, вынув пистолеты, стали рядом с машиной. Сапер Эрик Хэй с ручным пулеметом вскочил в кузов, срывающимся голосом закричал:

— Назад! Перестреляю всех, как шакалов!

Капрал в новозеландской шляпе, одурманенный жарой, с банкой в руках, спрыгнул в песок. Хэй выпустил в спину ему длинную очередь. Новозеландец упал, уронив банку. Сухой песок жадно впитывал льющуюся воду.

— Солдаты! — прохрипел Хлебников. — Я сам хочу пить и разделяю ваши муки. У нас есть немного воды, но мы не можем использовать ни одного стакана, даже для раненых. Мы зальем этой водой радиаторы машин, и только в этом наше спасение. Оазис недалеко... — В горле Хлебникова жгло, как огнем, каждое произнесенное слово причиняло боль.

Пока он говорил, Шепетов, Чередниченко, Агеев и несколько английских офицеров втащили в кузов пулеметы и установили их по бортам.

Радиаторы были залиты. На три машины не хватило воды, их разгрузили, перелили из них бензин и сожгли, чтобы не оставалось в пустыне следов, указывающих на движение отряда.

Под вечер солнце зашло, но окрашенная закатом однообразная пустыня была все такой же мертвой.

Утром на четвертые сутки похода с головной машины увидели льва, метнувшегося в сторону от каких-то темнеющих вдали пятен. Люди воспрянули духом: зверь в пустыне мог жить только недалеко от воды.

Хлебников послал к пятнам «виллис» с английскими офицерами.

Офицеры вернулись веселые, пьяные от возбуждения, с вымытыми лицами.

— Вода! — радостно кричали они.

— Вода? Откуда? — усомнился Хлебников.

Услышав о воде, отряд смешался, все бросились к пятнам, оказавшимся воронками от бомб, до половины наполненными зеленоватой, солоноватой на вкус водой. Песок вокруг был изрыт следами зверей, приходивших на водопой.

Кто, когда и зачем бомбил здесь пустыню, никто не знал. Люди валились на песок и, мешая друг другу, черпали котелками воду; захлебываясь, жадно пили, наполняли ею накалившиеся металлические фляги, смачивали лица и головы.

Хлебников лежа на животе пил из воронки, черпая воду ладонью.

Шоферы, утолив жажду, заливали водой радиаторы своих грузовиков.

Вскоре вся влага была вычерпана, но продолжала медленно просачиваться из глубины.

Хлебников не решился оторвать отряд от воды и приказал сделать привал.

Разбили лагерь и простояли двое суток, отдыхая и приводя в порядок себя и машины. За это время воронки снова наполнились ключевой водой. Ночами какие-то дикие звери подходили из глубины пустыни, учуяв людей, останавливались, дико выли.

По компасу и карте выверили направление и, когда солнце, словно в океан, опустилось в золотой песок, снова двинулись в путь. Как и прежде, через несколько часов людей стала мучить жажда, а радиаторы грузовиков покрылись облачками пара.

Еще трое суток отряд испытывал нестерпимые мучения. Приходилось жечь испортившиеся машины и оставлять среди песков трупы.

Вся вода давно уже была выпита до последней капли. И когда казалось, что все уже потеряно, вдруг ночью увидели робкие, далекие огни. Вначале их приняли за звезды, но потом догадались: впереди долгожданный оазис Джарабуб. Почва сделалась тверже, и машины покатали быстрее. Пахнуло свежестью, запахом трав, ветерок донес собачий лай, от которого все давно отвыкли.

У самого оазиса голову колонны обстреляли пулеметным огнем. Навстречу машинам со свистом помчались разноцветные нити. Хлебников выругался.

— Почему-то всегда забываю, что за каждой трассирующей пулей летят две обыкновенные, невидимые.

Шепетов, вновь пересевший в головной танк, полагая, что в оазисе свои, побоялся открыть ответный огонь.

Хлебников выехал вперед, выслал разведку под командованием Эрика Хэя.

Англичанин с отделением гвардейцев вернулся быстро, доложил, что в оазисе немцы. На вопрос, сколько их там, ответить не мог. Офицеры Колдстримского полка предложили посоветоваться с подушкой, то есть ждать рассвета. Хлебников не согласился с ними и отдал приказ атаковать оазис.

Вперед вырвались танки, ожившие так же, как и люди, но напоролась на противотанковый артиллерийский заслон. Подожженный танк ярко пылал, будто костер, освещающая паутину колючей проволоки и круглые глинобитные хижины, крытые камышовыми крышами.

Разгорался изнурительный ночной бой. Со всех сторон, будто пальмы на гибких стволах, вырастали зеленые ракеты, раскачиваясь, гнулись к земле.

Хлебников приказал вернуть Шепетова, разделил танки на две группы и послал их в обход на оба фланга, а сам, возглавив пехоту, атаковал оазис в лоб.

— Вперед! Там вода! — кричал он, размахивая пистолетом.

Напоминание это было лишним: солдаты чуяли воду и, не пригибаясь, не оглядываясь, неудержимо рвались вперед, чтобы утолить жажду. Стиснув до боли зубы, люди бросались на пулеметы. Никто не мог сказать, откуда у них появились силы.

К рассвету оазис был взят. Небольшой гарнизон его

перебит. Двадцать два солдата взяты в плен. В тени пальм шумел светлый прозрачный ручей, под соломенными навесами стояли три автоцистерны с бензином. За оградой топтался скот, в хижинах нашлись небольшие запасы муки и консервов.

Солдаты, разгоряченные боем и освеженные водой, обнимались. Ни зверь, ни птица не вынесли бы того, что вынесли эти люди.

От пленных радистов Хлебников узнал, что Роммель, заняв Тобрук, немедленно устремился за ускользнувшей от него 8-й армией. Если бы он захватил в Тобруке запасы бензина, крайне ему необходимые, то это в какой-то мере оправдало бы его пребывание в крепости, но все горючее было сожжено. Стараясь наверстать упущенное, взбешенный немецкий фельдмаршал ринулся на восток и днем 30 июня подошел к Эль-Аламейну. Его 90-я легкая дивизия при поддержке итальянской дивизии Тренто, батальона танков и пикирующих бомбардировщиков три раза бросалась в атаку на оборонительный участок, занятый южноафриканцами и 18-й индийской пехотной бригадой, но к вечеру все атаки фашистов были отбиты.

Против своего обыкновения Роммель возобновил наступление ночью и ценою больших потерь прорвал оборонительную полосу. Три дня силами трех танковых дивизий он пытался расширить прорыв, но это ему не удалось. Позиция оказалась невыгодной для атакующих.

Англичане предприняли ряд смелых контратак. На юге 13-й корпус, поддержанный 5-й новозеландской бригадой и крупными соединениями авиации, навалился на правый фланг гитлеровцев и после кровопролитного сражения смял его. Битва развернулась на протяжении шестидесяти километров от Каттара до моря.

Хлебников вынул карту. Сражение шло в тех местах, которые он недавно показывал Охинлеку.

Весь день измученный отряд Хлебникова отдыхал. Некоторые, выпив слишком много воды, как пьяные, лежали в тени пальм. Многие стонали во сне.

На пятый день в оазис прилетел немецкий самолет, опустился на плотный песок у ручья. Двух летчиков взяли в плен. Они были очень удивлены, что их допрашивают русские, и показали: «На севере разгорается колоссальная битва».

На десятый день отдыха радисты передали Хлебникову перехваченную немецкую радиограмму: 9-я австралий-

ская и 1-я южноафриканская дивизии перешли в наступление. В сражение с той и другой стороны втягиваются крупные силы.

Ждать дольше Хлебников не мог. Надо было идти к Эль-Аламейну, вступать в бой. Помогая англичанам, он тем самым помогал Красной Армии. Он решил: пока ремонтируют танки, дать отдохнуть отряду еще двое суток, а потом двинуться на север и нанести удар с тыла по правому флангу фашистов.

Все эти дни Хлебников, так же как и солдаты, пил много воды, валялся на траве, спал. Перед сражением полагалось хорошо отдохнуть.

На тринадцатый день отряд построился в колонну, в голову которой встали танки Шепетова, и, подымая тучи пыли, двинулся по пескам на северо-восток.

Хлебников понимал, какую ответственность взял на себя. До Эль-Аламейна предстояло пройти около 600 километров через великое песчаное море, и в бой после этого надо было вступить с ходу. Он решил не торопиться и двигаться ночами, с потушенными фарами, со скоростью не больше 150 километров в сутки.

Первая половина пути прошла благополучно: только один раз появился английский самолет-разведчик, угрожающе спизился, но, видимо по флагам и системам машин разобрал, что движутся свои, приветственно покачал крыльями и улетел на запад.

Пустыня имела свои преимущества: никаких препятствий не встречалось в пути — ни рек, ни взорванных мостов, ни гор. Единственные преграды — шеренги дюн да откосы высоких плоскогорий, среди которых умело пробирались водители танков и шоферы грузовиков. По естественным переменам окраски, по изгибам гряд, по строению песчаной зыби они научились находить узкие извилистые полосы затвердевшего песка, по которому можно было двигаться быстро, почти не буксуя.

На пятую ночь после того, как покинули оазис Джарабуб, Хлебников со своим отрядом налетел на тылы итальянской дивизии «Арьете», не ожидавшей удара в спину, сжег колонну цистерн с бензином и, потеряв около пятидесяти человек убитыми, на рассвете вышел в расположение 4-й индийской дивизии.

Индийцы встретили Хлебникова восторженно и полупуштя-полусерьезно сообщили ему приятную новость: по пути в Москву на самолете в Каир прибыл премьер-ми-

нистр Британии Черчилль. В сопровождении маршалов Уэйвелла и Сметса он инспектирует 8-ю армию.

Хлебников на «виллисе» отправился к Охинлеку.

В палатке английского генерала, у которой не было даже часового, царил беспорядок. На походной койке поверх одеяла лежал и храпел ординарец в ботинках, на полу стояли раскрытые чемоданы, в них кучей было навалено обмундирование, грязное белье, книги, письма и фотографии. Расстроенный Охинлек обрадовался русскому полковнику.

— Я оказался не у дел... Вместо меня премьер-министр назначил командующим моего подчиненного — командира 13-го корпуса генерала Готта,— сказал Охинлек, как и тогда, в их первую встречу, машинально выбивая пальцами вечернюю зорю. — Вот послушайте, что по такому поводу писал старик. — Генерал взял из чемодана томик сонетов Шекспира, прочитал вслух:

Военачальник, баловень побед,
В бою последнем терпит поражение,
И всех его заслуг потерял след.
Его удел — опала и забвеньё.

— Но я не вижу никакого поражения. Наоборот, вам удалось заманить фашистов в заранее приготовленную ловушку,— попытался успокоить англичанина русский.

Они выпили по стакану крепкого чаю, пожали друг другу руки и расстались друзьями.

Хлебников хотел увидеть Готта, но нигде не мог его разыскать, а через несколько дней узнал, что новый командующий трагически погиб: вылетел на транспортном самолете в Каир, два «мессершмитта» атаковали его в воздухе, и самолет сгорел.

Черчилль назначил командующим 8-й армией сэра Бернарда Монтгомери.

30 августа в полночь Роммель на участке Западно-Йоркширского полка 5-й индийской дивизии атаковал голубой от лунного света, похожий на ледник гористый гребень Рувейсат, тянувшийся параллельно морю. Так началась грандиозная атака по всему фронту, в которой приняли участие все танки Африканского корпуса и около трех тысяч грузовиков пехоты. Разгадать замысел Роммеля было не так уж трудно: путем глубокого охватывающего маневра окружить английские войска, прорвать оборону на юге, ринуться на север, уничтожить бронь-

силы 8-й армии и разгромить оставшуюся без их поддержки пехоту.

Монтгомери разгадал этот нехитрый, уже применявшийся три месяца назад у Эль-Газалы план. Он знал, что танки фашистов идут с половинной заправкой горючего, имея секретное распоряжение заправляться бензином за счет англичан.

Два немецких танкера с горючим были потоплены в открытом море, третий торпедирован на Тобрукском рейде. Из обещанных Кессельрингом транспортных самолетов с бензином ни один не приземлился в расположении немецких танковых частей: все они были сожжены в воздухе английскими истребителями.

Новый командующий приказал командиру Н-ской бронедивизии генералу Лессерви и командиру 4-й легкой бронебригады пропустить сквозь свою оборону вражеские танки, чтобы отсечь их от пехоты, двигавшейся за ними в грузовиках.

Лессерви бесстрашно пропустил танки. Осыпая песок, они перевалили через траншеи и окопы, вселяя страх в души людей, вжавшихся в дно ям, напоминающих могилы. Сотни машин вползали в узкую долину между Химейматом и голым, отсвечивающим на солнце горным хребтом. Подняв облако желтой пыли, перегоняя друг друга, они мчались на север, словно табуны диких коней, стремясь поскорее проскочить опасное, со всех сторон простреливаемое место, и с ходу напоролась на густое мичное поле. Машины поднимались на дыбы и с разорванными гусеницами валились набок.

Тут-то их и взяла в работу английская артиллерия. Среди волотистых облаков пыли мелькали молнии разрывов. На черном фоне порохового дыма, как дождь, сверкали серебристые полосы трассирующих пуль. Немцы повернули обратно. Танки расползались как-то боком, напоминая напуганных крабов. Не имея достаточно бензина, они утратили подвижность и со всех сторон расстреливались беглым огнем. Раскаты орудийных выстрелов слились в один непрекращавшийся сухой гул.

— Монтгомери позаботился о том, чтобы специально обработанная карта местности, на которой сейчас гибнут немцы, попала в руки Роммеля. На этой карте местность изображена свободной от мин. Детская приманка, на которую клюнула старая лиса пустыни,— сказал Хлебникову Лессерви и усмехнулся.

С наблюдательного пункта Лессерви Хлебников певоруженным глазом видел, как, оживляя однообразный пейзаж, жарко пылали подожженные танки и самоходные пушки противника, как застревали и буксовали в песке неповрежденные машины, как обезумевшие от огня люди пытались тянуть их на буксире, а отчаявшись в успехе, бросали и в полной неразберихе бежали, напарываясь на пулеметы и падая в песок.

Отступать было некуда. Узкую горловину, через которую влилась лавина танков, наглухо закупорила стена противотанкового огня. Там, словно гигантские заступы, авиационные бомбы вскапывали сухой песок.

Это было то самое идеальное для обороны место, куда Хлебников мечтал заманить Африканский корпус. Именно это место он показал тогда Охинлеку на карте. Успел ли Охинлек познакомиться с этим планом Монтгомери, или умный английский командующий нашел его сам?

Мечта Хлебникова сбылась: не было сомнения — разгром армии Роммеля начался. Чувство давно не испытанного удовлетворения охватило советского полковника.

— Отдав нам поле боя, немцы не смогут выручить и отремонтировать свои поврежденные машины, — сказал Хлебников, чувствуя, как под ногами дрожит земля.

— На этот раз поле боя остается за нами, полковник, — ответил Лессерви, раздутыми ноздрями втягивая воздух, пахнущий пороховой гарью.

— Роммель может лишь наступать. Как только он перейдет к обороне, он погиб.

Растрепав за день броневые силы немцев, англичане вечером навалились на вражескую пехоту и пушки. Привыкнув ходить вслед за танками, фашистские стрелки и артиллеристы разучились действовать самостоятельно. Немцы сдавались ротами. Пленные твердили, что тридцать шесть часов сряду не пили, умоляли дать им воды.

За сутки Роммель получил только одно утешительное донесение от командующего 1-й итальянской армией маршала Мессе. Мессе сообщал, что его армия отбила фронтальную атаку и находится на превосходной позиции для отражения последующих нападений.

Донесение это возмутило Роммеля, он разорвал его на клочки и приказал итальянцам немедленно отступить. Он отнесся к своим союзникам как к скоту, бросив их

на произвол судьбы, не выделив им ни транспорта, ни воды, ни медикаментов.

Трезво оценив создавшуюся обстановку, Роммель отдал приказ перейти к обороне: окопаться, минировать передний край, приступать к ремонту поврежденных машин, подвезти горючее. Ему удалось остановить англичан.

Хлебников ежедневно виделся с радистами, сопровождающими его из Тобрука. Радисты знали немецкий код и сообщали ему много интересного.

Роммель впервые за всю кампанию попросил разрешения отвести свои войска на несколько сот километров к западу. По мнению Хлебникова, это было единственно правильное решение: англичане получали несколько сот квадратных километров безжизненной пустыни, немцы значительно сокращали коммуникации и приближались к своим базам.

Роммель требовал высадки морского десанта на Мальту.

Разведка докладывала о прибытии Муссолини в Африку. Дуче остановился в городе Дерна, ожидая момента, когда сможет принять парад своих войск в тени египетских пирамид.

Из одного радиоперехвата Хлебников узнал, что Гитлер неожиданно разрешил Роммелю вернуться в Германию для лечения. На время отсутствия фельдмаршала командование армией было возложено на генерала Штумме, переведенного в Африку с русского фронта.

Уезжая, Роммель приказал заминировать подходы к своим позициям и насадить «дьявольские минные сады».

Из радиопереговоров между Роммелем и Штумме стало известно, что Роммель, перед тем как отправиться в Австрию, в горный санаторий Земмеринг, побывал на совещании у фюрера в его ставке в Восточной Пруссии. Гитлер пообещал отправить в Африку сорок новейших танков «тигр», бригаду тяжелых минометов, несколько полков штурмовых орудий. Разговор об отступлении фюрер воспринял болезненно, и войска, предназначенные для штурма Мальты, послал как последний резерв в Африку.

Больше чем на полтора месяца на фронте наступило гнетущее затишье, нарушаемое лишь патрульными стычками да бомбежкой. Но то было затишье перед бурей.

На побережье несколько раз выпал дождь, смыл пыль с машин, и они блестели, как лакированные.

Монтгомери работал по восемнадцать часов в сутки и требовал такой же работы от всего штаба. Он сосредоточил на севере 30-й корпус генерала Оливера Лица, состоявший из четырнадцати пехотных бригад и одной бронебригады. К югу от него был расположен 13-й корпус генерала Хоррокса: семь пехотных бригад, две бронебригады и французская летучая колонна. Во втором эшелоне находилась особая группа из двух новозеландских бригад и одной бронебригады. 10-й корпус Монтгомери держал в 80 километрах от фронта и доставил его на позиции только в ночь накануне наступления. Корпус этот провел репетицию боя на местности, схожей с той, которую Монтгомери избрал для сражения. Английскому командующему удалось сохранить в тайне прибытие в Африку двух свежих дивизий, имевших в своем составе 240 орудий и 150 танков.

Несколько ночей сряду патрули расчищали проходы в минных полях. Им удалось создать два коридора.

Опасаясь возвращения Роммеля, Монтгомери торопился и в жаркий день 23 октября начал наступление.

Генерал Штумме, пытаясь проехать на передний край, наткнулся на англичан и умер от разрыва сердца; командование Африканским корпусом перешло к генералу Риттеру фон Тома.

С чувством щемящей ревности следил Хлебников за тем, как Монтгомери руководил сражением. Главный удар английский командующий нанес на северном участке, где этого меньше всего ждали. Через южный коридор двинулись три пехотные дивизии; следом за ними шли две бронебригады...

Взошел яркий месяц. Впрочем, толку от него не было никакого, так как пыль и дым от заградительного огня сужали видимость до нескольких десятков метров. Офицеры это учли, и боевые границы бригад обозначились трассирующими снарядами из орудий «бофорс».

К северу от Химеймата 44-я и 50-я дивизии прорвались через первый пояс минных полей, за ними в походном порядке последовали полк королевских драгун и 5-й королевский танковый полк.

Светопреставление началось в полночь.

Перед Хлебниковым бушевал ураган, взметая смерчи огня и стали, заколачивая в землю тысячи молний.

Советский полковник оглох, в ушах кололо, будто он, совершая затажной прыжок, стремительно падал. Он стоял во весь рост на виду штаба английской дивизии. Ему надо было все видеть.

Лессерви по-своему понимал русского: полковник смертельно устал от недоверия и искал гибели на поле боя.

24 октября фашисты предприняли нерешительную контратаку против левого фланга австралийцев, но она захлебнулась, не достигнув британских позиций.

В мозгу Хлебникова мелькал пестрый kaleidoscope цифр: номера дивизий, бригад, полков, авиасоединений — хоть подсчитывай их на арифмометре.

До шести часов дня англичане захватили полторы тысячи пленных, из них почти половину составляли немцы.

Вечером на свой командный пункт в западной пустыне вернулся разбитый и утомленный длительным полетом Роммель. С воспаленными закрытыми глазами он выслушал рапорт генерала фон Тома.

— Английские пушки выкорчевали наши «дьявольские сады», и пехота прошла по ним беспрепятственно. Ваш любимец, король африканского неба капитан Марсель, победитель в ста пятидесяти восьми воздушных боях с англичанами, убит... Мы проиграем сражение, если снабжение войск немедленно не улучшится.

Последнюю фразу за своей подписью фельдмаршал послал Гитлеру. Эта радиограмма была перехвачена англичанами.

Узнав о возвращении Роммеля, Монтгомери заторопил свои войска.

Осунувшийся, исхудавший Хлебников спал урывками. Просыпаясь в минуты затишья, прислушивался к курлыканью журавлей в голубом небе, летевших из России на теплые зимовья.

Поздно вечером 20-я и 26-я австралийские бригады, оглашая воздух победными криками, снова ринулись в атаку, но вынуждены были залечь в красном песке в полутора километрах к югу от прибрежной железной дороги. Голодные солдаты не хотели есть и испытывали только жажду.

Роммель, тратя последние запасы снарядов, сумел заблокировать наступление англичан сильным артиллерийским заслоном.

Монтгомери понял, что полный прорыв и победа невозможны без общего тщательно подготовленного наступления, и, прекратив атаки, стал готовить новый удар. Для прорыва был сформирован свободный отряд под командованием генерала Фрейберга, командира новозеландской дивизии, который должна была поддерживать огромная масса артиллерии.

2 ноября Монтгомери начал новое наступление, еще невиданное в Африке по своим масштабам. Он был уверен в победе и боялся только, чтобы Роммель не начал отходить: в кармане у него лежала расшифрованная телеграмма Роммеля к Гитлеру с просьбой разрешить отступление на 80 километров западнее, до Фука... Монтгомери знал позиции у Фука. С юга они были защищены крутыми эскарпами, которые могла разрушить лишь тяжелая артиллерия. Отойдя на эти позиции, немцы выигрывали время для подвоза резервов и боеприпасов.

Опасения Монтгомери оказались напрасны. На другой день пришел ответ фюрера — радисты знали его наизусть и пересказали Хлебникову. В ответе было сказано: «Несмотря на большое численное превосходство, противник в конце концов будет измотан и обескровлен. Как часто случалось в истории человечества, железная воля возьмет верх над превосходством противника в живой силе. У ваших войск только один выход: победа или смерть».

— Теперь немцы обречены. Роммель вряд ли осмелится нарушить приказ Гитлера, — сказал Хлебников, усмехаясь. — Немцам нужны танки, бензин, самолеты. В приказе стоять насмерть они вряд ли нуждаются.

Дивизия Лессерви атаковала в первом эшелоне, и Хлебников был свидетелем огромного сражения, развернувшегося у него перед глазами. В этот траурный день он узнал о гибели своих друзей Шепетова и Чередищиченко, сгоревших в подбитых танках.

Фашисты терпели поражение на всех участках. Был полностью уничтожен 20-й итальянский корпус, разбиты все немецкие пехотные части, потеряна масса танков, грузовиков и пушек. Словно в насмешку, к концу сражения, когда все уже было потеряно, пришла радиограмма Гитлера: «Я согласен на отход вашей армии к позициям Фука».

Но эти позиции уже захватили английские танки. Отступать было некуда.

Хлебников не отрывал воспаленных глаз от бинокля.

В бой вступали все новые и новые английские части. Слева о пляшущей Матильде, мимо наблюдательного пункта Лессерви прошел батальон австралийцев. Грузовики протаскивали дивизион противотанковых пушек с прислугой из бородатых индийцев. На двух «виллисах» в тыл промчались офицеры связи 10-го гусарского полка; развалившись на сиденьях, они громко смеялись. На передней машине сутулился раненый немецкий генерал Риттер фон Тома — небритый, жалкий, нахохлившийся, как подбитая птица.

Всеми забытый Хлебников понял: все, что здесь, в Африке, он мог дать английской армии, он уже дал. Дальнейший ход сражения был ясен: разгром Африканского корпуса начался.

Тепло попрощавшись со своим другом Лессерви, Хлебников сел в «виллис» и уехал в тыл, подальше от чужого счастья созревающей победы.

Всю дорогу машину сопровождала круглая, такая же как в России, луна — она тускло освещала колонны сгорбившихся, едва плетущихся пленных фашистов. Хлебников сидел, откинувшись на спинку, полузакрыв глаза. Он понимал: гитлеровский план огромного двустороннего охвата, при котором одна немецкая армия должна была двигаться с Украины через Кавказ на юг, а другая из западной пустыни через Суэцкий канал на север с целью захвата нефтяных районов Среднего Востока, был сорван. Сорван, конечно, он был там, в России, но и здесь Эль-Аламейн сыграл свою роль.

Монтгомери у себя в палатке писал приказ по войскам, когда к нему вошел Лессерви.

— Какое сегодня число, генерал? — весело спросил командующий, отодвигая от себя исписанный листок бумаги и с наслаждением вытягивая худые ноги.

— Одиннадцатое ноября 1942 года.

— Сегодня день окончательного изгнания фашистов из Египта. За исключением пленных, в Египте не осталось ни одного немецкого или итальянского солдата. Восьмая армия за три недели с боями прошла четыреста семьдесят километров. Она разбила четыре германские и восемь итальянских дивизий. Такой блистательной победе можно позавидовать...

— Полковник Хлебников заслуживает высшей награды, сэр. Грудь его достойна быть украшенной крестом

Виктории, — вызываяще проговорил Лессерви, высоко подняв седую голову. — Эль-Аламейн...

Монтгомери промолчал.

А в это время в разбитом автобусе английский сапер Эрик Хэй, положив на колени листок почтовой бумаги, писал домой, в Кардифф. Шахтер, ставший солдатом, заполнил уже две страницы письма бисерным почерком, описывая подвиги советских солдат. Он подробно изложил, как русские, поляки и чехи помогали англичанам трое суток держать Тобрук, приковав к нему всю армию Роммеля, восхищался Хлебниковым.

Окончив письмо, Хэй прочел его вслух у себя в роте. Солдаты слушали внимательно, не перебивая. Они тоже полюбили советских парней — смелых, простых и великодушных, из которых каждый стоил в бою хорошего взвода. Да, они стояли насмерть, не кланялись пулям, не оглядывались назад.

— Хотел бы я, чтобы и у нас были такие полковники, — как бы про себя сказал капрал в черном берете, сдвинутом на левое ухо.

— Будут, — ответил Хэй. — Из рабочих. Хлебников-то в юности работал на шахте.

— Ты ведь тоже работал на шахте. Не в полковники ли метишь? — Капрал хлопнул Хэя по плечу и засмеялся. — А я тоже о нем напишу домой. Пускай там узнают правду о русских. Щедрые они, отдали нам все, что имели, — свои жизни. Почему бы нам всем не написать о том, что мы видели, а? Как вы думаете, ребята? Если они так воюют на чужой земле, то с каким же азартом дерутся за свою страну!

...Хлебников вышел из палатки и направился к берегу. Он любил вечно живое море, оно приводило мысли в порядок и успокаивало. С юга дул не остывающий даже ночью горячий хамсин, крупные звезды затянуло мглой, в которой бессильно барахтался молодой месяц. Сбоку дороги, дрожа листьями, стояла чудом уцелевшая пальма. Хлебников отломил от зеленого веера длинный и острый, как кинжал, листок, попробовал растереть его, поднес к носу. Захотелось крыжовника, вспомнились высокие сосны Серебряного бора, душистый запах смолы...

Что же делать дальше — плестись в обозе наступающей армии? Может быть, лучше было не раскрывать свое имя и звание и воевать сержантом, как Агеев и Чередниченко?.. Да нет, не лучше.

Хлебников шел по берегу, невесело улыбаясь. В темном небе пролетел невидимый самолет. «Свой или чужой?» — безразлично подумал Хлебников. Обгоняя его, как поземка по дороге, летел сухой зернистый песок. Хлебников поднялся на песчаный холм, долго смотрел на сияющий простор Средиземного моря. Там, далеко на севере, Зоя и дочка, пахучие корабельные сосны, домы и шахты Донбасса, Родина — то, без чего жить нельзя.

«Неужели я не увижу всего этого, никогда не вернусь домой?» — полковник закрыл глаза, и снова встали перед ним легкие плакучие ивы, запорхали ласточки у воды, тракторный дымок повис над вспаханым полем, зашумели цветущие тополя вдоль дороги. Он шел по этой дороге и, вдруг оглушенный близким, все нарастающим рокотом самолета, услышал, как раскололась весенняя почка вербы, одна, вторая, третья, и тут же увидел золотые полосы, словно нити дождя, и фонтанчики песка вокруг.

«Но ведь древесная почка не раскрывается так громко», — успел подумать Хлебников, не понимая, что разрывная пуля самолета впилась ему в спину ниже лопаток — туда, куда в детстве мать целовала его на сон грядущий. Впервые за все пребывание в Египте стало холодно. «Погреться бы сейчас у костра», — мелькнула мысль. Падая побледневшим лицом на север, Хлебников выбросил руки вперед, словно стараясь дотянуться до Родины.

Горячий ветер из Сахары старательно принялся заносить тело песком и к утру насыпал над ним неудобный мохильный холмик.

1961 г.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Не каждому выпало столько увидеть и пережить, сколько увидел и пережил мой отец Сергей Александрович Борзенко. Его знала вся страна по репортажам с горячих точек планеты. Ему довелось работать специальным корреспондентом газеты «Правда» на фронтах Великой Отечественной войны, в Корее, в Индии, Югославии, Англии, Египте, США и других странах.

Родился отец в Харькове. Мать его была учительницей, отец фельдшером. Оставшись круглым сиротой в пятнадцать лет после смерти отца, Сергей Борзенко учился в фабзавуче харьковских трамвайных мастерских и работал электриком в трамвайном депо. Потом без отрыва от производства окончил вечернее отделение Харьковского рабочего электротехнического института.

С четырнадцати лет начал писать стихи, а в шестнадцать в «Коммунарке Украины» напечатали его рассказ «Халыва». Спустя пять лет вышла его первая книга рассказов «Рождение коммуниста».

Литературный путь отца начинался рабкорскими заметками в заводских многотиражках, позже он стал постоянным корреспондентом редакции областной газеты «Социалистична Харьківщина». Великая Отечественная война застала его в Харькове. В первый же день он ушел добровольцем на фронт, в редакцию армейской газеты «Знамя Родины», так и не дописав очерк о поездке на Днепрогэс. Предстояли новые жизненные испытания — в огне сражений.

В солдатской шинели, в кирзовых сапогах, с автоматом на груди, облокотясь на ствол гаубицы, в шапке-ушанке, слегка заломленной набекрень, добро, по-мальчишески, улыбаясь, — таким смотрит на меня отец с пожелтевшей от времени фронтовой фотографии.

Я по нескольку раз прочел все газетные очерки отца, некоторые из них помню почти паузусть. Они все примечательны какими-то особо памятными событиями из жизни нашей страны.

В этой статье я постараюсь вспомнить отдельные детали, непосредственно связанные с созданием произведений, вошедших в сборник «На горячих точках планеты».

Одной из таких точек была река Уссури.

В тот день отцу нездоровилось. Утром после завтрака его по телефону вызвал главный редактор «Правды». Через два часа, вернувшись домой, он сообщил, что едет в срочную командировку на Дальний Восток. За несколько дней до этого китайские войска нарушили нашу границу у реки Уссури.

Он надел военную полевую форму, и пока мы собирали необходимые вещи, молча стоял у окна. Внизу уже ждала машина. Отец задумался и замер. Я еще никогда не видел его таким. Черты его лица стали более жесткими и настороженными, только глаза оставались голубыми и мягкими, как обычно. Казалось, невидимый груз лег ему на плечи. Он накопил большой опыт корреспондентской работы на войне и сейчас, видимо, психологически готовился к сложной командировке...

Многие факты в жизни повторяются. В ночь на первое ноября сорок третьего года отец, сильно простуженный, с температурой, отправился через штормовое море с десантом. Тогда на берегу поселка Эльтиген в только что отбитой у врага землянке он написал свою ставшую широко известной корреспонденцию в пятьдесят строк — «Наши войска ворвались в Крым». И вот теперь он снова полубольной отправляется на очередную горячую точку. В окно мы с мамой видели, как он вышел из подъезда, подошел к ожидавшей его машине, махнул нам рукой и уехал. А мы все еще смотрели на то место, где он только что стоял. На душе было тревожно...

...Одной из лучших корреспонденций Сергея Борзенко во время Великой Отечественной войны справедливо принято считать корреспонденцию «Наши войска ворвались в Крым».

По замыслу командования отвлекающий десант, с которым шел отец, должен был зацепиться за крымскую землю и отвлечь на себя значительные силы противника, а где-то в другом месте будут высаживаться основные силы советских войск. Отец отплывает на третьем мотоботе. Два ведущих подрываются на минах. Третий врезается носом во вражеский берег.

Отец оказался первым на крымском берегу. Под сильным огнем он прыгнул на песчаную гальку. Командира убило. Оставшись старшим по званию, Борзенко повел десантников в бой. Потом он напишет те незабываемые

пятьдесят строк и отправит их со связным на последнем мотоботе, увозящем раненых на Большую землю.

Когда немцы бросили в контратаку танки, прорвавшиеся на сто метров к командному пункту отряда, Борзенко вместе с офицерами вышел вперед, навстречу атакующим врагам, во весь рост, без шинели, при всех орденах и медалях и в передовой цепи забрасывал гранатами подошедшие танки. За это и представили его к званию Героя Советского Союза.

В наградном листе написано:

«За проявленный героизм, мужество и отвагу в десанте на Крымский берег майор С. А. Борзенко вполне заслуживает высшей правительственной награды: присвоения звания Героя Советского Союза.

Ответственный редактор газеты «Знамя Родины»
подполковник Верховский».

...Вспоминаю, как, отдыхая в Крыму в 1970 году, мы с отцом заехали в Керчь. На берегу моря у поселка Героевское (в годы войны назывался Эльтиген) мы вышли из машины. На пляже загорали люди, среди них были молодые солдаты, в часы отдыха приходившие сюда со своими товарищами, знакомыми девушками. Отец долго смотрел на залитую солнечным светом кромку берега, на синее спокойное море. Казалось, это самый мирный и самый красивый уголок на земле... Трудно было представить, что когда-то здесь шли ожесточенные бои. Этот берег, теперь облюбованный многими отдыхающими, когда-то был залит кровью советских воинов...

Отец смотрел на дамбу, где двадцать семь лет назад высаживался с десантом. Между холмами виднелись остатки поросшего бурьяном железобетонного укрепления со стенами метровой толщины, выстроенного немцами и отбитого тогда нашими десантниками.

Море — великий безмолвный хранитель извечных тайн земли, иногда оставляет на берегу свои реликвии. Работник музея боевой славы тех мест рассказал нам, что аквалангисты часто находят в море затонувшие мотоботы, неразорвавшиеся мины и другие предметы боев.

Отец шел немного впереди по заросшей травой линии окопов и траншей, а я следовал за ним, подбирая с земли ржавые осколки. Каждый из них мог убить отца. Сейчас они лежат у меня в письменном столе. Я шел и смотрел на его седую голову. О чем думал он в тот момент?

Может быть, вспоминал, как писал свои репортажи при свете горевшей крыши в огне сражения на листках цветной немецкой квитанционной книжки.

У меня в руках эта квитанционная книжка, желтые, розовые, голубые листки. Я с волнением перелистываю ее. Этот документ достался от отца. Но если бы кто-то случайно нашел его в шкафу, то решил бы, что это просто ненужная вещь. Сколько молчаливых реликвий времен войны, безмянных планшетов, старых солдатских ремней, простреленных пилотов порой выкидывается за негодностью теми, кто уже не знает дыхания войны.

О Сергее Александровиче Борзенко написано много очерков и статей, его имя часто упоминается в мемуарах ветеранов войны. Это не случайно — его жизнь была богата опасностями и романтична. Сам он в последние годы говорил, что, если бы ему была дана вторая жизнь, он прожил бы ее так же, ничего не меняя.

Вместе с частями 18-й армии и подразделениями морской пехоты Борзенко отправился в феврале сорок третьего года в дерзкий десант, вошедший в историю как десант на Малую землю. Там в минуты боевого затишья он писал о войнах Малой земли документальную повесть «Повинуясь законам Отечества». Исписанные листки повести он хранил за пазухой гимнастерки.

Значимость и важность его корреспонденций из десанта подчеркиваются в сборнике воспоминаний участников десанта «На левом фланге»:

«Помнится, возвратившись с Малой земли, Леонид Ильич вечером зашел в редакцию. Его окружили журналисты. И сразу же завязалась непринужденная беседа.

— Может быть, Владимир Иванович, — обратился он к редактору Верховскому, — проведем короткое совещание, или, как вы называете, «летучку». Разберем материалы газеты, посвященные показу боевых дел «малоземельцев»?

И это была одна из самых поучительных наших «летучек». Товарищ Брежнев рассказал нам о мужестве, героизме защитников Малой земли. По памяти назвал десятки коммунистов, чей ратный труд достоин подробного описания в газете.

Впоследствии Леонид Ильич Брежнев вспомнит об этих трудных днях в своей книге «Малая земля»:

«Горела земля, дымилась камни, плавился металл, рушился бетон, но люди, верные своей клятве, не поня-

лись с этой земли. Роты сдерживали натиск батальонов, батальоны перемалывали полки. Накалялись стволы пулеметов, раненые, оттолкнув санитаров, бросались с гранатами на танки, в рукопашных схватках бились прикладами и пожами. И казалось, нет конца этой битве».

Сергей Александрович Борзенко шел с головными частями нашей армии. Свой материал для газеты черпал непосредственно на передовой и всегда писал только о том, что видел своими глазами. Поэтому все его корреспонденции так яркие и содержательны. Он мог сотни километров проехать в газике, а если машина застревала — добирался к месту назначения пешком, по бездорожью.

Под Берлином Сергей Александрович Борзенко встретился с командиром бригады 3-й танковой армии.

— Только что командование приняло решение повернуть фронт под углом в девяносто градусов и бросить его с утра на Берлин, — сообщил ему генерал. — Если хочешь написать об этом, тогда — со мной. Моя бригада идет в острие стрелы.

Каждый журналист мечтал написать о взятии Берлина. Борзенко написал и отослал корреспонденцию, которая долго «бродила» по узлам связи, прежде чем попала в редакцию, но все равно она оказалась одной из первых корреспонденций из поверженного Берлина.

И вот отец у стен рейхстага — массивные и грозные когда-то колонны рухнувшей могучей цитадели фашизма. На нем гимнастерка, выжженная от солнца и ветров многих дорог. На груди поблескивает Золотая Звезда. На худом лице у глаз резкие морщинки — следы войны, но весь он полон гордости и безграничной любви к людям, к советским воинам. О нем можно сказать его же словами:

«Я — советский журналист — и где бы ни был, всегда мечтал написать корреспонденцию о последнем, завершающем аккорде войны — заключительном сражении в Берлине... Мечта моя сбылась».

Окончилась Великая Отечественная война, наступил мир, а отец не снял военной шинели, его направили в Корею специальным корреспондентом «Правды».

Его материалы о Корее построены по принципу, который можно сформулировать: «Я это видел!» Двигаясь вместе с частями освободительной корейской Народной армии, Сергей Борзенко описывал жизнь и борьбу корейских патриотов.

Писать приходилось в условиях непрерывных воздуш-

ных налетов и бомбежек. Жизнь там начиналась только с наступлением сумерек. Его очерки передают всю картину тех незабываемых дней.

«...«Летающие крепости» с большой высоты сбрасывали на окрестности Пхеньяна каскады жидкого напалма, загорающегося каким-то ядовитым цветом от трения с воздухом... Быстро светало. Погасли кровавые брызги напалма. Небо как будто вытерли».

Вместе с журналистом «Комсомольской правды» Кожинным отцу пришлось отмахать на «виллисе» не одну тысячу километров под бомбежками и артиллерийскими обстрелами. Вернулся Сергей Александрович из Кореи с поседевшей головой, синие глаза долго были цвета пепла — словно чужое горе выбелило их синеву. Помню, как на отдыхе в Сочи рассказывал он нам с мамой о войне в Корее, о русских женщинах, по несчастью оказавшихся там.

...Началась космическая эра. С самых первых ее дней отец освещал в «Правде» достижения советской космонавтики. Его вместе с М. И. Барышевым, Н. А. Денисовым по праву можно считать первопроходцем космической журналистики. Десятого апреля, за два дня до полета Юрия Алексеевича Гагарина, Сергей Александрович взволнованно писал в своем дневнике:

«Видимо, сегодня в полночь первый космонавт улетит к небывалой славе или погибнет, но в обоих случаях это — путь к бессмертию».

Когда было объявлено о полете первого в мире космонавта, у отца на столе уже лежала публицистическая заметка «Герой нашего времени», написанная им за несколько дней до полета, седьмого апреля. Ему звонили из «Комсомольской правды», из «Труда» с просьбой передать им заметку, но правдист был верен своей газете.

Борзенко и Денисову поручили подготовить книгу записок Юрия Гагарина — «Дорога в космос». Началась кропотливая работа над записками, частые встречи с Юрием Алексеевичем и главным конструктором Королевым.

Книга «Дорога в космос» была написана как бы на одном дыхании. В своем дневнике отец писал:

«Книга переведена на все языки мира, стала настольной книгой молодежи, но нигде не появилось ни одной критической заметки... Сотни писем, все хвалят».

Работая с космонавтами, отец мечтал полететь в космос первым пассажиром, увидеть неведомый загадочный

мир Вселенной и описать его в своих книгах. Тогда им были созданы повесть «Лунный диск» и сценарий «Лунная соната», материал для которых дала мечта побывать в космосе и на Луне.

Сергей Александрович участвовал в создании книг других космонавтов. Так, в свет вышли книги о полете Г. Титова «700 000 километров в космосе», «25 часов в космическом полете».

После трагической гибели Юрия Гагарина отцу поручили написать прощальный очерк для «Литературной газеты». Потрясенный этой смертью, он долго сидел перед чистым листом бумаги. То и дело говорил, что в голове не укладывается мысль о том, что такой молодой, полный жизненных сил человек мог уйти из жизни. В следующем номере газеты был опубликован очерк «Венок», журналистский венок на могилу первого космонавта. Потом отец скажет об этой работе: «Есть очерки, которые пишутся быстро и легко и дают радость в работе над ними, а есть очерки, написанные кровью сердца, в них каждая строка — боль души».

Среди журналистов отец считался опытным оперативным корреспондентом. Его товарищи часто интересовались: «А что делает Борзенко?»

«По Борзенко, как по барометру, сверяли погоду на границе», — вспоминал потом Юрий Апенченко.

В тот день, когда приземлились космонавты Николаев и Попович, выдалось пасмурное утро. Космонавты должны были лететь в Саримаган, но начавшаяся песчаная буря преградила им путь. Задача корреспондентов была собрать как можно быстрее материал для печати, но к космонавтам не так просто было прорваться. Все же журналистам удалось это, и отец минут десять разговаривал с Андрианом Николаевым. За эти минуты Сергей Борзенко успел схватить из разговора с космонавтами самое главное, нужный материал для газеты. Своей мягкой улыбкой, простотой в обращении он умел расположить к себе собеседника и как-то непринужденно, ненавязчиво направить разговор в требуемое русло. Эта черта характера очень помогала в его нелегкой журналистской работе.

...Как-то вечером, мне было тогда лет одиннадцать, мы взяли с отцом глобус и стали рассматривать страны, в которых ему приходилось бывать и работать. Я насчитал тогда много государств.

— Мечтаю, сынок, побывать еще в Японии и Бразилии.

— А какая поездка была самой интересной и запомнившейся?

Он задумался.

— Думаю, командировка в Америку...

Осенью шестьдесят четвертого года Сергей Александрович как член Президиума Советского комитета ветеранов войны полетел в Соединенные Штаты Америки.

Делегация осмотрела Нью-Йорк, а на другой день отправилась в зеленый университетский городок Принстон, где состоялась встреча с бывшими американскими офицерами и солдатами 69-й дивизии, воевавшей в Германии и соединившейся с советскими войсками весной 1945 года на Эльбе. Американские записки «Две недели в Америке» были опубликованы в еженедельнике «За рубежом».

Потом, когда Сергей Александрович уже на Родине написал очерк о встрече ветеранов США и Советского Союза и опубликовал его в журнале «Огонек», один из американских ветеранов сделал фотографию первой страницы очерка и увеличил ее. И теперь эта огромная фотография занимает полстены в зале, где каждый год проходят торжественные встречи ветеранов 69-й американской пехотной дивизии.

В городе Филадельфия отец познакомился с внуком писателя Марка Твена, который подарил ему книгу «Приключения Тома Сойера» с дарственной надписью. В Вашингтоне советская делегация посетила Арлингтонское военное кладбище и возложила венок красных гвоздик на могилу президента Джона Кеннеди.

Отец вернулся из поездки возбужденный, загорелый и чуть усталый. Сказалась насыщенность впечатлениями каждого дня. Вместе с записными книжками он привез целую гору пестрых визитных карточек ветеранов, журналистов, коммерсантов, желающих торговать с Советским Союзом. Это в большинстве были люди, дружелюбно к нам настроенные. А через два месяца стали приходиться письма с фотографиями и слайдами в память о двух неделях, проведенных в Америке.

У каждого писателя есть любимые его произведения — рассказ, повесть, роман. В повесть «Эль-Аламейн» отец вложил всю свою душу. Друзья называли «Эль-Аламейн» поэмой в прозе. В повести рассказывается об одном из сражений в Северной Африке, в котором английские вой-

ска нанесли серьезное поражение корпусу гитлеровского фельдмаршала Роммеля. На стороне англичан сражались советские солдаты и офицеры, бежавшие из фашистских концлагерей. Один из них, полковник Хлебников, и стал главным героем произведения.

«Эль-Аламейн» вызвал у читателей большой отклик. Отцу приходили письма, в которых выражалась благодарность, а также сообщались некоторые подробности, касающиеся этого сражения. Например, в одном письме оказалась вырезка из итальянской газеты с изображением памятника на месте бывших боев: «Сергей Александрович! Это памятник итальянским солдатам в Эль-Аламейне. На кладбище погребено 3200 человек... Посылаю вам, потому что помню, как вы много занимались этим вопросом».

...Однажды, находясь в Индии, Сергей Александрович побывал в больнице для прокаженных. Больной сказал ему: «За тридцать пять лет моего пребывания здесь вы первый журналист, посетивший нас в больнице». Впечатления от увиденного послужили писателю материалом для рассказа «Гобра».

Отец был добрым и отзывчивым человеком. На его имя в «Правду» приходило множество писем. К нему обращались за советами и помощью.

Сергей Александрович любил повторять: «Передо мной всю жизнь текли реки людей...» Он всегда верил в добро. Его произведения насыщены светом теплой любви к человеку.

Разбираясь в своих путевых дневниках, отец сказал:

— Если опубликую когда-нибудь все эти записки, я назову их «Всю жизнь в пути».

И в самом деле, большая часть его жизни прошла на колесах. Последние десять лет он тяготился командировками и беспокойной журналистской работой, тянулся к большой литературе, мечтая воплотить в романах накопленный им багаж знаний.

Иногда по вечерам, за чаем, отец читал вслух новые главы романа «Какой простор!». Ему было очень важно это чтение вслух.

Отец постоянно носил с собой вчетверо сложенный листок чистой бумаги. Где бы он ни был — ехал ли в электричке, сидел ли в кино или в театре, — он доставал бумагу и записывал все, что интересовало его в этот момент. Так он работал над романом. Ему часто приходилось выступать на торжественных вечерах и собраниях,

что отнимало немало времени. Но поздно вечером, вернувшись домой, он обязательно садился за стол, включал старую зеленую лампу и работал. Мы прикрывали дверь в кабинет. Но отец не любил полной тишины, открывал дверь и говорил, что посторонние звуки ему не мешают, а, наоборот, настраивают на рабочий лад. Сказывалась привычка журналиста писать в любой обстановке.

Первая книга романа «Какой простор!» — «Золотой шлях» была написана им в девятнадцать лет, но роман увидел свет лишь через двадцать восемь лет после его создания. Уже в зрелом возрасте у отца возникла, как он сам сказал, «смелая идея» — сделать этот роман первой книгой многоплановой эпопеи, исторической хроники, охватывающей сложный период жизни нашего народа за пятьдесят лет — от Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны до развития космонавтики. Отец пересмотрел первоначальную рукопись, доработал и расширил ее. Появились новые герои, которых не было в первом варианте.

Отцу постоянно не хватало времени на творчество. Он писал в дневнике:

«Пора оставлять службу и заниматься только литературной работой, чтобы выполнить главную задачу моей жизни — написание романа в десяти книгах «Какой простор!». Этот роман должен охватить в хронологическом порядке пятьдесят последних лет и разбиться на ряд книг: о советском хозяйственнике, дипломате, полководце, журналисте, о советской женщине-матери, о националистах, о нэпе.

На осуществление столь грандиозного замысла, видимо, и уйдет вся моя жизнь. Это и будет моя лебединая песня. И в то же время, как-то совестно уходить из «Правды», которая так много дала мне».

Четыре книги были написаны, из них «Золотой шлях» и «Бытие» опубликованы. Над пятой книгой «Женщина» отец начал работать и закончил две главы. Но к этому времени он уже был тяжело болен и лежал в больнице, а этот роман требовал глубокого изучения архивного материала, что было просто невозможно в той обстановке.

Пришлось отложить пятую книгу до выздоровления, а пока взяться за следующую — шестую, о которой он, как писатель-баталист, сказал: «Самая главная в моей жизни работа — роман о войне «Землетрясение».

Великую Отечественную войну отец прошел всю от на-

чала до конца. Память у него была отличная, под рукой имелись старые фронтовые записные книжки. И несмотря на мучающую болезнь, работа спорилась. В ленинградской больнице он успел завершить первую часть романа «Землетрясение».

В письме 20 августа 1971 года, за полгода до смерти, он написал нам из больницы:

«...Сильно тоскую по дому, книгам. Мне так хочется обменяться мыслями, хотя бы письменно. Хочется сесть за стол и писать, писать. Чтобы бумага дымилась под карандашом.

Много думаю о будущем, как о чем-то радостном, светлом, наполненном трудом. В голове миллион мыслей, которые надо оформить, привести в порядок, изложить на бумаге. Только то, что записано и напечатано, не пропадет для потомства, а по сути, ведь мы живем только для него. Лично нам ничего не надо...»

Работая над романом, он заглушал тоску по дому. Он много трудился, несмотря на болезнь, операции. Вот отрывок из письма 21 августа 1971 года:

«...Во время прогулок размышляю над романом «Землетрясение». Уже ясно, что книга получилась. Хотелось бы охватить всю войну во всех ее проявлениях жестокости и доброты, самоотверженности и подлости. Но это, видимо, почти невозможно — нельзя объять необъятное. Во всяком случае я сделаю все возможное и вложу в роман все свои знания, наблюдения, силы.

Мысли о вас и романе окрыляют меня и способствуют моему выздоровлению и возвращению утраченных сил...»

Отец писал это письмо, но уже догадывался, что обречен. Поэтому торопился написать как можно больше, пытаясь наверстать время, потраченное на командировки, на репортажи с горячих точек планеты.

Его разговоры о творческих планах удивляли и вселяли надежду. Так много было в нем энергии и творческих замыслов. К сожалению, отцу удалось осуществить только половину этого огромного труда. Он умер 19 февраля 1972 года. Остались планы, наброски, главы...

Минуло уже десять лет, как ушел из жизни Сергей Александрович Борзенко. Но он оставил людям свои произведения, в которых предстает перед читателем талантливым писателем и боевым журналистом.

Алексей Борзенко

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Страницы истории. Очерки	3
Горные орлы	4
Корея в огне	20
Бессмертие Пхеньяна	31
Омони	38
Страница истории	43
Поездка в Сирию	48
Ярмарка в Дамаске	63
По Ливану	69
Снова Сирия	73
С Германом Титовым во Вьетнаме	82
Две недели в Америке	85
Когда туман рассеялся...	92
В Лондоне	110
В степях Казахстана	117
Венок	121
Зеленая молодежь	121
Огни Новороссийска. Рассказы	131
Малая земля	132
Огни Новороссийска	136
Десант в Крым	150
Плацдарм	175
Вдова	186
Замок	198
Братья	208
Эль-Аламейн. Повесть	219
Послесловие	291

Борзенко С. А.

Б82 На горячих точках планеты: Очерки. Рассказы. Повесть. — М.: Воениздат, 1982. — 302 с., с портр.

В пер.: 1 р. 10 к.

Сергей Борзенко — единственный из военных журналистов в годы Великой Отечественной войны за ратные подвиги был удостоен звания Героя Советского Союза. В послевоенное время он в буквальном смысле побывал почти на всех горячих точках планеты, причем всегда, подчас рискуя жизнью, был в самой гуще событий. Его репортажи и очерки об этих событиях — пример партийной убежденности, подлинного гуманизма, жгучей ненависти к врагам всего человеческого, с которыми писатель боролся до последнего своего дня.

В сборник включены наиболее яркие рассказы и очерки писателя, а также повесть «Эль-Аламейн» — о разгроме корпуса Роммеля в Северной Африке в 1942 году.

Б 70302-146 122.82.4702010280.
068(02)-82

ББК 84Р7

Р2

303

Сергей Александрович Борзенко
НА ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ ПЛАНЕТЫ
Очерки. Рассказы. Повесть

Редактор *И. Ф. Петрова*
Художник *Ю. С. Урманчиев*
Художественный редактор *Т. А. Тихомирова*
Технический редактор *О. В. Журкина*
Корректор *Н. Ф. Голикова*

ИБ № 2030

Сдано в набор 05.08.81. Подписано в печать 09.03.82. Г-52120.
Формат 84×108/32. Бумага тип. № 2. Гарн. обычн. новая.
Печать высокая. Печ. л. 9¹/₄. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр. отт. 16.01.
Уч.-изд. л. 17,03. Тираж 65 000 экз. Изд. № 4/7825. Зак. 739. Цена 1 р. 10 к.

Воениздат
103160, Москва, К-160
1-я типография Воениздата
103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3

151078



Сергей Борзенко • На горячих точках планеты